

**Люди без
имени**

**Леонид Михайлович
Золотарев**



Annotation

Роман «Люди без имени» написан в конце 40-х и начале 50-х годов прошлого столетия Леонидом Михайловичем Золотаревым и нигде не публиковался, рукописи хранились в архивах семьи. Для автора, как и для миллионов русских людей, Отечественная война стала не только отражением национальной трагедии и национального триумфа, но и фактом собственной биографии...

- Леонид Михайлович Золотарев

- ПРЕДИСЛОВИЕ
- Посвящение
- 1. Дележка шкуры неубитого медведя
- 2. Отступление
- 3. В плену
- 4. Напрасные надежды.
- 5. В центрально-распределительном лагере.
- 6. Трудовой лагерь
- 7. Переводчик Пуранковский.
- 8. В Янискосках
- 9. Побег из бригады.
- 10. Санитар Илья Поляков
- 11. Бежать только на родину.
- 12. Новый год в плену.
- 13. Он не умер — его убили!
- 14. Беседы у костра.
- 15. На строительстве плотины.
- 16. Он должен жить!
- 17. Последние дни в Нискокосках.
- 18. Учебный батальон.
- 19. В лесном лагере
- 20. Запоздавшая помощь
- 21. Встреча с другом
- 22. Гибель товарища
- 23. Иван Григорьев не выдержал каторги
- 24. Баранов нашел свое место в жизни
- 25. Смеяться можно над каждым человеком
- 26. Разгром
- 27. Неудавшаяся затея
- 28. В шахте
- 29. Переводчик Алексей
- 30. Разговор в мастерской
- 31. Мастер смены

- ☐ 32. Забастовка
- ☐ 33. Последний день в шахте
- ☐ 34. Война окончена. Мир заключен.
- ☐ 35. На родине.
- ☐ 36. Суд идет

- notes

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 4

Леонид Михайлович Золотарев
Люди без имени

ПРЕДИСЛОВИЕ

Роман «Люди без имени» написан в конце 40-х и начале 50-х годов прошлого столетия Леонидом Михайловичем Золотаревым и нигде не публиковался, рукописи хранились в архивах нашей семьи. Для автора, как и для миллионов русских людей, Отечественная война стала не только отражением национальной трагедии и национального триумфа, но и фактом собственной биографии

Родившись 26 января 1921 г. в селении Толбузино Амурской области, в семье сельского школьного учителя, Леонид Михайлович мечтал о море, о строительстве кораблей. Осуществление мечты было близко: на отлично закончив среднюю школу в п. Болотное Новосибирской области, он поступил в кораблестроительный институт в г. Николаеве УССР. Но судьба распорядилась иначе: 17 сентября 1939 г. был призван в ряды Краснознаменного Балтийского флота, участвовал в войне с «белофиннами».

С первых дней нападения фашисткой Германии на СССР Л.М.Золотарев на передовой. Кровавопролитные бои. отступление, окружение и... плен, причем плен ни у основного врага, а у финнов. И всю войну он провел в трудовых лагерях на территории Финляндии, не раз пытался бежать из плена, но его ловили, жестоко наказывали. И только в конце войны освобождение — советскими войсками. Потом были свои лагеря, и известие о том, что старший брат погиб под Курской Дугой.

Пережитое заставило взяться за перо. Роман «Люди без имени» художественное произведение, написанное на документальной основе. В романе есть вымышленные герои, однако большинство действующих лиц — реальные люди, о чем свидетельствует посвящение.

Роман «Люди без имени» создавался по следам недавних событий и давался непрофессиональному автору достаточно сложно, о чем свидетельствует наличие нескольких промежуточных вариантов текста. В первом, более документальном варианте, названном автором «Окруженцы», повествование велось от первого лица. Но идеологические установки того времени, чувство вины за невыполненный долг перед Родиной, заставило автора отказываться от прямого указания на документальную основу романа; он не включает документы, не опирается на факты личной биографии: документальность рождается из воплощения исторической правды. Автор откажется и от личной «линии»

автобиографического героя, вводя собирательный образ — Леонида Маевского, приписав ему идеологически верные, для времени написания романа, черты. Видимо, по мысли Л.М. Золотарева, главный персонаж должен предстать перед читателем как можно более цельным и последовательным в своей борьбе за свободу. Но и в этом персонаже осталось много от реального автора: внешний облик, скупые портретные черты, отдельные факты биографии, рисунок характера. Однако следует признать, что от этого роман проиграл: герой глубоко психологически не разработан, чаще всего, мы видим Леонида Маевского в действиях и поступках, слышим его мысли, но редко на страницах романа встречаемся с его переживаниями: герой остается во многом «закрытым» для читателя. Скорее всего, автор сознательно переносит центр тяжести с героя на подробное описание окружающей среды. По сути дела, главной целью автора в романе «Люди без имени» становится создание коллективного портрета советских военнопленных, находившихся в финских трудовых лагерях. Этот «портрет» написан не одной краской, в нем много подробностей и много нюансов, так же, как в описании врагов. Более того, автор в своем романе не использует дополнительные приемы создания впечатления, он сознательно пишет «без нажима», как будто ведет своеобразный вахтенный журнал, занося в него все важнейшие события. Впечатление на читателя производит не манера описания, а сама реальная действительность, нечеловеческие условия содержания военнопленных и их нечеловеческие усилия сохранить, не только жизнь, но и достоинство.

Среди военнопленных есть много таких, кто и в плену остался верен долгу, Родине и присяге. Однако кто-то из них старается просто выжить в нечеловеческих условиях существования: голода, поденной работы, постоянных унижений. Выжить в одиночку удастся немногим, только тем, кто от природы наделен недюжинным здоровьем. Некоторые военнопленные объединяются в группы, ищут среди финнов и русских эмигрантов, живущих в Финляндии, сочувствующих Советскому Союзу. Немногие, среди них и главный герой — Леонид Маевский, — занимаются саботажем, прямым вредительством, постоянно рискуя жизнью

Запоминающимися на страницах романа предстают образы финнов: начальники трудовых лагерей, управляющие заводов, где работают военнопленные, бригадиры, обычные рабочие, среди них мною людей, испытывающих почти зоологическую, порой вовсе необъяснимую ненависть к русским. Автор показывает, как меняется отношение у этих людей по мере приближения

Советской Армии к границам Германии и Финляндии. Их лояльность — это, как правило, страх за свою шкуру, боязнь возмездия за свои злодеяния. Однако даже среди начальников трудовых лагерей есть вполне интеллигентные люди, понимающие, что здесь, в Финляндии, совершается военное преступление. Единственные, кто полностью разделял взгляды русских военнопленных, искренне сочувствовал им, старался помочь в борьбе, были финские коммунисты.

Заметную роль в романе играют образы русских эмигрантов, поселившихся после Октябрьской революции в Финляндии. Автор показывает, что даже в молодом поколении русских сильно чувство ностальгии, но одни жаждут реванша и ради достижения своих целей готовы воевать против России на стороне врага, другие видят в военнопленных своих соотечественников и так же, как все русские, мечтают о победе над фашистской Германией. Автор, рисуя образы русских эмигрантов, покажет трагедию людей, потерявших чувство своей земли, «почты». Даже военнопленные оказываются в лучшем положении, постоянно ощущая многочисленные связи с Россией.

Самыми ненавистными для автора являются образы предателей. Иуд, продавших за лучшие условия существования Родину, долг, товарищей. В романе эти персонажи также индивидуализированы: одних толкает на предательство человеческая слабость, других — ненависть к Советскому строю, третьих — склонность к жестокости и насилию.

Роман не лишен эстетических недостатков, прежде всею, свойственных самой эпохе 1950-х гг.: в нем, конечно же, ощущается влияние коммунистической идеи, несомненно, сыгравшей свою роль в победе над врагом.

Однако к чести автора, идеологическая составляющая в романе вовсе не главная (может быть, потому, что Леонид Михайлович уже столкнулся с худшими проявлениями сталинского режима, его отец — Михаил Васильевич, — старейший член партии, перед войной был репрессирован), главным в произведении станет его гуманистическое звучание — борьба за честь и достоинство Человека, стремление во что бы то ни стало не оскотиниться, не предать себя, все те ценности, что и определяют человеческое существование.

Умер Л.М. Золотарев 29 декабря 1983 года, так и не опубликовав ни одно из своих произведений (к счастью, исторический роман «Дальний угол, глухая сторона», о покорении Дальнего Востока, был опубликован в 2008 году при поддержке Амурского казачества).

Безусловно, произведения непрофессионального автора не

лишены художественных недостатков, однако роман и рассказы Л.М. Золотарева, прежде всего, «документы» военной и послевоенной эпохи, передающие ее атмосферу и ее «дыхание». В год 65-летия Великой Отечественной войны книга Л.М. Золотарева это «весть» из прошлого, звучащая как забота о будущем.

В.Л. Золотарев

Посвящение

Винокурову, Шаеву, Орлову, Исакову, Бражнику, Бортманскому, Быкову, Г.Александрову, А. Скорнякову, И.Тульскому, расстрелянным в трудовом лагере № 8, и многим другим, замученным и умершим от голода — посвящаю.

1. Дележка шкуры неубитого медведя

На душе Павла Беляева было беспокойно. Предчувствие чего-то недоброго заставляло его то и дело останавливаться, доставать из кармана повестку о призыве в финскую армию и читать. В голове рождались сотни всевозможных догадок и предположений и он не мог придти к определенному выводу, лишь только повторял одни и те же слова: «Неужели война? Война... Война...»

Не замечая встречных пешеходов, ни машин, ни детей, которые с веселым криком пробегали мимо него, Павел бесцельно блуждал по улицам Хельсинок. День подходил к концу. Багряно-красное солнце закатывалось, а небосвод принимал пурпуровую окраску и, по приметам местных жителей, предвещал бурю.

Когда в вечерних сумерках послышался звон часов на башне, Павел вспомнил, что ему пора было быть дома. Но вместо того, чтобы повернуть к вокзалу, где он жил, Беляев свернул в узкий переулок и быстро зашагал в порт к своему товарищу поделиться неожиданной и неприятной новостью.

Павел Беляев родился в Орловской губернии. До войны он пахал землю в родном селе. Германская война разлучила его с семьей, и он ушел защищать отечество и царя. Во время боев ничем особенным себя не проявил и был обыкновенным матросом на линкоре «Севастополь». Когда колебались устои царизма, матросы отказались выполнять распоряжения офицеров и требовали прекращения войны, демобилизации, раздачи крестьянам земли и перехода власти в руки Советов.

Идея получения земли была заманчивой, и Беляев присоединил свой слабый голос к общей массе. Он был слабохарактерным и малограмотным матросом. Будущее его не интересовало: цель жизни — получить землю и разбогатеть. Поэтому Беляев дал себя обмануть, и так же, как шел на штурм Временного правительства, поднял руку на молодую Советскую республику.

После Кронштадтского мятежа бежал в Финляндию. Первое время к нему относились снисходительно, но гостем можно быть не долго, и Беляева скоро забыли. Сначала у него были маленькие надежды: Советская власть падет — он сможет вернуться на родину, и Павел старался заглушить в себе неприятные мысли и надеялся на случай, что каким-нибудь чудом изменится положение, но жизнь горько разочаровывала беглеца. Распродав последние вещи, он устроился на работу. Вскоре его вышвырнули

на улицу, и он оказался в числе безработных.

Время шло — русский сутками простаивал на бирже труда, чтобы получить работу. Финляндия не знала куда девать своих безработных, и бездомным русским никто не интересовался. С фанеркой на груди, на которой было написано: «Согласен на любую работу». Беляев часто стоял на перекрестках улиц. Случайное знакомство с девушкой, — дочерью русского эмигранта спасло его от голодной смерти. Она ввела Павла в общество русских эмигрантов и ему помогли устроиться в художественную мастерскую, где он учился рисовать и мог зарабатывать себе на пропитание. Через год женился на своей случайной знакомой.

Общества русских эмигрантов (вернее бывших белогвардейцев) он чуждался, связь поддерживал только потому, что они помогли ему в трудную минуту. Из всех посетителей общества Беляев сдружился только с Пуранковским, бывшим офицером царской армии. Все свободное время они проводили вдвоем. Пуранковский был резкой противоположностью Беляева — он не умел скрывать того, что думал, и был недоволен антисоветской деятельностью общества — возмущался подготовкой шпионов и диверсантов для засылки в Россию. Павел разделял мнение товарища, но самолюбие не позволяло ему признаться, и у них разгорались ожесточенные споры. Жена Павла поддерживала Пуранковского и уговаривала мужа просить визу на выезд в Россию. Боясь за свое прошлое, он колебался и все время откладывал.

Мастерская не приносила ему дохода. Картины покупали плохо. Заказчиков на портреты не было. Он едва сводил концы с концами. Единственное, что не залеживалось в мастерской — порнографические картинки. К ним, скрепя сердце, Павел прибегал в трудную минуту своей жизни. Когда жизнь становилась невыносимой, он уезжал на сервер — к лопарям. Они были хорошими покупателями и не требовательными заказчиками. Обязательным изображением на картине для них было: олень в упряжке, лес, горы, за которыми непременно должно светить солнце и, неизвестно зачем и кем разведенный в лесу костер. Беда была в том, что лопари платили не деньгами, а мясом, или живыми оленями. Вырученное от продажи картин, он продавал в ближайших селах и возвращался домой.

Так влачил свой жалкий век в чужой стране человек, потерявший родину. Только деньги могли сделать Беляева равноправным гражданином страны, заработать их честным трудом он не мог.

Тяжелая жизнь, вечные думы о завтрашнем дне скоро его

состарили. Годы сгладили его национальную гордость. Единственное, что русского в нем осталось — он научил своих детей говорить на родном языке и выдал дочь замуж за сына Пуранковского.

.... Как обычно, без стука вошел Павел в комнату своего старого знакомого и родственника. Не ожидая застать у Пуранковского посторонних людей, он растерялся и тотчас поспешил извиниться за свою нескромность. За столом было общество русских эмигрантов в полном сборе. Внезапное появление Беляева расстроило их разговор. В переднем углу сидел маленький и худой, с морщинистым старушечьим лицом, большой лысиной и реденькой длинной бородкой, купец Кукушкин. Его хитрые, без определенного цвета глаза блуждали от одного посетителя к другому. Рядом с ним сидел сын Пуранковского — Владимир и, не обращая внимания на присутствующих, пил водку. Он был как две капли воды похож на отца, такой же смуглолицый, с карими пронизательными глазами и правильными чертами лица, но не такого богатырского телосложения, как старик. Отец часто говорил: «Вырождается порода Пуранковских!». Хозяин квартиры твердой походкой ходил по комнате, пуская клубы едкого дыма.

— «Старик не в духе,» — подумал Беляев и пожал руку Пуранковского старшего, затем поцеловал дочь, которая стояла возле камина с заплаканными глазами. Кукушкин обрадовался приходу Павла, так как он всегда находил в нем защитника своих взглядов и крепко пожимая руку любезно заговорил: — А! Павел Иванович! Как поживаете? — и, не выслушав объяснений продолжал: — Война, брат! Война! Наконец-то ...

Он стоял с распростертыми руками, как отшельник золотоискатель при выборе места для закладки последнего в жизни шурфа, от удачи которого зависит будущее бродячего старателя.

— «Это не война, а гибель! — громовым голосом закричал Пуранковский, — Крах ... Двадцать лет не призывали в армию эмигрантов, а сейчас подбирают всех... подчистую! Снова ограничения, страдания, смерть! Нет! Это ужасно. Страна не успела оправиться от минувшей войны, как ее снова пихают в пропасть...

«Внимание, господа! Внимание!» — Кукушкин захлопал в ладоши, стараясь обратить на себя внимание. Владимир посмотрел на него, налил две рюмки вина, подал товарищу по работе Блинову, и сказал: «Радуетса собака!»

«Итак, господа! Я предлагаю немедленно, не теряя времени, уведомить руководство социал-демократической партии, что мы

поддерживаем мероприятия правительства и готовы встать в ряды его армии...»

«Кто это мы?» — перебил Кукушкина пьяным голосом смуглолицый, похожий на цыгана Блинов...

«... в том случае, если нас официально заверят, что нам будет возвращено движимое и недвижимое имущество, отнятое у нас большевиками», — продолжал Кукушкин пискливым голосом, — в частности, мне возвращают кожевенные заводы».

Все насторожились. Затем послышались робкие голоса: «А мне? А мне?» Вскоре уже слышались не вопросы, а требования.

«Имение с двумястами десятинами земли под Воронежем и...

Питейное заведение на углу Невского...

Железоделательный завод...»

Кукушкин повысил голос: «Перечислять, у кого что забрано, я не буду, список прилагается». И он потряс в воздухе бумажкой.

Беляев не слушал купца. В ушах у него звенело: «А мне! А мне! Завод, имение».

«А мне что?»- подумал он и ему от этих мыслей стало неприятно.

«Кроме того, правительство гарантирует выплату среднегодовых прибылей от наших заводов за прошедшие двадцать лет...

«Ха-ха! Ха-ха! Ха-ха! — засмеялся Пуранковский, — Кукушкин — миллионер! Да ты, подлец, перед революцией промотал все свое состояние, а сейчас хочешь воспользоваться моментом...»

«Правильно! — поддержал Пуранковского высокий господин в очках — Ты сам хвастал, что не оставил большевикам ни гроша!»

«Неправильно! Ложь! Клевета!» — завопил благим матом Кукушкин.

Война еще не началась, ну ему, казалось, что он уже вновь владеет тем, что досталось по наследству от жадного и экономного отца, поэтому он с жаром начал доказывать свою правоту. К нему подошел Пуранковский. Кукушкин знал, что нервы старого вояки взвинчены до предела, и предпочел замолчать — возрази ему, может последовать неприятность.

«Что предложите мне?» — резко спросил старик и в упор посмотрел на купца.

«Вы — генерал!!!»

«Кто? Я — генерал?»

Пуранковский резко отшатнулся от Кукушкина.

«Я — генерал!»

«Полный! Непременно полный!»

Старик схватился за живот и повалился на кресло, давясь от

смеха.

«Ха-ха-ха! Ха-ха! Купец присвоил мне генерала».

«Смешного здесь ничего нет! Вы заслужили!» — Кукушкин обвел взглядом своих собеседников, ища поддержки.

Пуранковский встал, откашлялся, резко оттолкнул кресло от себя и снова принялся ходить по комнате, нервно пощипывая поседевшую бороду.

«Я заслужил генерала!!! За что? За какие заслуги?»

Кукушкин хотел было объяснить, но Пуранковский решительно замахал руками.

«К черту! Генерал ... Двадцать лет меня презрительно называли «русса», а тут вспомнили — господин полковник, пожалуйста, на службу. Нет, дудки, я не намерен служить в финской армии. Пуранковский не сражался против русских, хотя в свое время не одобрял революцию в России. Давно я понял свою ошибку, что не вернулся на родину, а вы хотите втянуть меня в страшную авантюру».

Он взял с этажерки повестку, изорвал на мелкие части, бросил в камин и ушел в спальню.

В комнате наступила тишина. Никто не решался первым нарушить тишину, тем самым вызвать новую вспышку гнева Пуранковского — старшего. Гости стали по одному подниматься из-за стола и уходить.

Не выдержав неловкого молчания, жена Владимира спросила: «Папа, почему все думают, что война непременно должна быть с Россией?»

«Не знаю, — ответил Беляев, и немного подумав, добавил: — может быть просто маневры, переподготовка, учения ...»

«Не знаешь! — презрительно ответил старик из спальни, услышав ответ Павла. А с кем нам еще воевать? Со Швецией? С Норвегией? Че — пу-ха! Там нет даже пограничных кордонов. Да где это было слышно, что мы воевали со своими северо-западными соседями?»

«А немцы разъезжают по всей стране, разве для прогулки?» — вставил Владимир.

Упоминание о немцах вызвало новый гнев старика. Он выбежал из спальни в одном нательном белье и с силой ударил кулаком по столу.

«Володька! Запомни, Володька! Твоя родина — Россия! А вы господа, идите прочь! Наши дороги разошлись!»

Сын посмотрел на отца умными глазами и ему стало жаль старика. Владимир любил его, но знал, что отец горд и упрям и своего решения никогда не изменит. На глазах Владимира выступили слезы: он понял — отказ от службы — каторга.

Через несколько дней мирная жизнь кончилась и шайка авантюристов поплелась в хвосте наступающих фашистских колон, как стая диких шакалов за своей добычей.

В противоположенную сторону везли старика Пуранковского. Не доезжая Петсамо — Никелевых рудников, он умер. Полицейский проверил документы и махнул рукой. Старик больше не слышал презрительного слова — «русса», последний раз сказанного в его адрес.

Только Павел Беляев остался в Хельсинках. Его зачислили переводчиком при следователе морского ведомства. С утра до вечера он переводил на финский язык какие-то бумаги, привезенные неизвестно откуда. Часто его вызывали на радиостанцию и он пускал в эфир написанные чужой рукой лживые и клеветнические сообщения. Изредка сторожевые катера уходили в море. На палубе Павел чувствовал себя спокойнее. Он стоял в матросской форме, как двадцать лет назад, с той лишь разницей, что на бескозырке надпись «Севастополь» была заменена — «Маннергейм».

2. Отступление

Биография Леонида Маевского короткая: четвертый сын у отца, не считая сестер. Мать часто вспоминала, что Леонид родился в голодный 1922 год, когда на ДВК шла Гражданская война. Власть переходила из рук в руки и его отец — сельский учитель, преследуемый белогвардейцами, вынужден был скрываться в подполье, а мать ходила батрачить, оставляя его под присмотром старших детей. Трудным положением в детстве мать объясняла хилость сына, не замечая, что за внешним небогатырским телосложением кроется здоровый организм, позволивший Маевскому стать хорошим физкультурником. В Балтийском флоте он был сильнейшим футболистом и лучшим лыжником. После изгнания всевозможных правителей и атаманов, отец, старый подпольщик вернулся к любимому занятию учителя. Леонид знал о прошлом отца и гордился им. Пионерский галстук сменил на комсомольский знак. Семнадцать лет он окончил десятилетку и поступил в Николаевский кораблестроительный институт. 17 сентября 1939 года его вызвали в горвоенкомат. В октябре месяце прибыл в Краснознаменный Балтийский флот. Через два месяца Леонид высаживался десантом на финский остров Сейскар. Позднее, в лыжном отряде комбрига Денисевича, «бороздил» Финский залив, поддерживая наступающие части красной Армии.

Закончилась война с Финляндией. Отгремели боевые дни. Финская военщина была поставлена на колени. Остались воспоминания минувших событий и память о товарищах, отдавших свою жизнь за родину, да на лице появилась лишняя складка — следы суровых дней, проведенных в боях.

Наступил период мирной учебы. Маевский окончил бригадную школу и получил назначение в батальон, в котором принимал боевое крещение. Друзья встретили приветливо. Командиры поздравили с успешным окончанием школы. Футболисты были в восторге: вернулся лучший игрок команды.

Маевский ниже среднего роста, сухоощавый блондин, спокоен и выдержан. На занятиях говорил тихо, не горячился и не кричал, подбирал всегда слова выразительные и простые, чтобы они доходили до сознания того, к кому он обращался. Прежде чем сказать, он тщательно обдумывал и уж если сказал, то никогда не изменял своего решения.

«Маевский сказал — закон, это правда, так и будет!» — говорили о нем моряки.

Маевский не жалел прерванной учебы в институте, но не

оставлял мысли продолжать ее. Среди многообразной и трудной работы он находил время учиться. Когда ему предложили преподавать историю народов СССР краснофлотцам и младшим командирам, он с охотой согласился. За его добродушный нрав, прямую натуру, веселую улыбку, твердую волю, хорошую военную и физическую подготовку любили и уважали бойцы, а командиры ставили в пример другим.

В субботу 21 июня 1941 года Леонид был на семинаре руководителей политкружков. Старший политрук проводил инструктивное занятие и отмечал недостатки прошлой работы. Маевский внимательно слушал, делая пометки в блокноте. Когда закончились занятия, он пошел к футболистам. Завтра предстояла решительная схватка на футбольном поле. В прошлое воскресенье командир части обещал игрокам, при условии выигрыша у сборной бригады, повести их в Таллинн. Поэтому Леонид хотел поговорить с товарищами и обсудить все заранее.

И первый раз в жизни капитан футбольной команды отложил игру. Началась война. Началось сражение на огромном поле от Черного до Баренцева моря. Вместо Таллинна, Леонид, с небольшим отрядом морской пехоты, выехал навстречу врагу. Отряд придали пехотной части. Там где было трудно и наиболее опасно — туда посылали моряков. Шли дни. Части Красной армии с боями отступали. Отходил и Маевский.

Однажды его вызвали в штаб. Возвращаясь из штаба, Маевский не подошел к своему маленькому отряду, а прислонившись к сосне, стал издали наблюдать за моряками. Вот они перед ним: Вася Сорокин — высокий блондин с голубыми глазами и задумчивым лицом — слесарь с ленинградского завода, на него послан наградной лист; Плеханов из Казани, с веснушчатым лицом, узкими и косоватыми глазами, как у монгола, и хитрой улыбкой, на груди у него орден «Красная звезда»; Смирнов и Кулибаба — оба невысокие, плотного телосложения, с орденами «Красное знамя»; Ян Шмакалин, с медалью «За отвагу», а впереди его ожидает высокая награда.

«Все они смелые, храбрые как львы, — подумал Маевский. — Грудь моряков украшают ордена и медали, но они сражаются не из-за наград и чинов, славы и тщеславия, а из-за чувства долга перед родиной, но и страна умеет ценить заслуги рядовых и отмечать героев».

Поправляя волосы, выбивающиеся из-под каски, он продолжал смотреть на своих моряков, товарищей, с которыми пережил не одно сражение, вместе с ними штурмовал линию Маннергейма в прошлой войне. Из всего отряда десятка два было призывников 1940 года. За короткий промежуток времени и они

сумели показать свое мужество и умение воевать.

Сорокин и пулеметчик Плеханов, старые моряки и неразлучные друзья, обсуждают положение на фронте и делают пометки на карте. Остальные оживленно беседуют. До Маевского долетают отдельные обрывки фраз. В первую минуту Леонид решил объявить о приказе отступить, но, застав их за мирной беседой и обыденными делами, раздумал:

— «Подадут сигнал — скажу. Собираться им недолго — стал, отряхнулся от земли и пошел».

Сигнал отступления не заставил себя ждать. Войска покинули еще один маленький город. Отступление ... Отступление... Горят села, разрушаются города. Не один десяток километров земли родной покинут. Цветущая земля под сапогами каннибалов двадцатого века. У них нет ни жалости, ни чувства сострадания. Они как дикари уничтожают все, что составляет гордость чужой страны.

Сторонка родная, часть великой страны, можешь ли ты спокойно смотреть и терпеть варваров на своей земле?! Нет!

И люди с суровыми лицами, но с уверенностью вскоре отомстить врагу, молча уходят на Восток.

В селениях, городах, поселках — повсюду, где проходят войска, со скорбными лицами их провожают женщины, дети, старики. Во взглядах печаль, порою немой упрек. Иногда до слуха доносятся истерические крики, мольбы, надежды: «Родные! Не уходите! Защитите нас!»

«Мы отступаем, но скоро вернемся, чтобы никогда больше не уходить», — говорил Маевский. Так говорили все. В этом они были уверены — это было надежным утешением людей, остающихся на муки врагу.

Оставить город требовала обстановка; войска не побежали в панике, а ошетинились тысячами штыков, готовые встретить врага на следующем рубеже и отомстить за товарищей и поруганную землю.

Отряду Маевского не пришлось окапываться, как было раньше, при занятии новой обороны. Он на машинах был спешно переброшен под Нарву, где шли ожесточенные и кровопролитные бои. Моряки с ходу вступили в бой. Авиация противника непрерывно бомбит. Не смолкает орудийная канонада. Ни на минуту не замолкает пулеметная трескотня. Земля стонет.

Маевского легко ранило в ногу. Поехать в госпиталь он отказался. Его примеру последовали многие. Нога загноилась и опухла, но он, скрепя сердце, сдерживает боль.

Стояла неимоверная жара. Воздух согрет палящими лучами солнца. Дышать нечем.

Моряки отступали к Таллинну. Наконец, заняли оборону на его подступах. Последний рубеж. Дальше начинался город — и там море.

Участок обороны Маевского возле самого залива. Море вздрагивает от взрывов и фонтаном выбрасывает брызги, которые тысячами мелких капель разлетаются в воздухе; освещенные теплыми лучами солнца, они снова падают в море, и на их месте остаются лишь мелкие пузырьки, которые вскоре лопаются; и оно становится на время гладким, поглощая лучи солнечного света. Солнце светит, любуясь природой и спокойным морем. Но шквал орудийного огня не смолкает и в клочья рвет землю и временами нарушает покой моря.

Враг лезет неудержимо и нахально к Таллинну. Запомнился Маевскому тяжелый день жестоких боев: погиб Вася Сорокин, так и не узнав о высокой правительственной награде; героически погиб санинструктор Шпурик, на его место встал Михаил Коржов; потерял зрение пулеметчик Плеханов. Тяжело перенесли смерть храброго и любимого командира морской бригады, — всю жизнь отдавшего служению армии с начала ее организации, — полковника Костикова. Вечная слава и память простому русскому человеку-воину!

Храбро держались защитники Таллинна, но город пришлось покинуть, а войска эвакуировать. Солдату не говорят, почему отступают; он только знает: командование решило — значит правильно.

Только незначительная часть бойцов, в том числе и отряд Маевского, прикрывавший отступление, остались в тылу. Необходимо было по вражеским тылам пробираться к своим — в Ленинград. Прорываясь сквозь заграждения неприятеля, Маевский с отрядом продвигался вперед. То удалялись глубоко в лес, где под шелест листвы спокойно отдыхали до ночи, то подходили к морю и обсуждали свое положение. Море — гладкий путь для матроса, его стихия; лучше погибнуть в море или около него, обнявшись с ним навечно, чем сдаваться на милость победителям. Они подходили к морю, чтобы найти шлюпку или лодку — ни одной хотя бы разбитой шлюпки: видимо, крепко поработали наши при отступлении, лишь море лениво лижет песчаный берег набегавшими волнами. Они не спеша вползают на песок, еще медленнее сходят, оставляя после себя мелкие ракушки и морскую траву.

И снова отряд Маевского удаляется от берега. Дороги забиты немецкими войсками — движение возможно только лесом. С каждым днем труднее становится с питанием; хлеба достать нельзя: в деревнях, не занятых немцами, напуганное эстонское

население, боясь мести кулаков, встречает недружелюбно. В одной из деревень крестьянин предложил Маевскому остаться у него за сына, предварительно накормив и снабдив моряков на дорогу продуктами. Леонид категорически отверг это предложение.

— Остаться в тылу, сложа руки ожидать прихода своих, а там — на поле сражения решается судьба Родины, и ей дорог каждый человек — не могу!

Сердечно поблагодарив старика, двинулись дальше.

С Маевским остался Шаров, весельчак и шутник, никогда не падавший духом; Иван Григорьев с испуганным лицом, покрытым веснушками; молчаливый и угрюмый Шаповалов, с десятком краснофлотцев, двое пограничников и несколько красноармейцев, примкнувших к отряду.

Все время двигались молча, говорить было не о чем, все знали, куда они движутся. Когда дорогу преградила река, моряки пошли вдоль берега, без слов понимая друг друга, что им нужна переправа, и столкнулись с группой красноармейцев, искавших удобного места, где можно перебраться на другой берег. Группу возглавлял майор. Он собрал ее из бойцов, разбежавшихся по лесу, и она представляла маленькую, но крепкую и боевую единицу. Когда подошли моряки, майор сидел на камне и смотрел в бинокль. Не отрываясь от наблюдения, он сказал:

— Ну что ж, морские силы, присоединяйтесь, будем двигаться вместе.

— Голос знакомый. Где я слышал его? — спросил Маевский, внимательно всматриваясь в профиль лица, и вдруг вспомнил: — Николай Иванович Гусельников!

Майор повернулся и узнал Маевского.

— А! — протянул Гусельников — Леонид! Какими судьбами?

— Такими же, как и вы, — ответил Маевский, продолжая стоять на прежнем месте.

— Я думал, что ты в институте?

— Есть вещи выше учебы!

— В настоящее время, да! Но не забывай, Леонид, что война тоже учеба! Война это последний экзамен, где проверяется моральное, духовное и физическое знание человека!

— И победит тот, кто выдержит этот экзамен, — сказал Леонид.

— Отлично! Подойди, подойди ближе! Дай пожму руку. Мне трудно ходить: пуля царапнула ногу — берегу силы.

Маевский подошел, и старый учитель крепко поцеловал своего ученика и приказал: — Вот здесь будем переходить. Другого места нет. Задерживаться нельзя. Морякам почет первым

вступить на тот берег.

Маевский вошел в воду. Тело почувствовало прохладу. Он шел с поднятым автоматом над головой, ногами ощупывая дно реки. Вскоре ноги потеряли под собой почву. Маевский окунулся с головой в воду и, вынырнув, поплыл. Вслед за ним и другие.

Как ни казалась Гусельникову переправа надежной, все же немцы обнаружили. Началась погоня. Хуже всего приходилось майору и Леониду с ранеными ногами.

Надвигалась ночь. Густые сумерки окутывали землю, и Гусельникову с бойцами удалось избавиться от врага. Все замерло. Земля и лес погрузились в дремоту. Только люди, одетые в солдатские шинели и матросские бушлаты, крепко сжимают в руках винтовки и молча продвигаются вперед. Они смотрят в непроглядную тьму и готовы в любую минуту открыть огонь по врагу. Движение продолжалось всю ночь. Устали. Все с нетерпением ожидают наступления дня. Кончится ночь, и тогда не нужно будет прятаться под плащ-палатку, чтобы закурить своей русской махорки. При свете солнца, когда оно греет, веселее на душе.

Наконец, наступило утро. Взошло долгожданное солнце. Оно осветило землю, и она сразу заговорила миллионами жизней. Все живое земли и лесов принялось за работу: белка весело запрыгала по сосне; птицы щебетали на разных языках и своим пением возвестили о наступлении дня.

Напрасно ожидал Гусельников дня, чтобы перевязать рану. Утром отряд окружили немцы и натравили собак. Сколько их было? Не перечсть! Лес наполнился криком, выстрелами, стоном, бранью и проклятиями, смешавшимися со злобным собачьим лаем. Птицы с криком поднялись с деревьев: белка с испугом забилась в дупло. Сосны — только они безмолвные свидетели неслыханного ужаса.

Морякам приходилось ходить в атаку, драться в рукопашном бою, знакомы для них были штурмы неприятельских позиций, уличные бои и морские десанты: они умели не сгибаться под пулеметным огнем, среди них никогда не было паники, а сотня собак сбила их с толку: это было сверх ожидания, и ни в одном уставе не предусмотрена борьба с собаками.

Кроме того у бойцов не было патронов, да и не было возможности стрелять: озверевшие собаки десятками набрасывались на человека. Ранишь ее, она отскочит в сторону и еще с большим остервенением набрасывается на другого. Матросы и красноармейцы отбивались от немецких овчарок, кто как мог, и не забывали а самих фрицев, которые стреляли из-за укрытия.

Маевский спиной прислонился к толстому дереву и, на вытянутых руках, на уровне пояса, держал автомат. Как только собака пыталась ухватиться за автомат, Леонид носком сапога ударял ей в горло. Ранения нога не позволяла нанести сильного удара. Собака прыгала в сторону, Маевский успевал перебежать к другой сосне. С тыла от немецкой пули его защищало дерево. На помощь пришел Шаров и помог избавиться от назойливой собаки. В это время раздался громкий голос Гусельникова: Товарищи, в рассыпную!

Маевскому с четырьмя товарищами удалось вырваться и избавиться от собак. На берегу моря виден хутор. Маевский направился к нему. Краснофлотец Шаповалов дико смеется, но не отстаёт от командира. В руках он держит собаку и давит ее за горло, закатываясь смехом, кусает ей хвост. Он не пережил ужаса и сошел с ума. Лицо его дикое — странное. Попытались отобрать у него собаку, но он сопротивлялся и говорил непонятные слова, из глаз катились слезы. Наконец, силы покинули его. Это была предсмертная агония. Рыть могилу не было времени; а труп его решили не оставлять на поругание: моряки столкнули с берега шлюпку и положили его на дно, чтобы похоронить в море.

Волна, нагоняя одна другую, свирепо разбивается о берег. Море ревет и негодует. Шлюпка быстро удаляется от берега. Из дому выскочила хозяйка лодки, и, упав на колени, начала посылать проклятия тем, кто стрелял в четырех моряков. Добыча немцев выскользнула из рук.

3. В плену

Ночь надвинулась незаметно. Туман густым слоем навис над морем. Маевский управляет шлюпкой, Шаров и Григорьев — за веслами, Громенков, полулежа, дремлет. Она, гонимая отливом моря и парюю весел опытных гребцов, быстро движется по волнам. Убедившись, что немцы ночью не будут преследовать, они перестали грести и впервые задумались над своим положением. Каждый думал, что ожидает их завтра, но заговорить с товарищем и спросить об этом никто не решался. Шаров достал из противогазной сумки фонарик, повертел его в руках и передал Маевскому, который начал подавать сигналы в темноту.

Узнать, где материк, и убедиться, далеко ли от него шлюпка, было единственным стремлением Леонида. А еще надеялся он, не окажется ли поблизости корабль и не подберет ли их. Он был твердо уверен, что в водах, близ Ханко, не может быть неприятельских кораблей.

На материке вспыхнул прожектор, и лучи его побежали по морю, стараясь поймать того, кто подавал сигналы. С противоположенной стороны тоже осветили.

— Корабль или остров, — сказал Маевский, — здесь, наверняка, должны быть свои, — и направил шлюпку по направлению прожектора, перестав сигналить. Через некоторое время снова загорелся маленький фонарик в руках Маевского, и в ответ ему с обеих сторон прожекторы мощными лучами врзались в ночную мглу, освещая слегка волнующееся море, а оно, разрезанное иглами света, блестит и переливается рябью пенистых барашков и гонит одинокую шлюпку в неизвестность. Ее бросает из стороны в сторону. Моряки устали и легли отдохнуть на дно шлюпки: впереди трудная и опасная работа. Один Маевский остался на своем посту. И всю ночь шлюпку качало на волнах, и трое спало сном праведников, отсыпаясь за минувшие бессонные дни и ночи, и каждый видел сон — и у всех он был разный, но беда надвигалась одна, которую никто не ожидал.

Ветер под утро посвежел. Когда рассветало, Маевский разбудил Шарова и посадил его за руль. Громенков с Григорьевым проснулись сами и, озираясь, глядели по сторонам, ища материк, но, не обнаружив его, спросить у Маевского постеснялись. Шаров продолжал зевать. Одной рукой протирал глаза, другой держал рулевое весло, в уме стараясь определить местонахождение шлюпки. Шаров был старше по возрасту и по

службе и опытнее всех. На исхудавшем лице была заметна хитрая улыбка, которая смутила Григорьева и внушила ему страх, что Шаров — опытный моряк — не знает, где находятся они. Большой нос Шарова резко выделялся на продолговатом лице. Из-под бескозырки выбивались непослушные черные волосы. Шаров посмотрел на Маевского, как тот, умывшись, аккуратно причесывает волосы, и подумал: «Не падает духом и надежды не теряет: с таким не пропадешь,» — и громко, чувствуя власть над растерявшимися товарищами, приказал: — Салаги, за весла! Взять курс на Кронштадт!

— Правильно, старина, — одобрительно сказал Маевский, указывая рукою направление, — впереди должен быть Гогланд и Сейскар. Громенков и Григорьев дружно принялись грести. — Спокойнее, — поучал Шаров, — берегите силы!

Дул свежий ветер. Кружились чайки — предвестники бури. Но моряки, меняясь на веслах, гребут и гребут: назад хода нет, хотя море выглядит неприветливо. Маевский завернулся в брезент и лег. Заснуть долго не мог. Все время думал об одном, как спасти людей. Он ясно представлял, что шторм неминуем: об этом говорило выражение лица Шарова, когда он проснулся и осмотрелся, ошибиться человек, прослуживший на Балтике пять лет, не мог. Поэтому Маевский решил, что вечером, если днем не подберут свои корабли, незаметно причалить к берегу и запасть продуктами, пока не улучшится погода. Дальше плыть только ночами, а днем отдыхать. Размышления прервал Григорьев: — Чертовски есть хочется!

— Три дня во рту крошки хлеба не было, — добавил Громенков, пытаясь прикурить на ветру папиросу.

— Не порти спичек, — предупредил Шаров, — не умеешь — не берись! — и, привстав на корме, подставляя пламя горящей спички встречному ветру, ловко прикурил, одновременно ответил на слова товарища: — О хлебе не думайте: у нас его нет! Дойдем до Гогланда — подкрепимся, на Сейскаре отдохнем, а там рукой подать до родного Кронштадта!

Маевский не сказал, а в уме одобрил замечания Шарова. Он тоже хочет есть, но знает, что взять негде, поэтому рассуждение считает неуместным. Самое главное в Шарове Маевскому понравилось то, что он не теряет надежды достичь своих.

И как будто в подтверждение мыслей Маевского, Шаров запел... От песни на душе стало легче, и Маевский задремал. То непродолжительное время, которое Леонид спал, было временным забытием от невзгод, тягот, перенесенных за последнее время. Он не слышал и того, как друзья, выбиваясь из последних сил, налегая на весла, старались приблизиться к

берегу. Но буря надвигалась быстрее, чем двигалась шлюпка. Когда ее бросило в сторону, Маевский проснулся и в первое время не понял, где находится. Ему показалось, что вблизи разорвался снаряд, и взрывная волна сильно толкнула его в сторону. Он сделал усилие приподняться, но брезент, которым был укрыт Маевский, помешал ему.

— Начинается буря! — крикнул Шаров.

Маевский высунул голову из-под брезента и сразу заметил, как волна с ревом и шипеньем надвигается на шлюпку, которая то вынырнет на гребень вала, то исчезнет. Началась борьба не за продвижение, а за спасение жизни. Пользуясь моментом, краснофлотцы ставят шлюпку поперек набегающей волны. Она, как щепка, взлетает высоко вверх, изменяя положение. Не одну сотню раз с гневом обрушивалась волна на затерявшуюся в безбрежном просторе одинокую шлюпку. Борьба людей за жизнь со свирепым морем длилась ни минуту и ни час, а три дня. Трое слегли на второй день, только не сдавался Маевский и продолжал править шлюпкой. На четвертые сутки, когда на небе загорелись звезды, море затихло. Маевский выпустил руль и лег отдохнуть. Они лежали, прижавшись друг к другу, и все время молчали. Не единый звук не тревожил ночь, только удары сердца раздавались в груди... Вдруг Шаров встрепенулся, ему показалось, что слышится рокот мотора. Все насторожились, Маевский поднялся.

— Чу, слышите, братва, — гудит! — произнес Шаров. Еще минуту тому назад все думали, что Шаров ошибся, но сейчас отчетливо слышался гул самолета.

— По звуку не могу определить принадлежности самолета, — чуть слышно сказал Маевский. Утопающий хватается за соломинку, так поступил Леонид: другого выхода не было. Он засветил фонарик и описал им несколько кругов над головой. С самолета заметили. Он развернулся, и трассирующие пули засверкали в темноте.

— Прыгайте в воду! — подал команду Маевский, и первый выпрыгнул за борт. В разные стороны поплыли моряки. Долго были видны разноцветные огни, посылаемые самолетом. В шлюпку вернулось трое. Громенков убит, а может быть, не хватило сил продержаться на воде несколько минут. Тайну его гибели навсегда схоронило море.

Наступил день — пятый по счету и последний на свободе. К вечеру снова появился самолет. На крыльях отчетливо видны фашистские кресты. Сигналов давать незачем. Пули со свистом врезаются в шлюпку, но прыгать в воду никто не хочет: продержаться на ней не хватит сил.

— Кажется, приходит конец! — произнес Григорьев.

Обстреляв шлюпку, самолет улетел.

— Где отдадим концы, — сказал Шаров, — показывая рукой вперед, — ты видишь, командир? Чужой берег! Верь мне — чужой берег! Я плавал долго и узнаю его. С нашего берега дует не так! Я чувствую это прекрасно!

Дрожь пробежала по телу Григорьева от слов Шарова: он понял, что Шаров говорит о конце не как о морском термине — «отдать концы», а о конце жизни. Маевский посмотрел по направлению руки Шарова. Вдали отчетливо вырисовывался материк. Но сколько ни старался Леонид, не мог уловить ветра, о котором говорил Шаров, и понял, что волны прибили шлюпку к чужому и нелюдимому берегу. От этих мыслей стало неприятно, но, сдерживая злобу, он взялся за весла, которые плохо слушались его. Там, дальше, где чуть виднелся берег, где-то за горами впервые за шесть дней они увидели, как закатывается багряно-красное солнце.

На горизонте появились два сторожевых катера. Они быстро приближаются к шлюпке. Один заходит с кормы, другой идет прямо. Флагов на них нет. Матросы в таких же бескозырках, как и у нас, с автоматами в руках стоят на палубе. Крупнокалиберные пулеметы наведены на шлюпку. Сердце сжимается:

— «Чужие!»

— Руки вверх! — раздался голос с катера. Над головой свистят пули. Григорьев теряет сознание. Шаров лезет ему в карманы и уничтожает документы и одновременно выбрасывает оружие за борт. Маевский, понунив голову, сидит на корме и о чем-то думает. Катер идет прямо на шлюпку. Неожиданно Маевский хватается гранаты и одну за другой бросает в катер. Раздался страшный треск от удара катера в шлюпку и от одновременно разорвавшейся гранаты на нем. Леонид падает в воду. Его успевают подхватить багром за тельняшку и вытащить на палубу. Шарова поймать долго не могут. Когда с катера хотят ухватить его, он ныряет. Врагов это веселит, и они не спешат прикончить его. Они смеются и не понимают, почему русский моряк не желает принять руки, подаваемой с катера. Шаров убедился, что борьба окончена, повернулся лицом к катеру, где любитель хороших снимков стоял с фотоаппаратом в руке, и показал ему кулак, в тоже время намереваясь нырнуть, чтобы никогда не появляться на поверхности, но получил удар багром по голове.

Очнулись на берегу. Перед ними Хельсинки — порт. Сотни любопытных собрались на пирсе, не решаясь подойти ближе, боясь русских или, возможно охраны, стоявшей с автоматами наизготове. Глаза случайных свидетелей проникнуты ненавистью

к русским морякам и не предвещают ничего доброго. Одни бросают реплики и угрозы, показывая пальцами на пленных, другие стоят молча, разглядывая русских. Маевский немым взглядом обвел толпу, отвернулся и устремил взгляд на море. Оно слегка волновалось и пенилось. Волны, разбиваясь о мол, обдавали брызгами холодной воды сидящих. Шаров, наоборот, разглядывал празднично одетую толпу и разговаривал с нею. Ни она, ни он не понимали друг друга.

— Смотрят, как козел — на новые ворота, — сказал Шаров, обращаясь к Маевскому.

— Да, похоже, так, — ответил тот неохотно. Леониду не хотелось разговаривать. Голова была полна мыслей, и он ругал себя в душе, что не подорвался последней гранатой, понадеялся на катер, который по его расчету, должен был разбить шлюпку и потопить краснофлотцев. — «Счастлив Громенков, — думал Маевский, — ему не суждено испытать плена. Лучше смерть, чем позор».

— Накормили хотя бы, а там пусть расстреливают...

— Умирать голодному, что и сытому — одинаково, — перебил Григорьева Шаров.

— Прежде, чем мы умрем, они из нас сделают посмешище и вымотают все силы и нервы, — ответил Маевский и достал из кармана папиросы. Они оказались подмоченными. Напрасными оказались усилия выбрать папиросу посуше, ни одна из них не горела, и он выбросил всю пачку.

— Что, не видишь? — обратился Шаров к стоящему финскому матросу, — Командир курить хочет!

По жесту Шарова матрос понял, что русские хотят курить, и подал сигарету. Конвоира заругал другой, по-видимому, он был недоволен поведением первого, и они заспорили между собой.

— То-то, — сказал Шаров. — А все-таки, какой некультурный народ!

— Почему? — поинтересовался Маевский.

— Негостеприимно встречают!

— Будь спокоен, старина, — они еще покажут свое гостеприимство!

Григорьев за все время первый раз поднял голову и внимательно посмотрел на Маевского. Он до сих пор не мог понять, как это все получилось. Ему было все безразлично — скорее бы свелось к одному концу: но, услышав голос Маевского, он вздрогнул, предчувствуя недоброе. Шаров заметил смущенный взгляд Григорьева и успокоительно произнес, хлопая его по плечу: — Ничего, Ванюша, не падай духом, возможно, выберемся из этой непонятной истории!

Осмелевшая толпа постепенно приближалась, охватив плотным полукольцом моряков.

— Скоро весь город соберется смотреть нас, — сказал Григорьев.

— Как в зоопарке на зверей смотрят! — добавил Шаров.

Подошла машина. Из нее вылез грузный офицер в морской форме и дал распоряжение охране. Русских повели, толпа разомкнулась, пропустила их и угрожающе зашумела. К Маевскому подбежала девушка и плюнула в лицо. Стерев плевок, он с любопытством посмотрел на нее и улыбнулся. Она быстро юркнула в толпу.

— Сволочь! Плюнула и бежать! Не хватило мужества смотреть прямо в глаза!

— На душе спокойнее, друзья, — сказал Маевский. — Когда плюет враг, бессильный что-либо сделать с тобою, — это не позор, позор будет тогда, когда нам плюнут в лицо свои за наш поступок!

Ему никто не ответил. Пленных привели в тюрьму и разместили в одиночных камерах, предварительно обобрав подчистую. Забрали деньги, флотские ремни с бляхами, зажигалки и заменили сапоги. Из-за часов Маевского поспорили между собою два матроса, но спор решил третий, забрав их себе; наверное, он был старшим или сильнее других.

Маевский упал на матрац, лежащий в углу камеры, и, уткнувшись лицом в подушку, задумался над сложившимся положением. Хотелось спать, но мрачные мысли лезли в голову и мешали заснуть. Он не обращал внимания на холодные капли воды, падавшие на него с потолка, продолжал думать: «Как могло получиться, что я, командир, которому доверяли, которого уважали и ставили в пример другим, оказался в плену? Как подумают товарищи? Что скажет родина? Как отнесутся родные: я опозорил седую голову отца, девушку, которая любила меня. Я заслужил презрение и ненависть всех! Кто мне поверит, что я не желал сдаваться в плен, а попал случайно — неумышленно. Кому какое дело до того, что я, будучи ранен. Не поехал в госпиталь, и сейчас загноившаяся рана не дает мне покою и мешает заснуть и забыться от тяжелых мыслей».

Как ни крепился Маевский, стараясь обдумать хорошенько свое положение, усталость взяла свое. Засыпая, он решил твердо, что необходимо приложить все силы, чтобы бежать на родину и держать ответ. Спать пришлось недолго. Проснулся от страшного крика в соседней камере. Там истязали человека — пытали и избивали его.

— Не иначе, как — Григорьева; Шаров так кричать не

будет, — подумал Маевский: — Значит, началось то, чего я ожидал!»

Собрав последние силы, Маевский начал стучать в дверь камеры; удары были слабые, но, несмотря на это, его стук — немой протест — разбудил остальных; сначала ему ответили в одной камере, затем вся тюрьма наполнилась криком и протестом против избиения. Прислушиваясь к ударам, Маевский убедился, что они не одни — вся тюрьма забита людьми, но за какие преступления и кто сидит, он не знал.

Дверь камеры отворилась, на пороге показались два финских матроса. Маевский посмотрел на них без особой боязни и приготовился к пытке. Она не последовала. Жестом руки ему дали понять, чтобы он вышел, и повели его по узкому и темному коридору. Ноги не слушались и подкашивались, но он старался не подавать вида, что плохо держится на ногах. Матросы поочередно открыли камеры, где сидел Шаров и Григорьев. Маевский успел переброситься с ними несколькими словами и убедился, что их никто не тревожил и не избивал. Затем его подвели к той камере, откуда раздавался крик. Леонид увидел бледного человека с провалившимися глазами, сидевшего в углу камеры. Из рассеченной брови по лицу текла струйка крови: свежие следы побоев. Он был острижен наголо и в полосатом тюремном халате. Маевский кивком головы приветствовал его, но он отвернулся. Матрос, сопровождавший Маевского, сказал: — Коммунист! — и захлопнул дверь.

— Нечего сказать, дожили до веселых дней, даже они — коммунисты Финляндии отвернулись от нас!

Снова в камере. На матраце лежали куски черных галет. Их принесли в его отсутствие. Машинально схватив галету, он начал жевать. Засохший черный хлеб не поддавался зубам. Чтобы жить, надо есть. А чтобы есть галеты, их надо размочить. И он положил их на пол в то место, куда капала вода с потолка, с надеждою, что она размягчит их. Одна за другой падали капли на галеты и, разбившись на мелкие части, разлетались по сторонам. Порою ему казалось, что в противоположном углу вода капает сильнее, и он перетаскивал их туда. То и дело он пробовал их, не размякли ли они, и снова клал на прежнее место.

И вспомнилось Маевскому прошлая финская война. В холодный декабрьский день они высаживались на остров, где он принимал первое боевое крещение. Вечером в доме сушили белье и делились впечатлениями о первом бое. В дом вошел краснофлотец Коржов — друг Маевского — и прервал их разговор: «Смотрите, — сказал он, — они еще думают с нами воевать!» — И бережно завернув в бумагу кусок черной, как

земля, финской галеты, положил в противогазную сумку. — Повезу в Кронштадт, покажу братве, чем кормят финских солдат!»

Перед глазами Маевского выросла гора финских галет, к которой подходят краснофлотцы и смотрят, как на диковину; иные, разломив галеты, пробуют, сплевывая, ругаются и берут на память показать товарищам.

Воспоминание нарушил скрип ржавого ключа в двери, и на пороге показался высокий худощавый матрос с белокурыми выщипанными волосами. Он посмотрел на Маевского задумчивыми светло-голубыми глазами и, переведя взор на потолок, где свисали сотни капель воды, поминутно падавших вниз, произнес: — Следуйте за мной!

Маевский удивился чистой русской речи и, не сдержав любопытства, спросил: — Откуда вы знаете русский язык?

— Так, — ответил он неохотно, — учился в школе немножко.

Выражение лица говорило, что матрос отвечает не искренне. Когда шли по коридору, Леонид заметил, что его спутник уже не молод: ему за сорок лет. Лицо угрюмое и невеселое. Лоб испещрен глубокими морщинами. В глазах печаль, как будто он все время о чем-то думает и переживает. Вошли в комнату. За столом сидели Шаров с Григорьевым и ели овсяный суп на молоке. Охраны не было. В углу, развалившись в кресле, сидел плотного телосложения матрос — начальник караула да два финна-матроса. Его круглое красное лицо было чисто выбрито, и с первого взгляда не понравилось Маевскому. Из-под бескозырки, сдвинутой на брови, смотрели на пленных злые глаза. Он был пьян и еле ворочал языком.

— Я презираю коммунистов! — переводил его речь матрос, служивший переводчиком, тот самый, который привел Маевского. — Если кто из вас коммунист, я перережу ему горло. Комиссарам и политрукам пришел конец! Я всех буду резать своими руками!

Он угрожающе вынул финку и встал, но ноги его не слушались, и он повалился в кресло.

— Я добрый человек! Мне приказали тебя не выпускать. Ты опасный преступник: хотел потопить катер, но мне наплевать на то, что говорит начальство! Что хочу, то и сделаю! Вас накормят хорошо — благодарите меня! Матросам надоело слушать его болтовню. Они с нетерпением ожидали, когда он заснет, чтобы расспросить через переводчика интересовавшее их, но тот болтал без умолку: то хвалил себя, то грозил вырезать полмира, то просто говорил несуразицу. Один из матросов достал из подвешенной на ремне сумки бутылку коньяку и посмотрел на свет. Определив, сколько в ней осталось содержимого, подал

начальнику караула.

— За ваше здоровье пью!

Начальник стал жадно глотать прямо из горлышка коньяк и трудно было понять, за чье здоровье он пил: или за русских, или за того, кто дал ему бутылку, но для него уже было безразлично. Через минуту он спал.

— Вы не обращайтесь на него внимания. Это дурной человек. Место ему на фронте ... но он никогда там не будет: «По отцу и сыну честь, — сказал переводчик, тяжело вздыхая, — здоров, как бык, — богат, как купец!»

Присутствующие начали задавать вопросы, и завязалась оживленная беседа. Многие из них не верили пропаганде финских газет и радио и сейчас убеждались в этом. Больше всех интересовался переводчик. Когда Маевский рассказывал о жизни в Советском Союзе, работе, службе, лицо его принимало грустное выражение.

Разговор прервал появившийся во дворе какой-то начальник. Русских развели по камерам.

Усталость чувствовалась во всем теле, и Маевский быстро заснул. Проснулся поздно утром, когда бледный луч солнца проник через маленькое отверстие в сырую и темную камеру. Хотелось снова есть и курить. Маевский стал прохаживаться из угла в угол. В голове была только одна мысль: на его совесть лег тяжелый камень — позор. Сумеет ли он смыть его и каким образом?

В то время, когда Маевский прохаживался по камере и все думал и думал, Шаров сидел у следователя. На заданные вопросы отвечал уклончиво, шутил, смеялся и вообще был настроен весело и в конце концов заявил, что он малограмотный и дальше своей деревни нигде не был. Следователь действительно пришел к убеждению, что русский глуповат по природе и добиться от него чего-либо существенного невозможно. Григорьев начал врать, запутался и волей-неволей рассказал почти всю правду, что знал, заслужив похвалу следователя. Если Шаров умел строить из себя неразвитого и глупого человека, то Григорьев не был глупым, но был малограмотным краснофлотцем, недавно прибывшим во флот. Он вырос сиротой и никогда не знал ласки и заботы родителей, человек, никогда не бывавший в городе, не успевший перевариться в котле человеческих отношений, не познавший товарищеской дружбы, попав в трудное положение, он растерялся и не знал, как себя вести. Он не хотел говорить того, что спрашивал следователь; допрос сопровождался побоями. Вначале Григорьев говорил неправду и, наконец, не помня себя, сказал то, что нужно было следователю. Почувствовал свою маленькую

вину, он решил, что все кончено. На родине у него нет никого, а она ему это не простит, и рассказал, что знал, ожидая скорой смерти, довольный тем, что избавляется от мук, хотя следователь поверил не всему.

После обеда вызвали Маевского. В кабинете за столом сидел следователь, рядом с ним переводчик, который ранее приводил Леонида на обед, интересовался жизнью в новой России. Леонид по приглашению сел напротив следователя: рядом с ним стал здоровенный детина с глуповатым выражением лица. Минуту продолжалось молчание. Следователь смотрел на пленного и думал, с чего начать допрос. Маевский разглядывал портрет Маннергейма на белом коне, висевший на стене между двух окон, за которыми прохаживался матрос с винтовкой в руке. Вежливо и спокойно начал разговор следователь. Вначале осведомился, откуда родом, где родители, как живут, и неожиданно спросил: — Какой части? — Маевский, когда вопрос коснулся службы, пожал плечами и также спокойно ответил: — Говорю откровенно — в Советском Союзе, а номера не знаю.

— Не знаете, или не хотите сказать? — не повышая голоса, спросил следователь через переводчика, стуча пальцами по столу.

— Понимайте как хотите!

— Вы поставите себя в лучшее положение, если скажете, что сдались добровольно. Учтите это, молодой человек! Каждый здравомыслящий человек с трудом поверит, что вы сражались на Эстонском фронте и, спасаясь от немцев, ушли в море на крошечной шлюпке. Бюро погоды дает официальные данные, что в минувшие четыре пять дней на море шторма ниже шести баллов не было. Так вот подумайте, могли ли вы удержаться на море и не погибнуть? Советую сказать следующее: вы служили на каком либо корабле. Ночью вас торпедировала финская подводная лодка. Вы только и ожидали такого случая, чтобы добровольно сдаться в плен, не желая воевать, так как считаете войну несправедливой и грабительской. Ответ, конечно, будет правдивый. Несколько положительных ответов, интересующих морское ведомство, и вам забудется брошенная граната в катер. Запирательство приведет к нехорошему, и впоследствии можете пожалеть об этом, но будет поздно...

— Возможно, вы предложите мне свое заявление опубликовать в газете? — прервал переводчика Маевский.

— Вы ведете себя некорректно, молодой человек. Голос следователя дрогнул, и в нем послышались нотки угрозы, но в лицо по-прежнему было добродушным.

— У меня, — продолжал Маевский, — никогда не мысли о добровольной сдаче в плен. Брошенная граната — мой долг!

— Вы не забывайте, где находитесь!

— В фашистской Финляндии, — ответил Леонид, — и местонахождение останется в моей памяти навсегда!

Следователь поднялся со стула. Исчезла прежняя добродушная улыбка. Лицо приняло официально-суровый вид. Жую сигару, он обратился к переводчику и солдату, стоявшему около Маевского, который с безразличным видом стеклянными глазами рассматривал пленного.

— Ну, что ж, молодой человек, будем говорить откровенно — по душам!

Следователь сел. В его глазах заиграла лукавая и вместе с тем злая насмешка. Откинув голову на спинку кресла и положив одну ногу на другую, он затягивался сигарой и пускал клубы дыма, любясь, как он поднимался к потолку.

— Думаете ли вы продолжать разговор и отвечать на мои вопросы? Если нет, я вынужден применить лекарство — радикальное лекарство для развязывания языка!...

Маевский резко произнес: — Нет!

Переводить не потребовалось: следователь понял отрицательный ответ.

— Встать! — крикнул он. И когда Маевский поднялся, следователь засмеялся, оскалив большие и редкие зубы, и хитро подмигнул. Леонид в первую минуту не понял, кому моргает следователь, но глядя на переводчика, лицо которого исказилось гримасой, выражающей испуг и жалость, понял, что в этом таится недоброе. Не успел осознать, что именно, как повалился под стол от сильного удара по шее. Это был первый излюбленный прием следователя. Он заставлял допрашиваемого стоять по команде «смирно» с заложенными руками назад, а стоявший рядом солдат сильно бил по шее. От неожиданности удара устоять на ногах нельзя. Маевский с разбитым и ободраным лицом поднялся и снова стал в прежнее положение. В голове шумело.

— Может быть, заговорите? — спросил следователь строго.

— Не думаю! — ответил Маевский и приготовился к удару. Они не заставил себя ждать. Леонид снова повалился на пол. Так продолжалось несколько раз с той лишь разницей, что Маевский падал, не ударяясь лицом, а успевал вытянуть руки вперед. Следователь убедился, что перед ним стоит человек твердой воли и не скоро заговорит. Поэтому он решил принять все меры, чтобы сломить упорство русского и заставить его отвечать на вопросы. Чем больше били Маевского, тем спокойнее чувствовал он себя, тем сильнее хотелось выдержать пытку, чтобы впоследствии отомстить палачу.

Переводчик вышел из комнаты и вскоре вернулся с двумя

матросами. Один из них нес скамейку, другой — два резиновых шланга. Маевский невольно улыбнулся, поняв, что его будут «сечь плетью». Ему стало обидно до слез, что его, — гражданина страны, где навсегда отменено телесное наказание, о котором он знал по книгам, будут бить как животное, которое не везет воза.

Следователь не предлагал больше русскому отвечать добровольно, так как убедился, что без физического принуждения он не добьется ничего. Маевский вначале считал удары, кусая губы, чтобы не закричать и не показать свою слабость, но организм, утомленный трудными днями в море и недоеданием, сдал, и он потерял сознание. Переводчик смочил голову пленного холодной водой, и тот пришел в себя. Превозмогая боль в теле, голова кружилась, перед глазами плыли темные пятна, — Маевский встал и плюнул кровью в лицо палачу. Были ли заранее обдуманы действия следователя, или его разум выдумывал на ходу пытки, но они следовали одна страшнее другой. Пленному надели наручники, которые до боли сжимали руки. Леонид попытался их сорвать, но они механически врезались в тело.

— Не шевелите руками: при движении наручники сжимаются сами, — предупредил переводчик.

Сильным ударом в затылок солдат повалил на пол Маевского и наступил ногою на шею. Затем надел железный обруч на голову, связал ноги и соединил обруч с ногами. Натянув веревку так, что голова и ноги оказались приподнятыми кверху. Допрашиваемый только грудью касался пола. Воздуха не хватает — дышать трудно. Глаза наливаются кровью и готовы выскочить из орбит. В груди чувствуется тяжелая боль, как будто ее сдавливают тисками. Солдат с равнодушным видом стоит около мученика и не дает ему свалиться на бок. Следователь по-прежнему сидит на своем месте и, не спеша, пьет принесенное кофе. Мучительно медленно тянется время для русского моряка, но фашист не спешит закончить пытку. Он наслаждается муками пленного и не чувствует ни малейшего угрызения совести. Переводчик, отвернувшись от истязаемого и следователя, курит одну папиросу за другой. Маевский не помнил, сколько пролежал в таком положении. Ему показалось — целую вечность. Насладившись муками военнопленного, палач приказал развязать Маевского и начал снова спокойно допрос, как будто здесь ничего не случилось.

— Так, Леонид Маевский, значит, вы не желаете отвечать? Прекрасно... прекрасно. Надеюсь, при следующей встрече вы будете откровеннее.

Маевский не слушал его: тело ныло, голова разламывалась от сильных болей, но главное все же он уловил: впереди ожидает

страшное.

— А это кто будет такая? — спросил следователь, показывая фотокарточку, найденную у Маевского в кармане, — Жена или знакомая?

От злости, бессильный помешать фашисту смотреть на фотокарточку, Леонид стиснул зубы и ничего не ответил, а подумал: «Поймет ли она?»

— Еще один вопрос: Григорьев отрицает, что он стрелял и убивал наших доблестных союзников...

Маевский не дал ему договорить.

— Я не отрицаю и не скрываю! В бою был беспощаден: стрелял и убивал не только немцев, но и шюцкоровцев в 1939 году, а над пленными не издевался и для себя пощады не прошу...

— За это молодец: солдат должен стрелять!

— Для меня оскорбительно слышать похвалу из уст негодяя!! Если вы не убьете меня, я убью вас! — сказал Маевский и пнул стол, за которым сидел следователь.

— Уберите сумасшедшего...

У пленного хватило силы выйти из комнаты: в коридоре он упал на пол. Сопровождавший его солдат позвал матросов из состава караула, и они понесли Маевского в камеру. Навстречу им шел политический заключенный с двумя ведрами воды, которого вчера избивали в камере. Он остановился и дал дорогу. Затем бросил ведра и побежал по коридору, крича возле каждой камеры, за это его снова подвергли избиению. Весть об избиении русских военнопленных молнией облетела тюрьму, и политзаключенные, как один, отказались выйти на работу и объявили голодовку. До конца пребывания в тюрьме военнопленных больше не тревожили.

Избитого Маевского положили на матрац. Ни на минуту не стихала боль в раненой ноге, поврежденной во время пытки; тело ныло от полученных побоев, но сильнее всего ощущалась боль в сердце — позорный плен.

4. Напрасные надежды.

Встреча Беляева с русскими моряками разбередила старые раны. Временное пребывание пленных в тюрьме придавало ему бодрость. У него с новой силой вспыхнула мечта вернуться на родину, и он говорил себе: — Вместо этих фальшивых слов финского радио, подойти к микрофону и крикнуть: Слушайте! Слушайте! Говорит Павел Беляев, уроженец Орловской губернии. Не верьте обещаниям: фашисты хотят поработить Россию!

В воображении рисовались, что сотни тысяч слушателей уже слушают его, раскаивающегося человека. И вот, когда все внимание будет устремлено к приемникам и репродукторам, в эфире раздастся револьверный выстрел: «Его убили!» — подумают они. Но, представив себя лежащим на полу в луже крови с простреленной головой, Павлу становилось жутко, и он шептал: — Надо обождать, может быть, найду другой выход. Я ведь хочу вернуться на родину!

И душа Павла Беляева двоилась. Один Беляев был тот, который ставил себялюбие выше национальной гордости и не хотел признать прошлых ошибок, другой Беляев был тот, который испытал на себе двадцатилетнее томление и уже раз в жизни был обманут громкими словами финнов и боялся быть обманутым еще раз.

Когда увели моряков, следователь предложил переводчику сигару и решил поделиться с ним впечатлением о первом допросе. Затягиваясь дымом, он начал разговор, который менее всего желал слушать Павел, предпочитая остаться со своими мыслями наедине, но уйти, когда не разрешил начальник, не осмелился.

— У меня с большевиками старый счет! Тысяча девятьсот двадцать первый год, тридцать девятый, — мы проиграли войну. Сейчас я снова в строю. Мстить большевикам — вот моя цель в жизни! Два раза мы были биты, но ты, Беляев, должен понять, добиться победы над Россией один на один нельзя. В настоящее время вся Европа во главе с Великой Германией двинулась на большевиков. Мы поставим Россию на колени, и я предъявлю счет ...

Беляев в душе желал поражения Советского Союза, так как тогда можно будет вернуться на родину со спокойной душой. Не нужно будет раскаиваться в прошлом поступке: он больше всего боялся признания. Предаваясь своим мечтам, Павел забыл свою личную жизнь, развлечения, дом, где вечерами дожидалась его дочь с внуком.

А следователь все говорил и говорил. Беляев улавливал только отдельные фразы.

— Легко мечтать о хорошем, но трудно добиваться. Хорошее не дается легко. К нему приходят медленно и тяжело. Те или иные испытания в жизни неизбежны. Они стоят на пути человека. Обойти их нельзя, нужно осилить, свергнуть, стереть, и когда они останутся позади, где-то далеко, — уж только тогда вырисовывается предмет стремления. Он постепенно облекает в форму, становится определенным и познаваемым. Когда цель достигнута, хотя и в упорном труде, на прошлое можно оглянуться безбоязненно: оно не вернется вновь ... И я вижу этот предмет наяву — возвращение в Петроград, откуда я был выгнан большевиками, — говорил следователь.

Беляев кашлянул и хотел что-то возразить, но следователь заговорил снова: — В один прекрасный день старое вернется вновь!

— «А если не вернется, — подумал Беляев, — тогда что будет?»

Боязнь, что старое, из-за методов следователя, может не вернуться, заставило Беляева побороть робость в душе перед начальником и задать вопрос: — Не кажется ли вам, господин следователь, что русский вел себя достойно своей нации и ...

Удар кулака по столу. Затем гневный голос на всю комнату не дал Павлу закончить своей фразы: — Фанатик, как все большевики! Но они в Россию не вернутся! Двадцать лет мы жили надеждами ... Осталось немного, мы вернемся в Россию не как изгнанники, а как победители!

— Но что тебя гонит в Россию, ты живешь на родине, — хотел спросить переводчик.

— Мой капитал лопнул, но ...

— Ах, вот оно что! — невольно вырвалось у Беляева.

— Нет! Нет! Мы будем в России! — закричал следователь. Лицо его побагровело, на висках отчетливо выступили жилы. Негодующий взгляд устремился на Беляева. Он готов был растерзать и пленных, и переводчика, и всех тех, кто станет на его пути. Но, не имея возможности в данный момент выместить злобу на переводчике, он истерически закричал: — Возврата на родину для них нет! Мы победители — они наши рабы! Близок час полной победы наших доблестных союзников и нашей армии. Мы пригоним в Финляндию сотни тысяч русских и заставим их работать на нас в шахтах, рудниках, на заводах. Да! Да! — они будут рабами Великой Суоми!

Павел встал с кресла, прошелся по комнате и насмешливо сказал: — Вы говорили, что долго жили в России, знакомы с

русской литературой, культурой, театры ее до сих пор остались у вас в памяти, не понятен для вас был только человек — русский человек.

— Серая скотина, как и... — следователь вовремя спохватился и замолк.

— Вы хотели сказать, как и я, господин следователь, — иронически, но вместе с тем со злобой произнес Беляев.

В дверь постучали. Переводчик оглянулся, а следователь крикнул: — Обождите! — Но не успел он открыть рта, чтобы возразить Беляеву, что он не имел в виду его, в комнату ворвался толстый господин, на коротеньких кривых ногах.

— Добрый день, господа! — снимая на ходу шляпу, приветствовал незнакомый и без всякого приглашения уселся в кресло. — Слышал я, у вас содержатся пленные — русские...

— Кто вы, и что вам угодно? — официальным тоном спросил следователь.

— Вам угодно знать, кто я? Пожалуйста! — и, достав из кармана пропуск, важно протянул следователю. Он был подписан Эльянсом Эркко, одним из крупнейших деятелей финансовой олигархии.

— Вас проводить? Или вызвать сюда? — любезно улыбаясь, спросил следователь.

— Нет! Нет! — замахал руками господин с короткими ногами. — Прошу без официальных. Представителя власти не нужно. Я буду благодарен вам, если вы не откажете мне в любезности вызвать переводчика.

Павел встал, поклонился и по-солдатски, коротко сказал: — Я к вашим услугам!

— Кстати, оказывается, и переводчик здесь! Лучше быть не может!

Пока шла беседа у следователя, военнопленных вывели в помещение караула, где их ожидала празднично одетая публика, пришедшая полюбоваться пленными. Среди них была девушка, плюнувшая Маевскому в лицо. Публика, по-видимому, считала своим долгом за свое любопытство заплатить, так как поочередно предлагали сигареты, папиросы, печенье, хлеб. Никто из краснофлотцев не брал принесенных подарков. Григорьев испуганно смотрел на забинтованного Маевского. К нему подошла девушка и протянула руку с конфетами: в это время щелкнул фотоаппарат.

— Вот гад! — проговорил Леонид и кивнул головой Шарову. — Вчера снимали, как плюют нам в глаза, сегодня, как угощают! Допустить опубликования снимка нельзя! Михаил, ты понял меня?

Шаров подошел к финну и, вырвав у него из рук фотоаппарат, разбил о стену. Финн растерялся и не знал, как ему поступить: рассердиться и ударить русского или смеяться: над ним смеялись праздные зеваки. Из неловкого положения его вывел толстый господин, вошедший с переводчиком Беляевым. Жестом руки он приветствовал присутствующих и, сняв шляпу, вежливо поклонился трем русским морякам. Не уважение, а деньги заставили его кланяться перед пленными: он держал пари на крупную сумму.

— Содержатель «богоугодного» заведения, — начал Беляев, — идя навстречу благородным желаниям своих содержанок, добился разрешения у высшего начальства и приглашает вас посетить его.

Толстяк стоял с улыбкой, ожидая, какое решение примут военнопленные. Заметив, что слова не произвели на русских должного впечатления, какого он ожидал (а отрицательный ответ мог уронить его престиж) он поспешил добавить через переводчика: — Кроме того, он гарантирует от заболевания венерическими болезнями.

— Русские по проституткам не ходят: в России их нет уже двадцать три года, — не задумываясь ответил Маевский.

Содержатель притона, услышав отрицательный ответ одного, снова поклонился Григорьеву, ожидая, что скажет тот. Иван повторил то же. Шаров притворился, что не понял смысла разговора, и для смеха поблагодарил толстяка, предложив ему кушать на здоровье самому то, что он предлагал русским. Беляев перевел, и под дружный смех содержатель притона удалился.

Каждый день продолжалось одно и то же. Любопытные приходили смотреть на русских. Одни, как победители, — показать свое торжество и право издеваться над ними, другие — убедиться, так ли пропаганда описывала большевиков, третьи — просто поглазеть от нечего делать, а затем рассказать другим, кто еще не видел русских.

Наступил последний день пребывания трех русских моряков в хельсинской тюрьме. Утром их вывели во двор — первый раз за все время. Собралась многочисленная толпа. Военнопленные привыкли к ней. Она кажется на так уж страшной: и в ее массе они научились распознавать людей, сочувственно относящихся к ним. Матросы караула оживленно беседовали, стоя в отдаленности от толпы: ближе к ней был начальник тюрьмы и следователь с сигарой во рту. Моряков подвели к нему. Разговоры стихли. Следователь посмотрел на русских и, обращаясь не столько к ним, сколько к толпе, сказал: — Вы будете рабами!

Слова его заглохли в прощальных возгласах, послышавшихся из окон тюрьмы: — Мы запомним, как трех русских моряков

содержали в хельсинской тюрьме! Над ними издевались, пытали, но они остались верны тому делу, за которое сражались!

— И они умрут с мыслью о родине! — крикнул Леонид, повернувшись к протянутым через решетку рукам.

- Они умрут, но товарищи по борьбе водрузят красное знамя победы, и оно, как символ свободы и счастья, будет гордо реять над миром!

На этом пребывание в тюрьме закончилось. Моряков повели по улицам города — толпа сопровождала их. Мало-помалу она рассеялась, и они остались пятером: трое военнопленных, матрос — конвоир, да сержант — пехотинец. Встречные прохожие озирались на них и строили всевозможные догадки: откуда в столице, расположенной за много сотен километров от фронта появились русские, и грозили кулаками, разнося ложные и панические слухи по городу.

— Итак, я снова один, — сказал Беляев, когда конвой, сопровождающий русских, скрылся за поворотом. — Куда пойти? С кем поделиться горем? О Родина! Родина! В водовороте Гражданской войны я не разобрался и забыл главное, что у меня была родина. Послушался эсеров — меня вышвырнули за борт жизни. У меня была еще возможность возврата на родину. Многие вернулись, но я продолжал слушать людей, которые шептали, что большевики не продержатся долго, и, что нас, хороших людей, пригласят к власти — мол, приходите и правьте нами. Пошло время — и нас никто не позвал — обошлись без нас! Двадцать лет прошло с тех пор, как я покинул родину. Двадцать лет был на отшибе — жил мыслями о родине. До этого времени питал еще надежду, но когда взялся за оружие — надежда исчезла. На что еще надеяться?

.... А радио кричало: «На что надеются большевики? Только люди, желающие несчастья своему народу, могут продолжать войну. Русской армии отныне не существует!... Эстония, Латвия, Литва, Белоруссия и, наконец, Украина с ее Донецким углем, Криворожской рудой, хлебом — все, что составляло жизненную силу, повергнуто в прах...»

— Ведь это правда! — восклицал Беляев. Он знал истинное положение на фронтах хорошо, слушая по радио сообщения «Совинформбюро», которое не скрывало отступления Красной армии, на основании которого он, искажая действительность, составлял свои клеветнические выступления и ожидал капитуляции России... И Павел не принимал никаких мер, чтобы порвать, порвать навсегда с прошлым и уйти к новому, а плыл по течению, куда толкало его время и чужие люди.

5. В центрально-распределительном лагере.

Военнопленных моряков привезли в центрально-распределительный лагерь, расположенный недалеко около города Лахти в маленькой деревне, на берегу живописного озера. Сплошной лес окружил его, только западная сторона имела небольшие прогалины. Лучи заходящего солнца, прячась в озере, придают ему красноватый оттенок. Привлекательный вид придавал озеру лес, отражаясь в нем. Вершины столетних сосен, на иглах которых играют тысячи различных оттенков, шептались между собой. Плескалась рыба в озере, дикие утки стаями плавали по нему. Никто не нарушал покоя деревенской жизни. Тихо и мирно жила финская деревня. Но пришли люди, одетые в солдатские шинели с буквой «S» на рукаве, знак различия шюцкора. Не слышно больше песен, веселых криков на берегу озера, и никто не выходит любоваться закатом солнца. Крестьян выгнали с насиженных мест. Деревню заняли под штаб и военные учреждения. Рядом с нею выкорчевали лес, площадь обнесли колючей проволокой, организовали лагерь. В нем наспех построили шесть бараков без единого окна, кухню, баню и — без чего не может существовать ни один лагерь — карцер. Все, что предназначено для военнопленных, расположено в северной части сбито в одну кучу. Большая часть территории лагеря без построек — это место для проверки прогулки пленных; посередине площади торчит одинокий шест, на котором треплется флаг.

Отдельно от всего строения расположен дом, где проводится регистрация вновь прибывших военнопленных и распределение на работы.

Поодиночке и партиями приводят военнопленных, раздаются выстрелы, и никогда не смолкают вопли и стоны.

Маевский подошел к столу, за которым одним росчерком пера люди лишались фамилии и имени и получали номера. Нервные судороги пробежали по его лицу; оно исказилось гримасой, что часто стало появляться у него в минуты душевного расстройства. Не в силах сдерживать негодования, он произнес: — «А все-таки, победа будет за нами!

— Повторите, что вы сказали? — и, не дожидаясь ответа, финский офицер злобно крикнул: — Номер 2326 — пошел, вон!

Странно сложились обстоятельства! Человек без фамилии и имени с номером 23–26! Он не услышит больше своей фамилии, которую носили многие поколения его прадедов, впереди пытки и

издательства, колючая проволока, чужие люди!

Получив «паспорта», — картонный круг с номером, моряки оказались в общем строю военнопленных, находящихся на вечерней проверке.

В первую минуту, когда Маевский очнулся в одиночке хельсинской тюрьмы, он думал, что только они трое, у которых не хватило сил справиться со стихией природы, находятся в плену. Равняясь в строю по передним, он видит тысячи людей, которые еще недавно защищали родину, свои права на жизнь и свободу, отцов и детей, жен и матерей, а теперь стоят, понутив головы, за колючей проволокой. Дрожь пробегает по телу от мысли: всех ли завела сюда одинаковая судьба?

Как только солнце спрячется за лес, как будто не желая созерцать ужасную картину, лишь отражения на озере хочет подсмотреть судьбу несчастных, стоявших в строю, в лагере появляется начальник и начинается вечерняя проверка. Выкликают по номерам и разводят по баракам. Сегодня воскресенье: военнопленных не разводят по баракам, как в обычные дни. Они молча смотрят перед собою и, надеясь, что жертвою будет не он, а кто-то другой, тихо переговариваются между собою.

— Слышишь, братишка! — сказал Шаров, толкнув номер 23–26, и кивком головы показал туда, откуда раздавались вопли, заглушаемые бранью на незнакомом языке. Леонид не слышал вопроса Шарова или просто не захотел ответить.

— Я насмотрелся, каждое воскресенье расстреливают троих, ... сегодня нас будет больше! У полковника в бараке убили сына. Дойдет очередь и до него! — ответил на вопрос Шарова Николай Солдатов, стоявший справа от него. Леонид с товарищами прибыл за час до построения на проверку, и история с сыном полковника была им неизвестна, как и то, что каждое воскресенье расстреливают троих, не считая тех, кто гибнет за какие-либо «провинности» или просто по подозрению в принадлежности к Коммунистической партии большевиков. После слов Солдатова Шарову стало понятно, почему барак, куда их зачислили, стоит отдельно от других. Жертва еще не выбрана, но каждый знает, что высокий, худощавый полковник решил судьбу троих. Он медленно прохаживается перед строем, присматривается. Спешить и волноваться ему незачем: судьба двух тысяч сегодня в его руках. О завтрашнем дне он не думает. Не думает он и о том, что рано или поздно ему придется держать ответ за свои злодеяния. Коверкая русские слова, он говорит:

— Ты политрук! Ты коммунист! А ты еврей!

Все кончено — троих нет. Кто они? Родные расстрелянных

никогда не узнают о случившемся!

Начинается месть за сына. Выведено двадцать. В число их попал и Леонид. Конечно, он может сказать, что прибыл только сегодня, и его вернут, но знает: для него легче погибнуть, чем унижаться и просить пощады. Леонид вышел и, молча попрощавшись, пошел вдоль строя, повторяя слова, которые относились ко всем стоявшим: — Держитесь дружнее! Всех не расстреляют! Помните о родине! Она вас не забудет! Запомните все и отомстите за мучеников!»

Пулеметчик на месте: зловещее дуло наведено на военнопленных. Напряженная минута — очередь, — и товарищи никогда не увидят своего друга: его бросят в канаву, вырытую для уборных, и даже не зароят. И через несколько дней они почувствуют неприятный запах разлагающегося человеческого тела. К полковнику подходит переводчик Пуранковский и о чем-то с ним беседует.

— Номер 2326 выйди из строя! — на чисто русском языке говорит он. Полковник бьет Леонида в лицо.

— Ему не суждено погибнуть! — вскрикнул военнопленный Рогов.

— Ты позавидуешь этим! — показывает полковник на обреченных и удаляется от строя; вслед за ним повели Леонида.

Какая причина толкнула Владимира Пуранковского спасти Маевского, никто не знал. Не мог объяснить и он: вместо одного расстреляли другого. Возможно, ему казалось, что Леонид менее повинен в смерти сына полковника, чем тот, кто стал на его место, или, может быть, он думал, что вместо матроса не выведут другого. Но полковник не любил изменять своих решений, и на душе Пуранковского не стало легче.

Девятнадцать умерли молча. Двадцатый, раненый в живот, с криком бросился на проволоку и быстро оказался за зоной лагеря. За ним побежали солдаты, стреляя на ходу; ударами прикладов и плетей военнопленных загнали по баракам. Они разместились на нарах и тихо беседуют. За стеной барака построена небольшая будка — карцер, где проходят допросы и наказания провинившихся военнопленных.

Не побывавший в ней — и тот имеет представление о карцере по тем стонам и крикам, которые часто раздаются в нем. Более двух часов продолжался допрос Леонида. Ухо, привыкшее к крикам и стонам, сегодня не ощущает ничего. Такие встречаются редко. Быть в карцере и выдержать без стона и крика все истязания — немыслимо. Иные неистово кричат, чтобы заглушить ужасные боли, вызванные истязанием, другие продолжают упорно молчать; никакие ухищрения; ни плети и розги, ни финские

ножи, ни подвешивание вниз головой, ни обливание холодной водой и осыпание солью поврежденных мест, ни вырезание на груди и спине ремней и звезд (таких более всего подвергают мучениям, стараясь вырвать хоть слово) — не заставят их крикнуть.

— Из этого человека не вырвешь железом лишнего слова, не то, что стоны и крика, — сказал Михаил Шаров.

— Он и сейчас улыбается, — прибавил Григорьев, — как всегда!

Чтобы забыться, хотя бы на время избавиться от тяжелых мыслей, Шаров старался думать о друге, который рядом, в маленькой будке, над которым нависла смерть.

В бараке было темно и душно. У Шарова болела голова, в висках стучало. Он попытался подойти к дверям, где у щели поступал чистый воздух, но там было много народа. И Шаров стал бесцельно прохаживаться по проходу, часто наступая на ноги спящих. Порою останавливался и прислушивался к разговору военнопленных. До него долетали обрывки фраз: «Не трусость и не боязнь смерти и не страх за жизнь и спасение своей шкуры загнали меня сюда!» — «Я не мог думать, даже не допускал мысли, что окажусь в таком положении, иначе нашел бы другой выход — пулю в лоб: совесть перед родиной было бы чиста, и мою душу не раздирали бы тяжелые и неприятные мысли...»

Шаров достиг стенки барака; дальше идти было некуда, поворачивать не хотелось, и он сел на нары. В углу, на нарах, Солдатов рассказывал свою историю плена. Все слушали молча, не перебивая: у каждого она такая же, как и у него.

— Это было под Энсо. Патроны кончились, но и тогда я положил финнов немало. Бил прикладом, колот штыком. Эх! Проклятая пуля пробила ногу. Не будь ранен, я показал бы финской нечисти, что стоит русский человек. Сражаться больше не мог. Наши отступили... Раненый, я забрался под штабель леса и потерял сознание. Очнулся, смотрю — передо мною финн в белом халате. Эх, если бы не потерял сознание, — тяжело вздохнул Солдатов, — дорого бы отдал свою жизнь...

Одержимый злобой и ненавистью к врагу, он убил вчера сына полковника, случайно зашедшего в барак к русским. Без крика и шума он сделал свое дело. Только Баранов видел, как Солдатов кованным солдатским сапогом ударил лейтенанта по голове и, ловко подхватив, зажал ему рот, не дал крикнуть и его же ножом заколол. Баранов не видел, куда Солдатов спрятал финку.

Семен Блатной, так именовал себя Баранов, жулик и карманщик, человек без определенных занятий в прошлом, по мнению всех военнопленных, добровольно перешел на сторону

врага, и установил тесный контакт с финскими солдатами охраны, торговал по мелочи, чем придется, обворовывал товарищей, на эти же деньги покупал хлеб и табак. Ловкий и находчивый, умевший приспособливаться к любой обстановке, он быстро завоевал авторитет финской охраны. Его боялись. Знали, какой любовью он пользуется у финской охраны. Физической силой и решительностью Баранов заставлял военнопленных чистить сапоги и стирать белье для себя. Подсев к Солдатову, он, к удивлению всех, предложил ему закурить. В руках его пачка шведских сигарет. С ехидной улыбкой обращаясь к Солдатову, он произнес:

— Закуривай, но только покуда одну! А вам, одна на двоих, — с иронией произнес Баранов, обращаясь к сидящим около Солдатова.

- Даже «черным» — и тем бесплатно! Возьми, Николай, за храбрость!

Затем остальные сигареты протянул Солдатову, хитро подмигнув. Баранов прислонился к уху Солдатова и тихо, чтобы не слышали другие, прошептал: — Я видел все... Отдай или продай финку... Неделю получай мою «любимую» баланду, пачку крепкого табаку в придачу. Мне финка нужна, и тебе безопаснее. Понимаешь, моя профессия — карманы вырезать!

— Уйди! У меня нет ничего!

Солдатов резко оттолкнул его от себя и, чтобы не выдать волнения, лег. Слезая с нар, Баранов пригрозил: — Смотри, борода, подумай, а то...

— «Выдаст, — думал Николай, — но, если так случится, то прежде, чем меня расстреляют, я перегрызу горло зубами предателю».

В раздумье стоял Баранов, прислонившись к стене. Рухнула мечта. Жаль было сигарет. Снова пойти к Солдатову — не позволяло самолюбие. Еще утром Баранов обнаружил, когда свободно ходил по лагерю (привилегия немногим), что в палатке, стоявшей рядом с кухней, находились продукты и папиросы. Разорвать палатку руками он не мог, в дверь не проникнешь. Стоило полоснуть ножом — тащи помаленьку, и подозрений никаких не будет: у русских нет ножей. Он потирал руки от удовольствия, но планы не осуществились. С тех пор он возненавидел Солдатова, но на просьбу финской охраны попытаться узнать или подкупить пленных, чтобы обнаружить виновника смерти сына полковника, ничего не сказал и Солдатова не выдал.

В понедельник раньше обычного раздали завтрак; к удивлению военнопленных, заметно оживленное движение

охраны; помыли барак и разрешили помыться военнопленным. В десять часов утра, окруженный свитой гражданских и военных чинов, прибыл Рюти.

Наблюдая из барака, Шаров думал: «Вот этот маленький человек в сером костюме толкнул Финляндию и финский народ в пропасть. По его вине тысячи солдат находятся в окопах и гибнут. Тысячи калек и сирот.

«Выскочить из барака, — мелькает мысль, — схватить, растерзать! Нет, нельзя! — подсказывает сознание, — сотни зорких глаз следят за военнопленными, и прежде, чем я сумею сделать один шаг, меня пристрелят. Даже переводчик Пураковский, стоящий возле двери и никогда не говоривший грубого слова никому из пленных, не замедлит убить меня».

Несколько человек, в том числе Баранов и вновь испеченные попы из военнопленных, продав православную веру и совесть перед родиной за лишнюю миску супа, не в пример бывшему дьячку православной церкви Барашкову, отказавшемуся категорически служить басурманскому племени и врагам, были центром внимания «высокопоставленной особы» и свиты. Щелкали фотоаппараты, дарились дешевые папиросы, раздавались словари и молитвенники на русском языке. Настроение оживленное и веселое, но только не у пленных, запертых в бараки, вшивых, голодных, униженных и оскорбленных, но не побежденных. Господин Рюти изъявил желание сфотографироваться в память пребывания в лагере в группе предателей. Полковник подарил ему картину, написанную русским художником — военнопленным Лосевым, за которую в Хельсинки заплатили 25 тысяч финских марок, а чахоточный художник умирал с голоду в бараке; все интересовались картиной, а не судьбой автора.

Из четвертого барака слышался громкий голос:

— Напрасно ты, смердящий сатрап немецкого фашизма, господин Рюти, думаешь склонить пленных на измену и, как победитель, показать могущество им, запертым в удушливые бараки! Они знают, что не сломить тебе советского человека, а кучка предателей не поможет вам. Знай и помни: тебя изгонит твой же народ, и не будет тебе родины, как паршивой овце в здоровом стаде, откуда хороший хозяин гонит ее, чтобы она не заразила других!

Пуранковский прикрыл двери четвертого барака. Шум в бараке привлек внимание гостей. От толпы отделился высокого роста человек с обрюзгшим лицом и в сопровождении сержанта подошел к бараку. По его приказанию Пуранковский открыл дверь.

Пленные видели — господин из рютинской свиты; и с любопытством ожидали, что он им скажет.

Под напором толпы Шаров оказался ближе всех к нему. Нижняя челюсть финна выдавалась вперед, а губа свисала вниз; из-под густых, нависших бровей, на пленных глядели недобрые глаза. Широко расставив ноги, он обвел взглядом Шарова и с неестественной улыбкой на лице заговорил. Сержант вытянулся, приложил руку к козырьку и перевел: — Эльянс Эркко, главный инспектор лагерей военнопленных! И бывший министр иностранных дел ...

— Важная птица! Послушаем дальше, что скажет нам!

Военнопленные, затаив дыхание, ожидали, но Эльянс Эркко неожиданно повернулся и пошел прочь.

— Только и всего? — спросил Шаров.

Сержант переглянулся с Пуранковским, и оба весело засмеялись. Они тоже ожидали, что инспектор что-то должен сказать, может быть, поругать военнопленных, сделать кое-какие указания, а он не счел нужным задерживать свое внимание на них, лишь только «представился».

Когда Эльянс Эркко подошел к свите, финский сержант сказал: — Самый бездарный министр, каких знала Суоми!

«Предатель» Семен Баранов был героем дня. Настроение у него хорошее. Доволен, что он подарил кировские ручные часы, отобранные в бараке, получил за это две пачки сигарет. В «торжественную минуту», когда фоторепортер снимал «подарок русского солдата финну» (так писали финские газеты), Баранов вытащил у него золотые часы. Какие причины побудили Баранова добровольно перейти на сторону врага, никто не знал, да и он признавался, что у него не было никаких противоречащих мотивов во взглядах на советское общество. Наоборот он заявлял, что в бытность пребывания в заключении понял о напрасно прожитых днях, когда занимался мелочным и грязным делом — воровством, что его трудом перевоспитали чекисты, и он будет работать честно на благо родины. Обстановка, в какую он попал в плену, разбудила в нем прежние страсти, и он забыл свои обещания. Жестикуюлируя руками, строя гримасы, он рассказывал окружившей его рютинской свите:

— В России моя профессия отмерла. Да еще говорят, что в России додумались воров по радио ловить, далеко зашла техника. ... Вот, почему я махнул за границу.

«Свита» оживленно смеялась. «Гости» неожиданно уехали: в воздухе появились советские самолеты. Перед сном всех выгнали слушать радио. Хриплый голос диктора читал нараспев заученные, одни и те же слова.

... «Красноармейцы и краснофлотцы, командиры флота и армии! Пока не поздно одумайтесь... поверните оружие против комиссаров и коммунистов. Большевики обманули не только вас ... Они обманули весь мир. Доблестные войска немецкой армии неудержимо продвигаются вперед. Судьба Ленинграда и Москвы решена. Правительство бежало в Америку, захватив золото...

Оно продало вас англо-американским капиталистам. Пока не поздно, поверните оружие, вы спасете сами себя ...»

Далее продолжалась сводка с фронта немецкой и финской армии, причем в ней сообщалось о таких неимоверных потерях Красной Армии, о каких только подумать было смешно. Пуранковский подсчитал потери русских за неделю по сводкам информбюро для военнопленных. Они выражались в следующих цифрах: убито немцами и финнами 34 миллиона человек; взято в плен 29 миллионов 371 одна тысяча человек красноармейцев и командиров, не считая десятков миллионов уничтоженных на месте комиссаров, политруков и коммунистов. Когда он эти данные сообщил финским солдатам, один из них с веселой усмешкой произнес: «Превосходно, русская армия разгромлена! Я вижу скорый конец войны! Если русские еще продолжают сопротивляться, то это не иначе, как грудные дети взялись за свои игрушки и бьют нас ...»

Не умевший сдерживать себя, Солдатов твердил:

— Вот бы мне этого болтуна, показал бы я ему кузькину мать!

Кончилась пропаганда. Легли спать. Номера 2326 еще нет в бараке. Только к утру принесли избитого. По матросской тельняшке и русым волосам Шаров узнал Леонида: на нем не было живого места.

— Эх-ма, разделали беднягу, как бог — черепаху! — сказал Баранов и брезгливо отвернулся.

За что его бьют, для многих было загадкой. Больше всех недоумевал Солдатов. Он поднял избитого на нары и укрыл шинелью. Утром прибыла новая партия военнопленных. Случалось, когда заступала иная смена, то разрешали приоткрывать дверь. Вновь прибывшие стояли в затылок, озираясь на барак, откуда сотни человеческих глаз с любопытством смотрели на них. Несмотря на стесненность в бараках, — порой некуда было ступить, не наткнувшись на чью — либо голову или руки, — каждый ожидал с нетерпением, когда же, наконец, получив «собачий номер», к ним в барак придут вновь прибывшие. Хочется узнать новое: они еще недавно с родной земли, как обстоит дело на фронте, скоро ли придут свои и выручат их из беды. Каждый жил этой мыслью, каждый мечтал вырваться из мучительного ада — позорного плена.

Пусть там, на родине, ожидает недоверие людей, сражающихся на фронте, но Родина — родная земля!

Начался развод пленных по баракам.

— Фамилия?

— Иванов.

— Номер 2369 ... 4 барак. Пошел прочь!

— Следующий ... Ты кто?

— Я политрук!

— Сатана! Юмалаута! Политруки!

Солдаты вскочили. Переводчик впервые слышал, чтобы человек осмелился сказать им в глаза — «политрук».

Не понимавшие русского языка, и те в миг сообразили, какой перед ними человек. Его подвергли бы еще на месте мучительным пыткам, какие могла бы выдумать человеческая злоба, но на передовой его не спросили о занимаемой должности. Первый пришел в себя полковник. Сделав движение руками, как будто собираясь схватить ненавистного ему человека за горло, спросил:

— Звать?

— Зовут меня Иваном!

— Откуда?

— Из Сибири!

«Из Сибири»- переспросил полковник, о чем-то задумываясь. Перед его глазами встала картина далекой Сибири, занесенной снегами, которой он никогда не видел. Занимаясь со своими солдатами, он показывал на карте, говорил, что вплоть до Урала будет «Великая Суоми», а Сибирь не входила в его неразумные планы, она в его ограниченном воображении была недостижимой. И вот перед ним стоит человек из Сибири, к тому же политрук. Размышления полковника прервались неожиданным выстрелом. Политрук лежал на земле, стиснув в руке браунинг. Он не захотел переживать, питать надежды на что-то, унижаться перед врагами — ушел из жизни. Финны и пленные не понимали, каким образом политрук мог сохранить оружие, но факт остался фактом, и охрана произвела обыск во всех бараках.

Не успело исчезнуть впечатление гибели политрука, как в последних рядах забился в предсмертных судорогах молодой красноармеец. Пришел врач, но тот уже был мертв. Когда его раздели (а с мертвых снимали нетельное белье), обнаружили, что это была девушка. Она не захотела отдавать себя на позор и унижение, если откроют ее тайну.

— Ну, что ж, — сказал Маевский, — будем искать другой выход из создавшегося положения, если так глупо получилось!

— Пока мы ищем, нас всех, как цыплят, подавят и заморят с голоду, — ответил ему с грустью Солдатов.

— Для того, чтобы не задушили, надо самим душить, Николай!

Простая и открытая натура Солдатов, нескрываемая ненависть к врагу, нравилась Леониду, и они стали близкими друзьями. Леонида вызвали на допрос. Это был последний. Что хотели узнать от него? Их не интересовало положение на фронте. Они хотели сломить упорство советского человека и добиться от него признания неверия в свою родину. Ответ его был один:

«— Победа будет за нами!»

6. Трудовой лагерь

Покинута последняя железнодорожная станция. Мощные автомашины мчатся на север. Сомнений нет — впереди только Петсамо! Исчезли гигантские сосны; по бокам шоссе заросли карликовой березы. Громадные горы заросли мхом. Неприглядная картина. Куда ни кинь взор — кругом тундра! В городе Рованиеми встретился первый немец на финской земле. На севере Финляндии все дороги забиты немецкими машинами; кое-где встречаются аэродромы. К вечеру достигли местечка Янискоски — тут строительство мощной гидростанции. Военнопленные, подгоняемые солдатами, катают тачки. На прибывших никто не обращает внимания. Они более часа находятся на автомашинах, не высаживаясь из них. Колонны возвращаются в лагерь, изредка кто-нибудь кинет недокуренную сигарету.

Дрожь пробирает тело сидящих в машине. Некоторые пытаются заговорить с проходящими, но они молчат, не задерживаясь, проходят мимо, на ходу бросая слова:

— Поработаете, узнаете!

«— Жизнь, как в сказке, и умирать не нужно!»

По обрывкам фраз, брошенных на ходу, складывается истинная картина. Никто не поинтересовался, откуда прибыли новые и куда их везут? Каждый спешил в барак, многие несли с собой дрова, чтобы обогреться. Их судьба была одинакова с теми, кто еще находился на машинах, а возможно и хуже.

Прошел еще час. Стемнело. Движение прекратилось. Столько солдаты прохаживаются возле машин, охраняя военнопленных, которые не спали. Пленные смотрят в темноту и думают:

— Что оживает нас впереди? Скорее бы к одному концу!

Продрогшее тело без движения омертвело. Размышления прерываются злобными выкриками конвоя: военнопленных высаживают и ведут к лагерю. Путь окончен; но их не вводят в зону, а ударами прикладов и плеток подгоняют вплотную к колючей проволоке, за которой выстроены военнопленные.

Из барака выводят человека в нательном белье и ставят около столба с электрическим фонарем, расположенным посередине зоны. Лицо его освещено, и отчетливо видно исхудавшее тело, прислонившееся к столбу. Переводчик — финн читает приговор. Пленные в зоне снимают шапки и становятся на колени. Из темноты раздается залп. Стоявший делает усилие, чтобы не упасть, и громко кричит: — Товарищи! Вернетесь на родину — сообщите ... Лейтенант Костин! — После второго залпа он

пошатнулся и, собрав последние силы, громко произнес: — Да здравствует Сталин! — Тело его опустилось на землю и больше не двигалось, только эхо повторило в горах его слова.

Снова в машинах. Военнопленных закрыли брезентом. Никто не смеет выглянуть из-под него, чтобы не лишиться жизни. Сжимается сердце, давит в горле комок, кружится голова, слезы катятся из глаз, кипит злоба за свое бессилие и смерть русского человека, расстрелянного фашистскими негодяями. Причина расстрела по приговору: русский украл кофе на финской кухне.

Только позднее удалось узнать трагедию лейтенанта Костина. Скрыв свое звание, как и многие, он попал не в комсоставский лагерь № 1, а в общий — «Заячьи пороги» (так называются Янискоски в переводе на русский язык). Как и все, он по 14 часов возил тачку с песком или бетоном и выполнял другие тяжелые работы. В тот день, когда проезжали пленные, он, как и другие, спешил в лагерь, неся дрова. Вместе со всеми получил ужин и не захотел есть холодный суп, ушел в барак, поставил на плиту подогреть, лег и стал перелистывать случайно попавшийся финский журнал. С новой партией ехал миссионер-проповедник и зашел в барак. Заметив котелок на плите, посмотрел в него, повертел ложкой и спросил: «Чей это?» Хотя было понятно, в бараке был один человек, значит и котелок должен был принадлежать ему.

— Мой, — ответил Костин, встал с койки и принял положение «смирно».

— Приготовьтесь! Через два часа будете расстреляны!

— Я готов, — ответил Костин спокойно.

Сердце у него учащенно забилося, предсказывая недоброе. Товарищи успокаивали, уверяя, что поп сказал в шутку, и какая в том вина, что человек не захотел есть холодный ужин.

Финны народ пунктуальный. Ровно через два часа его вывели и расстреляли.

Напрасно физиономисты уверяют в том, что на лицах людей, которым суждено умереть насильственной смертью, находятся странные знаки и какая-то печать рока. За два часа до смерти никто из тех, кто видел лейтенанта Костина, не замечал на его лице каких-либо отличительных черт, которые бы говорили, что он должен погибнуть. За минуту до залпа, когда был зачитан приговор, ни те, кто стоял в строю, ни те, кто был за проволокой, не различали разницы в выражении его лица.

Машины движутся с большой скоростью. Военнопленные нерешительно выглядывают из-под брезента. Сотни прожекторов освещают небо: в воздухе самолеты. Наконец, машины замедлили ход и остановились. Людей теми же приемами, что и при посадке

— прикладами и плетью, выгоняют из машин. Перед ними громадный завод. Он будет вырабатывать орудия смерти, и этим оружием, изготовленным руками военнопленных, будут уничтожаться братья, отцы, дети, сражающиеся за Родину.

В небе сияли зарницы серверного сияния, принятые в первое время за свет прожекторов. Чудная картина! Сияние на миг осветит завод, и он кажется громадным великаном, затерявшимся в горах. Оно исчезнет — кругом тьма, только труба чуть заметна в высоте. Пленные прошли по территории завода и начали опускаться под гору по узкой дороге, вдоль которой тянулась канава. В нескольких местах пересекли ее, стараясь заглянуть и увидеть глубину. Чувствуется рассвет: все реже сияют зарницы северного сияния. То и дело пленных останавливают, просчитывают, бьют прикладами, и строй движется дальше. Все голодные, холодные, униженные и избитые. Передние вошли в зону, задние наживают; все стремятся войти быстрее в пределы своего будущего жилища, скорее избавиться от ударов, градом сыпавшихся на последние ряды. Но первые стояли в недоумении. Зона — двойной ряд колючей проволоки, с трех сторон речка; впереди лес; под ногами мох, а из-под него выступает болотная вода. Где бараки? Где можно обогреться, разместиться и отдохнуть? Не сон ли это? Нет! Только за зоной, около ворот, стоит барак, и каждый понимает, что он предназначен не для них.

Наступило сентябрьское утро 1941 года — утро ужасов и терзаний, средневековья, временного торжества фашизма. В голове не укладывается мысль, как можно жить дальше; обездоленных людей гнали за тысячи километров голодных для какой-то цели; от них хотели получить что-то, заставить работать, выжать все соки, а потом прикончить.

Кто они? Пленные — люди, потерявшие временно Родину. Но они, пока живые люди, способные мыслить и двигаться, хотя их привезли на медленное и мучительное уничтожение. Завезли подальше на север, чтобы скрыть следы своего страшного преступления и похоронить тайну навсегда. Их загнали за колючую проволоку, не сделав даже жилья, где бы можно укрыться от ветра. Рассветало; кое-кто сохранил часы; 10 часов утра. Усталость и голод берут свое. Многие легли спать прямо на мокрую землю. Кто-то ухитрился залезть на сосну и, как птица, пристроившись поудобнее на суку, дремлет, рискуя свалиться и сломать себе шею. Примеру его последовали другие: лучше убиться, чем лежать на сыром мху. Тот, кому не хватило места на гостеприимной одинокой сосне, и тот, кто уже продрог от лежания на мокрой земле, бродят по зоне, собирая сохранившиеся ягоды. Григорьев сделал открытие. Он нашел

красноармейскую каску и лопату.

«— Откуда они могли появиться? Не заходил ли сюда советский воин? — думает Маевский. — Нет! Они заржавели от длительного лежания».

Леонид вертел в руках лопату, стараясь вникнуть в ее тайну, и пришел к убеждению: в 1939-40х годах эта территория была занята советскими войсками. Лопата переходила из рук в руки, ее с любопытством разглядывали, несмотря на то, что каждый из них неделю назад имел свою. Воспоминание о родине. Вот почему ее с такой любовью разглядывали, передавали из рук в руки, пока она неожиданно не затерялась, исчезнув куда-то. Тщетны были поиски охраны, когда карел-переводчик Михаил Иванов, бывший красноармеец, перебежчик, чтобы выслужиться, передал часовому о существовании лопаты и каски. Угрозы не привели ни к чему. Леонид зарыл ее в землю и заметил место. Она послужила ему не только догадкой таинственного появления здесь, но он рассчитывал использовать ее в будущем: солдатская лопата служит топором, ножом, и холодным оружием.

Не замечая того, что делается вокруг, Леонид пристально смотрел вдаль, туда, где всходит солнце, где высоко над чахлым лесом торчит труба завода и виднеются громадные горы, холодные, немые и чужие. Он отчетливо представлял, что там, за лесом, за горами, бьется сердце его родины.

— «Бежать! — говорил он. — Бежать, не зная ни карты, ни дорог, пока не иссякли последние силы и не выпал снег! Нужно бежать!»

Ветер трепал его волосы. За воротник шинели скатывались холодные капли воды. Но Маевский не замечал ничего. Подставляя грудь ветру, как будто хотел уловить ветер родины, он все глядел вдаль — туда, на восток!

Пищу военнопленным не давали два дня. На третий день вечером пришел переводчик Пуранковский и объяснил причину задержки выдачи продуктов. Оказалось, запасов никаких нет, а господин директор завода, в чье распоряжение прибыли люди, только сегодня послал машину за продовольствием в Рованиemi, и она вернется не ранее, чем через три дня. От него узнали, что местечко называется Никель, а они будут работать на Петсамо — Никелевом заводе и в рудниках.

Кроме финского переводчика — Пуранковского было еще пять из числа военнопленных. Два финна: Пекка и Алексей (так звала их охрана, и никто не знал настоящей фамилии), два Ивана Ивановича — Панов и Павлов — Михаил Иванов — карелы. Они держались вместе, за исключением Алексея, который чуждался их и никогда не вступал в разговоры с охраной, если его не

спрашивали. Задача переводчиков состояла в том, чтобы объяснять русским сказанное мастерами и охраной и подгонять в работе.

Не дождавшись машины с продуктами, начали строить барак. Переводчикам подгонять не нужно, взялись дружно, зная, что для себя; в работе на время можно забыть горе и голод. Чтобы утолить немного голод военнопленных, начальник лагеря распорядился привезти брюквы со свалки, куда она была выброшена за негодностью применения в пищу для рабочих завода. Форд — самосвал разгрузил ее в зоне. Голодная толпа кинулась к ней. Образовалась неимоверная давка. Три сотни голодных людей набросились на брюкву, и тот, кто первый ухватил себе несколько штук, не смог выбраться из общей давки. Каждый, подгоняемый инстинктом голода, пихал ее, куда только мог. Удары прикладов сыпались на несчастных. Собака «Нора», натравленная проводником, рвала одежду вместе с мясом своей жертвы. Получив удар, пленный отскакивал и с другой стороны пытался пробиться снова к заветной куче. Охрана убедилась, что разогнать голодную толпу невозможно, и отошла в сторону, а один из них, с рыжими волосами, бросил что-то в кучу людей; раздался оглушительный взрыв. Вместе с ключьями человеческого мяса летела в воздух и брюква.

Окончание строительства барака было отмечено раздачей горячей пищи военнопленным. Ели финскую «пуро» — воду, подмешанную мукой, какую дают маленьким телятам, когда приучают их пить, но лишь с той разницей, что муку разводят молоком.

На третий день привезли продукты. У кухни очередь. Записывают «паспорта», чтобы никто не получил два раза в шведские медные котелки, которые получают тут же. Голодные, не отходя, за один раз выпивают вонючее «пуро». Очередь дошла до Маевского. Получив котелок, он весело засмеялся. Пуранковский заинтересовался им и обратил внимание на молодого, красивого военнопленного в матросской тельняшке, которого он спас в распределительном лагере. Пленный выглядел гораздо моложе своих лет.

— Именной котелок получил, господин переводчик, — делая ударение на слове «господин», — только забыли шестерку подставить. — Леонид показал котелок и свой «паспорт». Под надписью «Стокгольм» на котелке была цифра 232, а на «паспорте» — 2326. Ровно через два года этот случай помог Леониду избавиться от плетей, когда его обвиняли в воровстве котелка у старшины лагеря Гаврилова.

Пуранковский долго смотрел вслед Маевскому, как тот

твердой походкой пошел к бараку, стоящему посредине зоны; около него столпились пленные в рваной одежде. Леонид залез на нары и, не спеша, принялся есть. Шаров и Григорьев, закончив ужин, разговаривали вполголоса. Пола в бараке не было. Нары около стен были двухэтажные, на них разместились украинцы; посредине барака в три яруса, причем наверху нельзя даже сидеть, там расположились две сотни русских.

На Петсамо — Никелевый завод были отобраны исключительно здоровые пленные из русского и украинского контингента.

Для выхода на работу и получения пищи разбили по десяткам. Бригады из десятков формировались на добровольных началах. Строго отсчитывали десяток и давали рабочие номера. Друзья держались обычно вместе, вот почему в бригады попадали свои люди. Бригада Леонида состояла из Шарова, Григорьева вместе попавших в плен, Гоши Александрова, земляка Шарова, пограничника Борисова и пяти рядом стоявших товарищей. Для управления всеми военнопленными и контроля выхода на работу, для производства хозяйственных работ в зоне и поддержания порядка среди военнопленных, был выбран старшина лагеря. Выборы были добровольные, без вмешательства финского начальства. Выбор пал на бывшего старшину роты Александра Алексеева.

Так началась трудовая жизнь в лагере № 8.

7. Переводчик Пуранковский.

Из общей среды охраны, олицетворяющей грубость, жестокость и невежество, выделялись переводчик Владимир Пуранковский и начальник лагеря, сержант Мецала.

Владимир родился в Петрограде, но представления о нем имел только по рассказам отца, оставшегося после революции в Финляндии и горько раскаявшегося впоследствии. Отец никогда не говорил в семье на финском языке. Он воспитывал в сыне любовь к той родине, которую сам потерял навсегда.

Впервые увидев русских, Владимир растерялся и не знал, как вести себя по отношению к ним. Порою доходил до отчаяния, видя жестокое обращение с пленными, и решался прийти к начальнику и заявить, что он тоже русский, и пусть его запрут в душливые бараки вместе с ними. Другой раз они казались ему чужими и далекими: он не знал их — вырос в Финляндии, которая по существу была его родиной; с ними его связывало родство языка, а с Финляндией — присяга, данная на верность служения ей. Часто появлялось желание покончить с собою, чтобы не быть плохим ни для кого. Но вспомнив отца, как он в гневе кричал: «Володька, твоя родина Россия!» — Пуранковский отбросил мысль о самоубийстве и поехал в трудовой лагерь переводчиком, чтобы помогать военнопленным.

Сержант Мецала — ветеран войны. Участвовал и вначале этой войны. После ранения был направлен начальником лагеря военнопленных. Крестьянин по происхождению, он был лучшим лыжником Суоми. Среднего роста, с редкими волосами на голове, уже не молодой, со свирепым выражением лица, нервный от контузии, Мецала имел много отличий за храбрость на фронте: на вид казался грубым, по натуре добрый, справедливый, чувствовалось, что он не питает ненависти к русским, которые вышли из войны и были за колючей проволокой, но сделать что-либо для облегчения, приостановить варварское обращение — был не в силах. Он был только начальником лагеря, а хозяином — директор завода. И что он мог сделать, когда вся политическая система государственного строя Финляндии была настроена на физическое уничтожение русских. Он не имел права запретить солдатам в тот период бить русских. Скажи открыто — каторга, в лучшем случае, завтра будешь на фронте, а на иждивении его было пять душ семьи. Все то, что было в его силах, он делал, рискуя своим благополучием. С солдатами Мецала был прост в обращении, но когда его выводили из терпения, он истерически кричал, лицо его багровело, руки тряслись, и тот, кто в это время

попадал ему под руку, не мог устоять на ногах. Удары его были одинаковы и с левой и с правой руки. Чтобы успокоить себя, он вынимал нож и начинал метать в столб. Ему не мешали. Ножом он действовал с абсолютной точностью. На расстоянии 15–20 метров ни один нож не пролетал мимо столба толщиной в десять сантиметров в диаметре. Мецала был не мстителен, но в припадке гнева не щадил солдат; исключение составлял Пуранковский и русские. Вспышки гнева были часты у сержанта, поэтому солдаты избегали встречи с ним.

По прибытию в лагерь Пуранковский проникся еще большей жалостью к военнопленным: его предположения об улучшении жизни русских в трудовом лагере не оправдались. Охрана была злобно настроена против русских и со дня на день ожидала капитуляции Советского Союза. Быстрое продвижение немецких войск на фронте внушало ему страх за свое будущее, а слова охраны о гибели России больно кололи его сердце. Чтобы утешить себя, он стал искать сближения с военнопленными.

В бараке царила зловещая тишина, которая нарушалась только при раздаче пищи. Утомленные работой, измученные голодом и думами, военнопленные все время лежали на нарах молча. Только группа военнопленного Максимова вечерами устраивала громкие дискуссии и споры. Пуранковский подолгу просиживал в бараке военнопленных, слушая споры русских, интересовался настроением и поведением их. Но с переводчиками из военнопленных и Максимовым Пуранковский не считал нужным связываться, так как чувствовал, что большинство военнопленных относится к ним недружелюбно. Переводчик заметил, что только один Рогов умел отгрызаться от всех. Андрей Рогов — бывший колхозник, попавший на фронт из заключения, болтливый, заядлый курильщик, часто вступал в пререкание с переводчиком Ивановым, которого

боялись военнопленные больше, чем охраны. Андрей неумоимо ходил по бараку с порцией хлеба, предназначенной для обмена на табак, вступал в разговоры и открыто ругал Максимова и его группу. Несмотря на свое прошлое, он остался верен своей родине. Иванова он знал еще до плена, с Максимовым был в одном колхозе. Иванов и Максимов пытались помочь земляку Рогову, как «обиженному» Советской властью, но он категорически отказался от помощи.

— Ты и там был болтуном, Иван! — говорил Рогов, обращаясь к Максиму

- Всю твою подлую душу знаю! За пайку хлеба продашь не только любого из нас, но мать с отцом! Не моя воля, я повесил бы тебя на кривой березе...

— Почему именно на кривой? — поинтересовался Пуранковский.

Рогов не удостоил ответом финна, зато кто-то другой язвительно заявил: — Чтобы корней не запачкал!

Рогов отчаянно размахивал кулаками перед лицом Максимова, плевал, грозил, оскорблял нехорошими словами, но, заметив, что кто-нибудь продает табак, тотчас уходил, и уже в другом конце барака слышался голос:

— Я за пачку табаку или кусок хлеба не стану кричать, что Советская власть плоха, что коммунистов надо перерезать ... Я отбывал срок — это факт! Но меня никто не толкал тащить хлеб из колхозного амбара. Рогов отбыл в колонии без пяти дней два года и согласен еще отсидеть три, чем пробыть здесь без пяти дней месяц! Может быть, я был там плохим человеком ... но Рогов русский человек, рожденный на русской земле! Конечно, Рогов не предполагал, что ему суждено пробыть в плену три долгих года.

Положение Владимира усугублялось еще тем, что военнопленные считали его сыном белогвардейца и не доверяли ему. Только Максимов радостно встречал переводчика и в первую очередь спрашивал: — Продвигаются немцы?

— Да, продвигаются! — неохотно отвечал Владимир. Ему не хотелось говорить об этом: он знал, что успехи немцев приносят неприятность большинству, но факт был налицо и скрыть было невозможно.

— Чем быстрее, тем лучше! Когда, по вашему мнению немцы возьмут Москву? — скороговоркой спрашивал Максимов.

Из барака Пуранковский уходил поздно вечером разочарованный, но не шел спать, а удалялся в лес. Он предавался своим мыслям слушая, как на перекате шумит речка.

«Я не пойду по пути наименьшего сопротивления — ожидания конца войны, когда можно надеяться на возвращение в Россию, я должен заслужить право быть полноправным гражданином страны», — сделал вывод Пуранковский. Но как? Вставал перед ним вопрос. И снова он шел в барак для поисков решения трудной задачи. Мысли о том, что Россия будет побеждена,

После чего можно свободно вернуться на родину, как думали многие эмигранты, у него не было. Он слепо верил отцу — генерального штаба полковнику, который 15 лет разрабатывал план разгрома Красной армии и в конце концов пришел к убеждению, что нет такой силы, которая могла бы вступить в единоборство с Советским Союзом. Это было первый раз, когда старик Пуранковский говорил с Владимиром, не выпив рюмки водки. В камине, корчась от огня, горели карты, сводки, планы и

бумаги со всевозможными подсчетами и цифрами — горели труды длительной работы. «Вот все, что осталось от покорения России», — сказал отец и протянул к себе Владимира и ласково погладил по голове. Того дня, когда поколебалась вера отца в победу над Россией, Владимир забыть не мог.

Ища сближения с русскими, он даже приспособился играть в карты с военнопленными, но картежники были не те люди, которых искал Владимир. Он знал, что азартная игра начинается после отбоя, когда выключали свет. Забившись в темный угол, при маленьком огарке свечи, картежники сидели всю ночь. Владимир стал их навещать. Как то ночью, разыскивая привычную компанию любителей карт, Пуранковский залез на верхние нары.

— У военнопленных исчезла прежняя злоба, дух упал, — услышал он спокойный голос и затаил дыхание, чтобы не прервать разговор.

— Люди со слабыми нервами подчас верят в разгром Советского Союза, порою радуются продвижению немцев, думая только о доме и семье!

— Но наиболее сильные живут мыслью совершить побег! — сказал другой громче.

— Вызвать на разговор о побеге нельзя — многие боятся провокаторов, которые за кусок хлеба могут выдать! Это группа изменников открыто ругает Советскую власть, колхозы, проводя пальцем по горлу, встречающему финну говорит: «Политрукам капут — дай закурить!» Многие дорожат только своей шкурой, а что делают с товарищами — неважно, лишь бы не трогали их! — говорит Шаров. Пуранковский долго слушал слова, проникнутые ненавистью к врагам и безграничной преданностью родине. Ему хотелось подползти к ним, пожать руку и сказать, что он с ними, но Владимир боялся пошевелиться, чтобы не прослушать ни одного слова. Напрягая слух, он старался уловить и запомнить каждое слово.

— Ты прав, Михаил, настроение упадочное, но большинство не одобряют поведения незначительной группы изменников, но открыто выразить протест боятся: за малейшее неповиновение — расстрел!

Пуранковскому голос показался знакомым, и он старался вспомнить, где слышал его.

— Наша задача — бежать! Бежать немедленно! Ждать — опасно, оставаться — преступно!

«— Да это же матрос», — чуть не вырвался возглас у Пуранковского.

— Зона ограждена двойным кольцом колючей проволоки,

одно от другого на два метра. Внутри набросаны витки проволоки, подлезть под которые нельзя, выход один — через зону! На наше счастье — козырьков на зоне еще нет. С западной стороны возможен выход. Просунув трехметровую доску между первым и вторым ограждением на уровне двух метров от земли и, сделав один шаг по доске, можно ухватиться за следующий ряд.

«За зоной лес, река не преграда: ширина не более десяти метров, а часовой только у ворот, а иногда уходит покурить или согреться», — подумал Пуранковский.

— ... А там лесом, тундрой, болотами и горами пойдем к намеченной цели, не сворачивая с пути...

— А тот, кто не сумеет бежать, тому что делать?

Леонид приподнялся, хотел посмотреть, кто задал вопрос, но в темноте различить очертание лица было трудно, и он, подумав немного, продолжал:

— Всмотритесь внимательно в обстановку и вы поймете. Среди раздробленной и неорганизованной массы, массы, не способной защищать свои права, упавшей в панику и поддавшейся разложению, выделяются две группы. Первую возглавляет Максимов, объединившись с Семеном Барановым, который вряд ли чем поможет ему (он попал в немилость после кражи золотых часов в Лахти и был направлен в трудовой лагерь). В нее входят военнопленные добровольно перешедшие на сторону врага: бывший кулак Дмитриев, уголовный преступник Боков, отбывавший срок наказания в тюрьме за убийство активиста-комсомольца, и ряд других, для которых не дорога родина. Покровителями ее являются переводчики Иванов и Павлов. Однако надо заметить: остальные переводчики остаются одинаковыми для всех.

Леонид закашлял, а рядом в темноте зашевелилось сразу несколько человек, чтобы лечь поудобнее и не ворочаться во время разговора.

— Максимов получил кое-какие сведения у изменника Иванова, извращает их до невозможности, ругает все наше, родное: недовольный коллективизацией сельского хозяйства в Советском Союзе, расхваливает все иностранное!

— Он изъявил желание остаться в Финляндии работать после окончания войны, — сказал Григорьев.

— Иван, не перебивай! — слышалось несколько голосов.

— Вторая состоит исключительно из моряков под руководством моего сослуживца Демченко, человека атлетического телосложения, храброго, преданного родине, но слишком горячего и к тому же непредусмотрительного. Группа дружная и спаянная. Действие первой я презираю, второй — не

одобряю! Кто такой Максимов? По природе — большой трус, по политическим убеждениям — предатель, он «храбр» только тогда, когда чувствует поддержку переводчика Иванова. Пользуется ли он авторитетом среди основной массы пленных? Нет! К нему никто не примыкает, да вряд ли кто его и слушает. Вы сами видели, как его побил Солдатов. Правда, этот метод еще рановат: Солдатов счастливо отделался плетьюми — могло быть хуже!

— Не лучше дело обстоит и у Демченко! — перебил Леонида Шаров.

— Почему? — спросил Леонид, и сам же ответил: — Потому, что группа на виду не только у военнопленных, но и у охраны. И само действие Демченко неправильное: он подбирает людей только физически здоровых. Для меня лучше пусть они будут слабее телом, но здоровые духом...

Так вот, друзья, задача тех, кто не сумеет убежать вскоре, оставаться вне подозрения охраны и своих фискалов, не вступать в споры и не выражать открыто протест, а изучать положение, военнопленных и спланировать около себя более надежных; затем вырвать почву из-под ног Максимова и Демченко, первого уничтожить, а потом объединить всех военнопленных в единую монолитную группу и не дать ей скатиться по неправильному пути. — Леонид замолк, но друзья еще долго не спали, обдумывая свое положение.

— Вот они настоящие русские люди, которых и искал! — подумал Пуранковский. Он вышел из зоны и пошел прямо по лесу, унося в своей душе радость, что, наконец, нашел людей, которые поймут душевные муки невольного изгнанника, желающего вернуться на родину! Они не оттолкнули его от себя, когда узнают трагическую гибель отца и примут его в свою семью. После окончания войны он сможет вернуться на родину, или раньше — бегство вместе с ними. Ветви больно стегали его лицо, но он не обращал внимания, шел вперед с высоко поднятой головой: первый шаг сделан — он знал людей с которыми он должен связать свою судьбу во имя прекрасного будущего. На перекате по-прежнему шумела река. Владимир любил вечерами сидеть на пригорке и наблюдать за движением воды. Из-за поворота, где росла огромная сосна с раскинутыми по сторонам кривыми ветвями, маленькая горная речка стремительно вырывалась на простор и разливалась в большое озеро, образуя омут. Напротив Владимира она снова суживалась, и течение ее преграждала каменная гряда с почти отвесным падением. Вода в омуте кружилась и под напором с тихим и монотонным журчаньем шла через гребень вала, а затем резко падала вниз, образуя мощный водопад. Дальше к лагерю снова в своем

плавном движении продолжала свой путь. Жизнь Владимира была похожа на омут. Если вода из омута не сумеет прорваться через преграду — заплесневеет, покроется тиной и от нее будет пахнуть болотом, в котором постоянно будут квакать лягушки. Так будет и с ним. Если он не преодолеет ставшее на его пути препятствие и не порвет с настоящей жизнью, которая занесет его в омут, погибнет, как высохшее болото, не имеющее притока свежей воды. Обхватив голову руками, он сидел долго-долго, пока за его спиной не взошло солнце, лучи которого весело заиграли на воде и напомнили Владимиру, что пора идти в барак. Когда он пришел в барак, военнопленные уже были выведены на работу, но Мецала еще не ложился спать. Он сидел за столом и писал письмо. Письмам Мецала придавал большое значение. Прежде чем написать фразу, он повторял ее несколько раз вслух, а потом аккуратно записывал на бумаге и снова предавался своим мыслям, и окружающее для него не существовало: в его воображении были только дети и жена. Никакие срочные дела, ни вызовы начальства не могли оторвать его от бумаги, поэтому на поздний приход Пуранковского он не обратил внимания.

Владимир подошел к ящику с картотекой и стал перебирать формуляры. Когда нужный был найден, Владимир начал быстро его просматривать.

«— Леонид Маевский. 1922 год рождения» — читал переводчик. Графы месторождения, происхождения, места проживания родителей были пусты. Год призыва в армию и номер части отказался назвать. В боях против финнов не участвовал. Подобран в море. При сдаче в плен пытался подорвать гранатой сторожевой катер и себя». Владимир немного задержал свое внимание на последней строке, затем быстро распечатал приклеенный к формуляру конверт, бегло пробежал по замечаниям следователя, где было написано: «Матрос опасен для окружающей среды. Склонен к побегу. Подлежит содержанию в отдаленных лагерях на тяжелых работах, под особым наблюдением». Формуляр переводчик положил на прежнее место, а замечание следователя в карман и сказал: — Начнем с этого!

Когда Мецала закончил писать, Владимир подошел к нему, показал формуляр и спросил: — Как вы расцениваете поведение пленного? Он, находясь в море на шлюпке, с гранатой в руке бросился на бронированный катер!

— Безумие! — воскликнул Мецала. — Но должное за храбрость воздаю, хотя он и наш враг!

8. В Янискосках

На окраине поселка Янискоски, с восточной стороны дороги, идущей в Петсамо, был расположен лагерь военнопленных. Западная сторона его примыкала к небольшой горе, заросшей мелким кустарником, среди которого резко выделялись отдельные сосны; восточная сторона к дороге, по которой непрерывно двигались машины, была склоном к болоту. Немного дальше, на север, возвышалась гигантская плотина, преградившая путь горной реке. Напротив плотины магазин и столовая финнов. За ней поселок инженерно-технического персонала, и вокруг него беспорядочно выстроены бараки рабочих.

Первое время лагерь служил предметом разговоров жителей поселка. Они по вечерам приходили к лагерю и издалека наблюдали за поведением военнопленных. Вскоре жители свыклись с положением, что помимо их воли жили русские, и забыли о нем, так как он не нарушал тихой жизни обывателей поселка и не представлял реальной угрозы. Только случайные пассажиры, идущих машин на север, да немцы, грозили кулаками, увидев за колючей проволокой пленных.

Лагерь в Янискосках, хотя и именовался по счету восьмым, открылся одним из первых в Финляндии. Режим содержания пленных в нем слабее, чем в Петсамо-Никеле. Жизнь идет веселее, но произвола и неразберихи больше. Военнопленные на производстве работают совместно с финнами и шведами, достают кое-что из питания, табак, иногда ухитряются сходить на свалку за отбросами и по вечерам варят. За табак можно подстричься и побриться у тех, кто сохранил или сумел приобрести лезвие безопасной бритвы.

В отличие от Никеля, бараки в лагере небольшие, комнатной системы, на 25 человек, с двойными нарами, но с обилием клопов и вшей.

В 22 секции 8 барака спал Михаил Громов, слесарь с ленинградского завода, работавший в бригаде плотников. До настоящего времени он не держал в руках топора, да не пришлось ему и в последующие дни. Бригадой руководил финн — мастер, хорошо знавший русский язык. Он приказал называть себя «господином» мастером. Мастер постоянно курил не выпуская изо рта трубку. Громов прозвал его «нищий господин трубка». И действительно он был похож на нищего: порванные брюки, весь в заплатах жакет, на голове поношенная шляпа, стоптанные и дырявые сапоги — все говорило о его бедности.

Слово «господин» было непривычно для военнопленных,

иногда по ошибке, а больше по привычке, называли его «товарищ». Мастер сердился, не давал курить и злобно брюзжал:

«— Товарищ в России, а тебе как дам в морду, вот и будет «товарищ». Бил редко, но крепко. По его речи чувствовалось, что он стал уже забывать родной язык и говорил отдельными фразами, как школьник, который изучает иностранный язык.

На предупреждение мастера приступить к работе Громов не спешил, а приставал к нему с расспросами: — А чем вы лучше меня, чтобы я называл вас «господином»?»

— Давай, давай, работай, большой лодырь! — кричал мастер.

— Дай сначала закурить, а потом и заставляй работать.

— Закурить не дам. В Финляндии табаку нет! Америка доставляет. Пишите в Россию: там много хорошего табаку. Я немцам плачу по 50 марок за пачку — вас много.

— Откуда вы знаете, что в России много табаку? — спрашивал Громов.

- Я знаю...

— А что имеется в Финляндии?

- Вот, — и мастер показывал кулак.

— Господин мастер, ты нам в займы дай, а мы вернемся на родину и вышлем тебе сколько угодно.

— Вышлите ... Я знаю, как вы вышлите. Придут русские и убьете меня.

— Вы убеждены в том, что русские будут здесь?

— Думаю, что придут!

— Куда ты тогда спрячешься?

— Убегу в Швецию. Мне все равно: я не имею дома и семьи.

Громов воспользовался моментом и подставил бумажку, когда мастер закуривал. Тот неохотно насыпал щепотку табаку, и заметив, что русские еще не приступили к работе, быстро спрятал кисет в карман, и закричал: — Но, Дафай, дафай, работать...

— Обожди, — прервал Громов, — ты лучше мне скажи, почему ты не едешь в Советский Союз, если знаешь, что там лучше, чем в Финляндии?

— Мне не простят. В Россию я вернусь, когда там не будет коммунистов.

— В таком случае вам не видать ее, как своих ушей — руки коротки!

Мастер вынимал часы и качал головой.

— Опять ты, Громов, на двадцать минут задержал работу со своими разговорами.

На этом их утренняя беседа заканчивалась. Мастер шел в одну сторону, Громов — в другую. Мастер оглядывался и, заметив, что русский идет не к штабелю досок, грозил кулаком и

кричал:

— Громоф, ты куда?

— Как куда? Пойду стрельну закурить!

— Работать надо!

— Я, кажется, не нанимался к вам на работу!

— Русским ходить к финнам нельзя.

— Я на своей земле, поэтому иду куда хочу!

Работа была легкая. Бригада снимала опалубку с плотины, на которой стояли крупнокалиберные пулеметы немцев, и относили доски и мусор. В работе никто не подгонял: охрана не распоряжалась; люди были в распоряжении господина трубки, от которого легко избавиться, а часовые грелись у костра, специально разведенного пленными для охраны.

Итак, изо дня в день Громов уваливал от работы. Целый день он слонялся от одного финского рабочего к другому, которые охотно давали ему табак.

И каждый день Громова в одном и том же месте останавливал военнопленный Шаев. Он был высокого роста, старообразен, сутуловат, не разговорчив. Ходил вразвалку, как медведь на задних лапах, и ни когда не размахивал руками. За скрытный характер его не любили, и никто из военнопленных с ним не дружил, кроме маленького, щуплого красноармейца Орлова. Когда он подходил к Громову, то не смотрел в лицо, взгляд его красивых глаз блуждал по сторонам.

— Ну, как, Мишка, надумал — бежим, — говорил он и боязливо оглядывался назад.

— И какой же ты странный Шаев, даром тебя не любят в лагере. Что за вопрос, бежим, конечно, но не сейчас! Ты, как загробная тень преследуешь меня на работе, а в бараке от разговора уклоняешься. Надо договориться толком, подготовиться.

- Чего же больше ждать? — басил Шаев, не слушая Громова, продолжая озираться по сторонам.

— Я не раз тебе говорил: ты был командиром отделения — я орудия. Пока не наберу отделения из пленных, о побеге речи быть не может. Кроме того, надо изучить обстановку и элементарные слова разговорной финской речи, без которой движение по чужой стране будет затруднено.

— Где их наберешь, когда в лагере боятся открыто сказать о побеге?

— Право, чудак же ты Шаев! Кто думает бежать, тот во всеуслышание не говорит об этом.

И Громов начинал перечислять по фамилиям военнопленных, которые, по его мнению, не откажутся бежать. Шаев качал

головой и говорил:

— Все это не то...

— Что не то?

— Я просто так, про себя говорю, кто-нибудь опередит нас, тогда охрана будет относиться строже.

— В этом ты прав, но, тем не менее, своего мнения не изменяю, — сказал Громов.

— В данный момент я агитирую рабочих, чтобы они волком не смотрели на пленных, а понемногу помогали — работа благородная, не правда ли?

— Зачем это нужно? Мы убежим, спасибо никто не скажет!

Громов внимательно посмотрел на Шаева, тот, не выдержав взгляда, отвернулся. Шаев не боялся Громова: он был физически силен, но тяжелый, пронизывающий насквозь человека взгляд косых глаз с монгольской прорезью смущал его, и он терялся, не находил слов для продолжения беседы. На другой день повторялось тоже.

Хотя военнопленные и прозвали Громова «лодырь», они убедились вскоре, что сближение его с рабочими улучшает отношение финнов к русским. Рабочие стали охотнее вступать в разговоры с ними, интересоваться жизнью в Советском Союзе, работе, и рассказывать о своем тяжелом положении. Вскоре в Янискосках вошло в обычай рабочих приносить хлеб и картофель для пленных, не смотря на запрещения финского начальства.

Если положение в плотницкой бригаде улучшилось, благодаря финнам и шведам, то в остальных оно было катастрофическим, особенно у бетонщиков. После работы Громов обходил бараки военнопленных, слушал новости, беседовал и предлагал установить очередность работы на тяжелых объектах. Кто-то донес начальнику лагеря и, как обычно не было существенных доказательств, военнопленных предупреждали, что если они не прекратят агитацию, то будут расстреляны. Так поступили и с Громовым.

— В лагере делать больше мне нечего, — заявил Громов и после отбоя незаметно пробрался в 23 барак к сержанту Шаеву.

Сержант Шаев в первые дни войны, во время разведки, отстал от своего отделения. Его не дождались, полагая, что он погиб, пока на передовой не услышали финское радио с обращением Шаева к роте. Бойцов своего отделения он называл по фамилии и призывал переходить на сторону финнов. Сержант Шаев был разжалован и присужден заочно к расстрелу. Испытав все «прелести» плена, он решил бежать. О прошлом его в лагере не знали. Умея хорошо разбираться в людях, Шаев для предполагаемого побега избрал Громова и Орлова. Первый нужен

был ему как храбрый человек, который не оставит в беде, находчивый и решительный, умевший ориентироваться в любой обстановке. Шаев скрыл от него, что бежать он хочет не на родину, а в Швецию, так как боялся отказа Громова. Поэтому он усиленно обрабатывал второго, чтобы в трудную минуту не остаться одному.

Орлов бежать соглашался, но не мог понять причины, почему Шаева тянет в нейтральную страну.

— Бежать из лагеря я согласен в любое время, — говорил Орлов, когда подошел к ним Громов, — но почему мы должны следовать в чужую страну?

— Сотни раз твердил тебе: на родине нам не простят! — раздраженным голосом отвечал Шаев.

«— Приятная новость», — подумал Громов и, затаив дыхание, насторожился.

— Всякий знает, сдались мы не добровольно...

— Попробуй доказать! Тебя спросят: почему ты не застрелился?

— Пусть сразу нам не поверят и не пошлют обратно на фронт, но со временем выяснится, — продолжал настаивать на своем Орлов.

— Не правда! — перебил Шаев, — я больше чем уверен, если нас не расстреляют, то сошлют на Колыму, а там смерть...

— Мне это не верится!

— Допустим, я ошибаюсь, зато другое: во-первых, мы не уверены в победу Советского Союза, во-вторых, до родины дальше, чем до Швеции и опаснее. Линию фронта нам не перейти. А главное то, что после войны из нейтральной страны будет легче вернуться на родину в любом положении: победит Советский Союз — у нас есть оправдание: мы бежали из плена; победят немцы — мы бежали не в Россию, а в нейтральную страну, чтобы не воевать против них.

Громов долго сдерживал себя, чтобы не подойти к Шаеву и упрекнуть его за обман, но когда услышал последние слова, не выдержал и схватил Шаева за ногу и стащил с нар.

— Подлец! Легкий путь ищешь и других в заблуждение вводишь! — крикнул Громов и ударил Шаева в лицо.

Пленные, услышав скандал, проснулись и первое время подумали, что Громов пришел после отбоя с целью воровства, принялись его бить. Шаев побоялся, что Громов расскажет им причину ссоры, заступился за него, объяснив, что драка произошла на почве личных счетов.

9. Побег из бригады.

У реки, где расположен лагерь военнопленных, заключенные финны строили водонасосную станцию. От нее к заводу рыли траншею для водопровода. Война поглотила все людские резервы Финляндии, и заключенные, за исключением политических, были отправлены на фронт. Их заменили военнопленные.

Финское правительство, подгоняемое немцами, спешило пустить в ход никелевый завод.

Шла война. Никель нужен для фронта немцам и финнам. Три сотни военнопленных загнаны в канаву и выбрасывают из нее камни. Лопатой не возьмешь. В камне пробуривают машинами шпуры и взрывают. Крупный камень, который нельзя поднять, разбивается вручную молотом. Бригада Маевского работала ближе всех к лагерю, в котловане, у самой реки на четырехметровой глубине. Ровняли дно канавы для укладки труб. Нужны нечеловеческие усилия, чтобы простоять 12 часов в воде. Вечерами военнопленные делились впечатлениями о работе. Многие приходили избитыми. Охрана бьет, подгоняя в работе прикладами. Можно работать весь день — и стоит только на минуту остановиться, как будешь избит мастером или охранником. Редко у кого на лице не было синяков, а на теле их не перечесть. Конвоир, охранявший десяток Маевского, зорко наблюдает и ни на минуту не спускает глаз с военнопленных. У него вид мясника. Громадная туша с гигантскими кулаками, свирепый взгляд вызывает ужас, но он очень добр. Не все же люди — враги даже среди врагов! За весь период он не избивает никого, не подгоняет в работе, изредка дает закурить, каждый раз объясняя, что в Суоми мало табаку. Военнопленные зовут его «отец Горио» — прозвище дано Маевским. Он понимает, когда его окликают этим именем. По очереди русские ходят в «уборную», вылезая из канавы, чтобы хоть на минуту избавиться от воды. Горио это быстро разоблачает, но не лишает последнего удовольствия, не выражает злобы и не грозит прикладом, как делают другие охранники. Он установил очередь, и пленные, чередуясь, заготавливают дрова для костра солдат и греются сами.

— Еще сто лопат, — слышится голос Шарова из канавы. Он усердно бросает гальку, чтобы согреться. Все вспомнили кинокартину «Болотные солдаты».

— То была для нас кинокартина, а сейчас мы испытываем на собственной шкуре, — произнес Григорьев. Шаров по-прежнему был весел, не переставал шутить; обстановка не повлияла на его характер и поведение.

Заметив подошедшего к канаве охранника, Шаров жестом руки стал показывать, чтобы тот вел в барак есть. Горио утвердительно кивнул головой. Все скорее спешат в барак. Маевский плетется в хвосте, не поспевая за остальными; рана мешает ему ходить. На военнопленного Горио не обращает внимания на него, не подгоняет, а идет медленно с ним, далеко отстав от строя. После обеда он разрешает Леониду посидеть у костра больше, чем другим, и дает часто закуривать. Отдыха военнопленным не положено. Снова канава. Там, где выбрасывают камни из нее, мастер проверяет работу по количеству выброшенных камней. Контролировать бригаду Маевского он не в силах: они работают по колено в воде. Бывает время, когда они за несколько часов не бросят ни одной лопатки. Зайдя далеко вперед по канаве, мастер заметил, что вода чистая, и понял, что русские принялись работать при подходе его. Недовольный работой, бьет всех подряд. Глаза, как у рака, на выкате, оттенок их зеленый, злой. Без единого слова он сыплет свинцовые удары по голове, в бока, пинки в живот. Сопrotивление бесполезно, жаловаться некому. Необходимо принимать другое решение. От побоев сила не прибавляется. Начали поочередно мутить воду в канаве: она течет вниз грязная, как будто со дна выбрасывают камни. Наверху стоит Горио, одобрительно кивает головой и улыбается.

Остальные бригады завидуют десятке, которую конвоирует Горио. Как только на горе начнут собирать лопаты и кирки для сдачи на склад, он снимает бригаду и ведет в лагерь. Возвращаясь вечером с работы, Леонид совершенно не мог идти. Строй ушел вперед. Он опирался на палку, которую дал ему охранник, медленно шел по дороге. Его догнала партия пленных охранника «Рыжей головы», бросившего гранату впервые дни пребывания русских в лагере. Охранник все время мотал головой, и создавалось впечатление, как будто он отмахивается от мух. Ему давали различные прозвища: «Рыжая голова», «Конская голова» и пр.

— Русса! — кричит рыжий охранник, вскидывая автомат. Леонид оглянулся. В лицо направлено дуло. Охранник махнул рукой, делая знак, чтобы пленный шел вперед. Маевский медленно заковылял по дороге. Солдат снова окрикнул — Леонид повернулся. Издевательство продолжалось. На лице у Маевского появилась безразличие и улыбка. Охранник выстрелил; пуля просвистела над головой пленного. Русский по-прежнему повернулся к стрелявшему с улыбкой на лице, выражающей презрение к врагу. Будь Маевский в бригаде рыжего, он не замедлил бы его застрелить, но молчаливого боксера Горио в

лагере побаивались. «Шутка» рыжего не обошлась даром. Услышав выстрел, разъяренный Горио остановил военнопленных, вырвал у охранника автомат, ударил о камень и разбил на части, а затем нанес сокрушительный удар кулаком в зубы рыжему.

Через день Горио ехал на фронт, а «Рыжая голова» — в госпиталь вставлять зубы. О боксере было известно, — бокс — его профессия и хлеб. А раз хлеб, то он жестоко избивал своих партнеров на рингах цирка и считался одним из беспощадных и не имеющих жалости боксеров Финляндии. Находясь в армии, он беспокоился о своей физической форме и не переставал тренировать свои сильные кулаки. Солдаты намекали ему, что русские — хороший предмет для тренировки, но неизвестный солдат по прозвищу Горио, уехал на фронт, не подняв руки на военнопленного.

В это время в бригаде не стало учителя Иванова. Еще вчера, когда все спали, Маевского разбудил Иванов. Ему это посоветовал Слисков, находившийся в Лахти в одном бараке с Леонидом. Иванов сообщил, что он знает эти места, и предложил бежать вдвоем, не соглашаясь брать с собою других, чтобы не было лишней обузы.

— Обуза, говоришь, Иванов! Ты в корне не прав. Задача состоит не в том, чтобы бежать одному, а в том, чтобы вывести как можно больше людей. В первую очередь необходимо рассказать пленным дорогу: бежать собираемся не только мы с тобою — это мечта многих. Как только узнают, что тундра не преграда и что через нее можно пройти, исчезнет нерешительность и побегут многие.

Родине дорог каждый человек! Если ты убежишь один, не сообщив дороги другим, за это тебя она не похвалит... Слисков не знает дороги, когда я беседовал с ним, то убедился в этом. Надо поднять настроение, поднять упавший дух у многих, угнетенных безнадежностью положения...

— Если я распространю слух, что знаю дорогу, то меня выдадут — буду повешен, в лучшем случае, расстреляют!

— Лучше погибнуть одному с мыслью, что ты сделал все, что мог, для многих, чем остаться одному в живых, скрыв истину, могущую дать пользу другим!

Иванов колебался, но дал согласие на то, что в скором времени он захватит Ивана Григорьева и сбежит, а предварительно расскажет кое-кому северный путь.

Леонид после распространит слух о возможности побега к своим, поднимет настроение, упавшее у пленных.

Беседа их была в пятницу, а Иванов убежал в субботу. Отсутствие его обнаружили в понедельник на разводе. Время

достаточно: зная путь, можно уйти далеко. Он так и не сообщил Леониду правильный и вероятный маршрут движения. Была ли вина его в этом? Трудно сказать. Удалось ли ему пройти — это осталось загадкой! Обвинять его — нет оснований. Многие поступили бы так же, как и он: бегству благоприятствовала обстановка — ссора двух солдат, которые отвечали только за свои бригады. Один из них остался с разбитым автоматом, а второй, если бы и увидел, то, наверняка, отказался бы преследовать и, пожалуй, промолчал бы. Дежурный вахтер не обратил внимания на отсутствие одного пленного, так как всецело был поглощен ссорой двух охранников. Бригады соединились вместе; он открыл ворота и, не считая людей, пропустил в зону.

Полиция и начальство, приехавшее из города, пришли к выводу, что побег совершен через зону: вахтер божился и клялся, что он два раза просчитывал людей. Военнопленных на ночь стали запирают в бараках. В понедельник с работы в полицию увезли Леонида и Демченко. Леонид вернулся вечером. Улик против него не было. Он с Ивановым работал в разных бригадах и почти за полкилометра, и его рана на ноге подтверждала, что он не способен к побегу. Избитого Демченко привезли через два дня. На вечерней проверке он с виноватой улыбкой сообщил, что видел труп Иванова в полиции.

После сообщения Демченко, перед военнопленными с речью выступил помощник начальника лагеря — санитар Луйко, маленький, близорукий сержант. Пуранковский переводил слова: «Бежавший пленный под номером 2069 — убит полицией. Я не советую никому бежать, а тот, кто попытается, будет повешен, и бригада, в которой произойдет побег, вся без исключения будет расстреляна!»

В истину слов о гибели Иванова никто не верил, даже Пуранковский, аккуратно переведивший речь Луйко. Для устрашения военнопленных и предотвращения дальнейших побегов каждому из бригады, где работал Иванов, дали по 25 плетей.

Бить военнопленных розгами выбрали самого сильного из русских — Гаврилу Быкова, двухметрового детину. Он повертел в руках срубленную березку, переложил из руки в руку (он был левша), как будто не знал, с какой руки бить, и наотрез отказался приводить приговор в исполнение, за что сам получил розги.

— Кто добровольно будет бить виновников побега? — спросил сержант Эндриксон через переводчика, как сова, сквозь очки, разглядывая стоявших военнопленных.

— Тот за каждые двадцать пять ударов получит лишнюю порцию супа.

Гробовое молчание. Военнопленные с негодованием смотрят на Эндриксона, и думают:

«— Неужели найдется?! Кто поднимет руку на своего товарища?»

Озираясь по сторонам, молча вышел из строя сутулый военнопленный, с круглым и угреватым лицом.

— Максимов Иван Васильевич! — отрекомендовался он.

Что заставило его? Голод? Почему же остальные молчат и со злобой смотрят на него, сжав кулаки?

Гаврилу Быкову по его комплекции и телосложению требуется в два раза больше хлеба, чем Максиму. Гаврила по многу часов выстаивает с котелком возле кухни, ожидая конца раздачи пищи с надеждою, что останется лишняя порция, и каждый раз уходит разочарованный. Не он ли за две пачки галет и осьмушку табаку продал свои золотые часы — подарок самого близкого ему человека — жены, которая ожидает его на родине. Сам не курил, он раздавал табак другим. Не ты ли, Максимов, брал у него табак?

Максимов не работал на тяжелых работах. Он с бригадою ставил щиты на дороге за заводом, каждый день привозил грибы и выменивал хлеб и последний сахар у военнопленных; был менее голоден, чем его товарищи. Он не думал ни о том, что ему придется еще встречаться с ними, ни о том, что они не забудут его, не простят ему. Максимов думал только о том, как войти в доверие охране.

— Иуда! Твоя судьба решилась с первым ударом розги по спине военнопленного! Ты сам написал себе приговор! — крикнул Шаров. Максимов оглянулся — хотел приметить, кто послал ему угрозу, но на него смотрели со всех сторон злые глаза. Наказуемых кладут на скамью, держат за голову и ноги. Максимов с остервенением бьет, не считая удары. Каждый раз его останавливает Пуранковский и говорит: — Что спешишь? Бей хладнокровнее! Сильнее! Не бойся, никто у тебя не отберет «профессию», если твое сердце не имеет жалости к крикам истязаемых. Ты можешь быть доволен, что на спине русского — ты, русский, написал свое имя, быть тебе палачом: не хватает только красной рубаха! Максимов был смущен словами финна. Они, как игла, кольнули его в сердце, но было уже поздно. Он с лихостью избил девять человек, не слыша ни стоны, ни проклятия: перед его глазами вырисовывались девять котелков супа.

Очередь дошла до Гаврилы, он оттолкнул от себя охранников пытавшихся держать его, снял рубашку и спустил брюки; молча лег на скамейку. Без единого крика выдержал положенное число

плетей. У Максимова мгновенно вспыхнула жалость и тут же погасла.

Эдриксон приказал бить до тех пор, пока русский не издаст крика. Максимов бил без передышки, градом, сыпал удары. Гаврила грыз руку и упорно молчал. Быков потерял сознание, а крика не услышал ни Эдриксон, ни Максимов, ни любопытная толпа охраны, присутствующей при экзекуции.

За усердие Максимов получил больше, чем предполагал. Его назначили штатным палачом и освободили от общих работ. За счет военнопленных получает двойную пайку. Первое время он виновато чувствовал себя перед остальными пленными, иногда предлагал кому-либо недоеденную порцию супа, но все отворачивались от него. Вскоре он смирился со своим положением, благодарил бога за ниспосланную ему профессию, был доволен собой, сыт. Ему не составляло труда всыпать кому-либо установленное число розог. Только одно затрудняло: за розгами приходилось ходить самому. Но ни плети, ни угрозы и слежка не могли заставить русских людей думать и готовиться к побегу. Побег Иванова вселил уверенность даже тем, кто боялся тундры. Вечерами военнопленные собирались группами и оживленно беседовали.

— Молодец учитель! Не побоялся тундры!

— Один решился бежать...

— Значит, пройти к своим возможно?

— Слышали, что говорил санитар? — нерешительно спрашивал кто-нибудь.

— А ты слушай, он наговорит тебе... — отвечали другие, недовольные, что есть люди, которые сомневаются в успехе Иванова.

— Санитар запугивает. Если его действительно убили, то Луйко не ограничился бы словами, а труп выставил бы напоказ!

Через несколько дней в бараке в разных местах обнаружили загадочную надпись: «На заводе вход в шахту — выход в тундру». Военнопленные единодушно пришли к убеждению, что надпись сделана учителем Ивановым.

— Загадочная надпись, — говорил Шаров.

— Что могут означать эти слова? Действительно ли они написаны Ивановым?

— Иванов давал намек: гвоздем он не мог подробно нацарапать план. На заводе есть шахта, и через нее возможен побег! — сделал вывод Маевский.

— А как попасть на завод? — спросил Григорьев.

Маевский задумался. Ни один человек не был там. Видна только труба. Некоторые бригады проезжали по территории

завода, но не смогли увидеть входа в шахту. Много позднее, через год, начались работы на заводе, и большинство военнопленных стало работать в шахте, тогда стала понятна надпись.

Недели через две после Иванова стали просить через переводчика, чтобы их не закрывали наглухо на ночь в барак. Духота, вызванная скученностью и испражнениями в параше, вызывали удручающее состояние, особенно у тех, кто спал поблизости от нее.

Мягкосердечный Мецала согласился.

— Настало время бежать нам! — предупредил Маевский Шарова с Григорьевым. — Иванов дал намек наиболее вероятного направления, но ожидать, когда мы попадем на завод, опасно: выпадет снег — прощай свобода! К тому же, Иванов бежал не с завода, значит и нам ожидать не следует. Будьте готовы на завтрашнюю ночь!

— Леонид, а как нога, может быть подождет недельку? Митька-моряк от побега отказался. За ним была установлена усиленная слежка.

Ночью четверо вышли из барака. На них не обратили внимания, так как из него выходили и заходили ежеминутно. Доска для проволоки на месте. Борис — пограничник — на карауле. Он должен дать сигнал, если часовой будет вести себя подозрительно. На него возлагалась задача — убрать доску. Бежать он собирался позднее. Часовой, ничего не подозревая, мирно сидел в будке, посматривая на часы, ожидал смену. О чем он думал? Рождается ли у него мысль, что здесь, в зоне, за проволокой, сидят люди, мучаются, а он почему-то обязан их охранять, испытывать холод и тоску по семье. Нет! Он ожидает с нетерпением смену, а потом скорее в тепло — спать. Ему нет никакого дела, что рядом сидят люди, голодные, холодные, вшивые, спят на голых нарах и мечтают о побеге. Не будь их, он лежал бы в окопах, и, возможно погиб ...

Леонид быстро взбирается на проволоку, устанавливает доску. Секунда — и он на другой стороне колючей проволоки. Шаров следует за ним. Сердце учащенно бьется, он волнуется... Не успел сделать последнего шага — около проволоки вырос Мецала с пистолетом в руке. Шаров прыгнул назад. Борис успел убрать доску.

— Бараки! — закричал Мецала Шарову, поднимая пистолет и левой рукой указывая путь Маевскому. Подошли к будке охраны. Часовой неожиданно встрепнулся: перед ним выросли две фигуры. «Как мог оказаться русский за зоной?» — подумал часовой. Заметив Мецалу с пистолетом в руке, сразу понял. Остальные трое быстро разделись и легли, с волнением ожидая

выстрела. За свою жизнь они были спокойны: Леонид не выдаст, а Мецала в темноте не мог заметить других. Каково же было их удивление, когда перед ними появился Маевский с буханкой хлеба в руке, он курил сигарету и протягивал друзьям по одной. Лицо его было бледное, но он силился улыбнуться.

— За работу получил, — говорит он сильно заикаясь и показывая на хлеб, — А все-таки я крепко струсил, — признался он. — Не страшна мне смерть. Испытывать пытку — хуже смерти. Возможно, этим не кончится. Начальник забрал у меня «паспорт». Через минуту Леонид успокоился, и насмешливо произнес:

— Жаль беднягу — помочь не могу! Ему холодно — начался дождь, поднялся ветер, и он проклинает меня.

— Кому это холодно? Мы все в бараке!

— Часовому! — пояснил Маевский. — Начальник приказал разбить будку, куда прятались часовые от дождя. Он принес мне кирку, вначале я подумал, что меня заставляют рыть могилу для себя. Я решил твердо — пусть они роют, а я не буду. Тогда Мецала указал на будку. Пока я разбивал, он принес мне хлеба и сигарет.

— Побег не удался: завтра нас снова запрут в барак; выпадет снег, и нам придется «припухать» до весны, — с грустью произнес Шаров.

Пограничник решительно предложил повторить побег, так как часовой не может предполагать, что русские снова решаться на побег. Перелезть собирался первым. В храбрости его никто не сомневался.

— Рисковать жизнью не зачем! — возразил Маевский. — Давайте лучше закусим на сон грядущий, а то я «беспаспортный», могут предложить переселиться на новое местожительство, а может быть, на тот свет. Окончив есть и закулив сигареты, они долго беседовали о странном поведении Мецалы. За малейший проступок убивают, а он не тронул и пальцем. Странно...

Мецала не принял мер по отношению к Маевскому потому, что считал основной причиной бегства русских из лагеря было не стремление вернуться на родину и защищать ее с оружием в руках, а варварское обращение с ними.

Утром Мецала лично по распоряжению начальства отобрал сто человек, казавшихся наиболее слабыми, для отправки в другой лагерь, отдал Маевскому «паспорт» и включил в число убывающих. Попал и Борис — пограничник. Леонид попросил переводчика, чтобы с ним отправили Григорьева. Начальник согласился. Мецала не подавал вида и признаков, чтобы узнать сообщников, пытавшихся бежать с Маевским вчера ночью, но понял, что Григорьев один из них и поспешил избавиться от него.

Шарова включить в список наотрез отказался, не соглашаясь ни на какие доводы переводчика. Друзья расстались молча. Что ожидало впереди, никто не мог предугадать, поэтому уезжающим завидовали, зная, что они на сегодня избавлены от мучительной работы в канаве.

Настроение оставшихся в Никеле было упадочное. Чтобы утешить их, красноармеец Слисков громко крикнул: «- Мужайтесь, товарищи! Бегите смелее туда, — он указал рукою направление. — До своих прямым путем недалеко. Не бойтесь тундры!»

10. Санитар Илья Поляков

В ноябре и декабре месяце 1941 года от голода, побоев и дизентерии умерло много военнопленных. Финское начальство не дорожило жизнью пленных, и еще меньше интересовалось медицинским обслуживанием их. В северных лагерях не было ни врачей, ни лекарств, ни одного госпиталя. В Янискосках уход за больными был поручен военнопленному Полякову. В его распоряжение отведена одна секция четвертого барака, куда клали больных и концентрировали ослабший контингент. Истощенные люди непосильным трудом, постоянным недоеданием и побоями, не нуждались в медицинской помощи: им нужно было улучшить и увеличить питание, но в лагерях Финляндии был заведен порядок — военнопленный не вышел на работу — ему уменьшали паек. Стоило ему заболеть или ослабнуть, с него снимали верхнее платье и обувь, и в одном нательном белье помещали в барак для ослабшего контингента, где он был обречен на смерть. Гораздо хуже, чем с лекарствами, дело обстояло с водой и дровами. Каждое воскресенье военнопленные на себе носили дрова из леса. Во всей зоне была только одна водопроводная колонка, которая большее время не работала. Около нее постоянно стояла очередь. Жители четвертого барака все время были без воды — босиком и в нательном белье долго не настоишь в очереди. Отсутствие воды в лагере отражалось на чистоте в бараках. Нехватка воды, отсутствие дров, не регулярное мытье в бане привело к тому, что весь лагерь военнопленных завшивел. Борьба со вшивостью и клопами не велась. Правда санитар пытался клопов морозить, но его затея оказалась безрезультатной. Военнопленным это принесло вред: они мерзли.

Илья- рябой, так звали пленные санитары, знал все виды машин, любил все специальности, но никогда в жизни не был эскулапом. Начальник лагеря знал его абсолютное невежество в медицине, но мер не принимал, так как получил инструктаж свыше, что Поляков — полезный для них человек. Только начальника лагеря умел лечить санитар: весь спирт, предназначенный для медицинских целей, шел ему.

Как же попал Илья Поляков в санитары? Когда тральщик, на котором он служил, подорвался на mine, Илья Поляков, как и десяток других моряков, уступив место раненым в шлюпке, бросился в воду. Прекрасный пловец, он около шести часов держался на воде и был подобран финнами. Избитого Полякова

доставили на берег. Он с ненавистью плюнул офицеру в лицо на первом допросе. Затем его отправили в распределительный лагерь.

Изуродованное оспой лицо, хитрые глаза, блестящие с зеленоватым оттенком, низкий, покатый лоб, нос с горбинкой и сутуловатая фигура Полякова с первого взгляда не понравилась полковнику. И Поляков первый попал в число обреченных на смерть. В то время еще не расстреливали публично, а уводили в лес. Илья испугался смерти и ползал на коленях, целовал сапоги офицеру, просил через переводчика помиловать, обещая исполнять все порученное ему. Его спросили о коммунистах. Он назвал фамилию Иванова: она вспомнилась ему быстрее всех, и Поляков знал, что из тысячи пленных один Иванов всегда найдется. Двое других с ненавистью посмотрели на него и молча погибли. Так Поляков спас свою жизнь и стал изменником. Через три дня его снова вызвали на допрос и стали требовать, чтобы он указал всех коммунистов и политруков. Поляков отказаться не мог и назвал несколько фамилий. Много погибло военнопленных, не зная причины, но никто по пути Полякова не пошел. Вскоре военнопленные стали подозрительно поглядывать на него, т. е. после каждого вызова рябого матроса из барака

уводили несколько пленных и расстреливали. Боясь разоблачения Полякова, полковник был вынужден отправить его в трудовой лагерь. Здесь о нем на время забыли. Поляков вздохнул облегченно. Вместе с другими пленными он ходил на помойку и приносил отбросы, варил и ел их.

Когда борьба за существование приняла резкую форму, матрос с тральщика быстро оценил обстановку и, как другие, не записался поваром (а у многих была такая мечта — сварить обед для пленных было делом немудреным), а сразу объявил себя врачом. В это время о нем вспомнили, и негодяю были доверены сотни человеческих жизней, томившихся на каторге в Янискосках.

С тех пор Поляков от всех видов болезней применял единственное лекарство — мазь от мозолей. На его совести не один зарезанный человек: он не стеснялся делать операции, практикуясь на пленных, не отвечая за смерть. Для него не составляло труда отпилить ногу выше колена или вскрыть живот; операции обычно делал ночью. Если больной умирал, санитар разводил руками и, делая невинную мину на лице, лицемерно заявлял: «- Люди истощены, слабое сердце, а, наверняка, жил бы сто лет после операции».

Повара не имели права приступить к раздаче пищи, пока Илья Иванович не снимет пробу. Пленные ожидают, когда же рябой соизволит прибыть с двумя котелками и отведать пищу.

Освобождение больным давал лишь тогда, когда приносили ему крепкого табаку или сигарет. Он не курил, а продавал финнам и пленным, пряча марки в глубокие карманы своих брюк, был предусмотрителен и заранее беспокоился о своей будущей жизни в Финляндии.

Был канун рождества. Илья вернулся в санитарную часть от начальника лагеря — носил спирт. В лазарет вошел военнопленный Громов. Поляков недружелюбно посмотрел на него, но тот не обратил внимания и, сняв шапку, низко поклонился.

— Здравия желаю, Илья-рябой! Извиняюсь, Илья Иванович, господин главный врач! — Лесть, хотя и насмешливая, понравилась санитару, и он, сделав вид, что рад гостю, произнес: — Чем могу служить? — А про себя прибавил: — Черт вас носит, покою не дают! — И с неохотой пригласил Громова сесть, а сам подумал: «Не за долгом ли пришел?»

На той неделе Илья хотел испытать счастье в картах и проиграл Громову сто марок, пообещав в скором отдать, и до сих пор не вернул. Громов сел на стул и закурил окурочек сигары. Потом вытащил из кармана отрубленный палец и положил на стол перед санитаром.

— Я так и знал! — взревел Илья.

— Ты лодырь, нарочно отрубил, чтобы не ходить на работу!

— Вы ошибаетесь! — ответил Громов.

— Знаем вас ... ты не первый. Скажу охраннику Лумпасу, даст тебе штук двадцать пять горяченьких да на работу выгонит! Будешь знать, как заниматься членовредительством! — Илья имел большое желание отправить Громова к Лумпасу, но побоялся, что пленный может вспомнить долг.

Осмотрев палец, он убедился, что это действительно палец от руки человека, и на клочке бумаги написал освобождение на два дня. Не спеша достал из шкафа что-то похожее на йод, взял бумажный бинт и хотел сделать перевязку больному. Но каково же было удивление санитаря, когда у Громова на руках пальцы были целы и полный десяток.

— Сволочь! Смеяться пришел! — ревел не своим голосом санитар.

— К Лумпасу! ... плетей ему! У-у!

Громов не смутился.

— Товарищ, главный врач Илья Иванович, — все так же насмешливо говорил Громов, зная, что санитар не решится его выгнать, — палец я подобрал на крыльце, думал, кто-то потерял, и если придет пострадавший, то нельзя ли пришить подлецу обратно: я не одобряю умышленного членовредительства!

Слово подлец и выдумка Громова понравились санитару, он весело засмеялся: — Говоришь, пришить, подлецу! Это я могу сделать! Так придется поступать впредь!

Громов вытащил из кармана пачку сигарет и покрутил перед носом санитару.

— Шведские — пять суток освобождения с постельным режимом моему больному товарищу!

Илья самодовольно посмотрел на него и, не на секунду не задумываясь, выписал освобождение. Военнопленный, не прощаясь, вышел от санитару. Через две минуты Громов рассказывал товарищам, как он ловко подшутил над Ильей.

Санитар брезгливо выбросил палец в таз и, проверив, полнали коробка сигарет, спрятал в чемодан, довольный, прикинул в уме: — «Сто марок есть».

Пальцы рук и ног отрубали часто, стараясь хоть на время избавиться от каторжной работы. Многие занимались членовредительством, чтобы уехать на юг, а там, возможно, попасть к крестьянам на сельскохозяйственные работы. Впоследствии по требованию Ильи виновников наказывали розгами, гоняли на работу без оказания помощи, и случаи членовредительства сократились.

После ухода Громова санитар приступил к операции. У больного катаральная ангина. Он задыхался. Смерть была неизбежна. Рябой без жалости вырезал горло и хотел вставить ему трубку, чем удивить не только лагерь а и все «мудрое» финское фашистское медицинское начальство. Санитар нарочно выбрал трубку с изгибом, чтобы она все время торчала из-под воротника, и все видели бы искусство «главного врача» — Ильи Ивановича. Во время операции он случайно глянул в окно и заметил тень человека с топором. Ему почему-то сразу вспомнился финский офицер с длинными усами, перед которым он унижался, чьи сапоги, со слезами на глазах, целовал. А затем самое гнусное дело, какое может совершить человек: он дал подписку работать против родины. Илья прислонился лицом к стеклу и отчетливо различил человека взмахивающего топором. Вдруг санитару показалось, что за окном не один, а два, десять, все военнопленные, зарезанные им. Он схватился за голову. От испуга санитар лишился дара речи и только подумал: «Непременно убить хотят». Бросив трубку и больного, выскочил из санчасти и бегом к воротам, где размещалась охрана. Навстречу шел повар с дровами. Илья закричал во все горло: — Помогите! Режут! Убивают!

На столе в предсмертных судорогах лежал человек.

На помощь Илье выбежали пленные. Вскоре пришла охрана.

— Что случилось? Кого режут? Где убивают? — спрашивали санитаров со всех сторон.

Илья не кричал, чувствовал себя в безопасности и только показывал рукой по направлению бани, рядом с которой размещалась санчасть. Военнопленные заметили человека с топором в руке и окликнули. Это был «доходяга» из четвертого барака. Он болел и долгое время не ходил на работу, и «доплыл», как выражались военнопленные, до последнего предела. Не имея намерения зарубить санитаров, решился на другое, более страшное ...

За баней лежало несколько трупов. К ним шел голодный человек. Его схватили. В свое оправдание он протянул руку с куском человеческого мяса.

11. Бежать только на родину.

Новое место, знакомое Леониду по расстрелу лейтенанта Костина, встретило неприветливо. В бараках вновь прибывших размещали на самые плохие места — ближе к дверям, или в темном углу нижних нар.

Леонид не огорчился таким приемом, так как не думал задерживаться в Янискосках. Его с Иваном Григорьевым и пограничником зачислили в бригаду плотников; Рогова — на камнедробилку подносчиком камня. Каменщики уходили на работу на час раньше остальных бригад и возвращались на час позднее. Только в субботу все бригады приходили одновременно. Рогов всю неделю был лишен возможности встречаться с товарищами и с нетерпением ждал субботы, чтобы поделиться мнением с ними. Как только раздали ужин, он поспешил к Маевскому и в дверях столкнулся с Шаевым. Шаев не ожидал встречи и растерялся.

— Вот так встреча! — громко произнес Андрей. — Не ожидал! — Он принял положение «смирно», приложил руку к голове, на которой была куча лохмотьев вместо шапки, прикрывавшая голову от мороза.

— Товарищ командир, рядовой Рогов попал в плен при случайных обстоятельствах!

Сержант Шаев не ожидал встречи со своим бывшим подчиненным, тем более с Роговым, и обратил молящий взгляд на Андрея, в котором внимательный наблюдатель мог прочесть просьбу не говорить дальше.

— Не смотри на меня такими глазами и не бойся, я не стану мारать рук ...

— Прости, Андрей... — с трудом выговорил Шаев.

— Что, не нравится? А где твои обещания, что ты сулил по радио? Отвечай! Расскажи товарищам!

«— Все кончено, тайна раскрыта», — подумал Шаев и отстранив Рогова, вышел из барака.

Злой на язык Рогов вспомнил все обиды, которые он перенес в плену, и решил выместить злобу на своем бывшем командире.

— Твое счастье, что я попал сюда не по твоей просьбе, а подобрали... — кричал Андрей вдогонку Шаеву. — Твои ж хозяева и убьют тебя, а потом выбросят как собаку, которая отслужила свое и больше не нужна...

Маевский разговор слышал и когда ушел спать Андрей, спросил Шаева: — Правильно ли говорит Рогов?

Шаев ответил утвердительно и сообщил, что завтра он

совершит побег. Леонид разбудил пограничника и предупредил его: — Медлить больше нельзя: побег Шаева сорвет все планы, и время будет упущено. Забудем его прошлое — присоединимся к нему. — И здесь же договорились с Шаевым завтра встретиться за поселком на свалке.

«— В случае, если задержат, то легко будет отговориться: на свалку ходят многие заотбросами. Задержанный на ней обычно отделяется плетями или просто тумаками от солдат», — думал Леонид, ложась спать.

Ночь прошла незаметно. Григорьев от побега отказался, отдал свою пайку хлеба товарищам.

В назначенный час они прибыли на свалку. Не долго пришлось ожидать Шаева с Орловым.

Леонид заметил, что шинели у них обрезаны, кусками обрезков обмотаны ноги. У Шаева две булки хлеба.

— Ну, что ж друзья, — сказал Маеский, — вот мы и на свободе! Время дорого, пошли!

— Да, да, — как-то неопределенно промолвил Шаев, — но мы раньше не договорились, куда идти.

— Дорога у нас одна! — ответил пограничник.

— Путь в Швецию ближе и безопаснее...

Леонид мгновенно вспомнил Рогова, и ему поведение Шаева стало понятным, поэтому он не стал тратить понапрасну слов на уговоры, посмотрел на Бориса — пограничника и твердо сказал: — Наша дорога — только на родину!

Не прощаясь, пошли в разные стороны. Орлов долго не двигался с места и колебался — идти с Маевским или с Шаевым. После долгих размышлений сделал несколько шагов за Маевским, затем круто повернул и пошел в обратную сторону.

Отсутствие пленных обнаружили быстро. Военнопленный Винокуров, сидевший в изоляторе за побег две недели, все время пытался бежать из него. Он не переставал делать попыток вырваться из изолятора и буянил в нем. Буйство сменялось молчанием — молчание — буйством. Его признали сумасшедшим. Все говорили, что сибиряк лишился рассудка. Ему удалось выломать пол и сделать подкоп. Это обнаружили, и пол обили листовым железом. В то утро, когда Маевский с Шаевым разговаривали на свалке, он выбил дверь и убежал. Повар, разносивший завтрак, нашел камеру пустой. Полиция и охрана сделали проверку на производстве и обнаружили отсутствие еще четверых. Шаев с Орловым успели пройти двадцать километров. Допрашивали только Шаева, но он упорно молчал и не выдал других, а их искали в том месте, где задержали его.

Орлов на коленях просил пощады. Винокуров на пути к месту

расстреля набросился на конвоира и был убит. Шаев стоял молча, понутив голову, и глядел в землю, которая должна принять его. Изменник только перед смертью понял свое преступление и отказался просить помилование у тех, для кого изменил родине. Расстреляли на свалке. Тела валялись в овраге; воронье и лисицы растаскивали их останки.

... Несколько дней двое шли по лесу, ориентируясь по солнцу, звездам и местным приметам, ели грибы и ягоды; хотелось курить. Леонид пробует сухие листья березы. Но они вызывают тошноту и рвоту. Кое-где первое время встречались деревушки и отдельные домики оленеводов — лопарей. Зайти к ним обогреться и попросить поесть не решились, зная их враждебное отношение к русским. Наконец, вышли в тундру. Перед ними невообразимые просторы, лишённые всякой растительности, да голые горы одна выше другой. Целыми днями карабкались на них, поминутно останавливаясь, надеясь увидеть зарево фронта и вспышки взрывов. Но ... напрасно. Впереди безбрежное, безоблачное пространство. У подножия гор, на мху, растёт ягода. Ели ее с надеждою утолить голод. День очень короток, а утром и вечером холодно. Солнце выглядывает на несколько часов и не может обогреть беглецов. Разжечь костер нельзя: карликовые сырые березы не горят. Поэтому шил исключительно ночью и по утрам: чуть выглянет солнце, ложились отдыхать, прижимаясь друг к другу, обогревали себя.

Давно уже потеряли счет дням. Не имея ориентировки, кроме солнца и звезд, заблудились и двигались наугад. Постоянное стремление увидеть что-то вызывает в воображении ложные картины, и пограничнику все время казалось, что вдали деревня, дым и лес. Он, выбиваясь из сил, лез на гору — мираж исчезал. Обессиленный, он упал, и перед ним встала картина родной деревни. Слезы сдавили горло — от воспоминаний он заплакал. У Маевского нет сил успокаивать его. Он, молча лег возле пограничника и устремил взор вперед, закурил, истратив на это последнюю спичку. Борис хотел попросить докурить, но не хватило сил выговорить слово: кружилась голова, двигаться не хотелось.

«— Разок бы затянуться, — думал Борис, и поднял взор на Маевского. Он снова увидел, что тот курил.

— Табак у нас кончился давно. Неужели он прятал от меня!

Ему стало неловко, что он так подумал о друге, и Борис снова закрыл глаза, чтобы не видеть Маевского. Но Леонид действительно курил, курил небольшой клочок бумаги с фотографией молодого краснофлотца — это был портрет Леонида, снятый на фронте; его фотография была напечатана 18

августа 1941 года в газете «Краснознаменный Балтфлот». Фотографию он носил и хранил в складках брюк.

Засыпая, они думали каждый по своему, но у обоих была одна мысль — родина. Проснулись, было уже светло; светит мутное солнце: падает снег, а тундра бела, как саван.

— Не лучше ли покориться судьбе и остаться лежать на горе навсегда... — говорит Борис, но сознание подсказывает другое: «Жить! Жить!»

— Если мы не сдвинемся с места — замерзнем, — проговорил Леонид и ползком начал спускаться с горы. У подножия ее натолкнулся на следы. Чьи они? Об этом он не думал. В голове была другая мысль — пограничник остался на месте. Борис поднял голову и наблюдал, как удаляется от него товарищ. Когда не стало его видно, он склонил голову на снег. В его взоре не было ни мольбы, ни упрека человеку, который упорно продвигался вперед.

«— Я сделал все, что мог, чтобы бороться за жизнь! Пусть Леонид двигается вперед: он сильнее меня, и я знаю, если бы силы его не покинули, он не бросил бы меня...»

Очнулся пограничник в теплой постели, возле него стоял Леонид.

— Где мы? — спросил Борис.

— Мы находимся у лопарей, которые подобрали нас. Точного местоположения я не установил, но, кажется, недалеко от фронта. Относятся к нам хорошо и с сочувствием. В деревне только лопари-оленоводы. Финнов нет.

Борис снова закрыл глаза, и ему вспомнились первые дни в Никеле. Каждое воскресенье приезжали лопари, пленным привозили галеты и мясо. Через некоторое время полиция запретила им приезжать, и их военнопленные больше ни видели.

— Счастливые люди, — продолжал Маевский, — они одеты в оленьи шкуры, живут мирно, перегоняя стада оленей с одного места на другое, и не знают войны. Она для них не существует; встретили и приняли нас, как людей, попавших в беду!

Когда силы беглецов восстановились, они простились с лопарями, которые не спросили их: кто они, куда и зачем идут? И пошли к линии фронта.

12. Новый год в плену.

Новых военнопленных в Янискоски не прибывало, а рабочих — финнов становилось все меньше: война требовала солдат. Обещанная народу скорая победа Германии и ее сателлитов над Советским Союзом провалилась. Разгром немцев под Москвой, героическая оборона Ленинграда — дали понять многим финско-фашистским политикам, что замысел уничтожить и закабалить страну Советов не будет осуществлен. Финская военщина, приняв позиционную тактику на всем фронте, уже не кричала о «Великой Суоми» вплоть до Урала. Бедная до войны, она быстро истощила запасы продовольствия. Население село на голодный паек. Правда скрывалась от трудящихся. В кричащие сводки немцев никто не верил.

Главные виновники войны знали, что в скором времени настанет час расплаты за злодеяния над человечеством и финским народом. Сократились официальные расстрелы за побег, но никто не запрещал расстреливать без суда. Уничтожение пленных было предоставлено голоду, болезням, каторжному труду и самодурству охраны.

Особой жестокостью к пленным в Янискосках отличались охранники Лумпас и «Сережа», который в 1939 году был в плену в Советском Союзе. Он ненавидел пленных. Его издевательства знали не только пленные и охрана, но и все рабочие. «Сережа» делал все, что взбредет ему на ум: все это было законным явлением. Сожаление к русским считалось преступлением и обычно заканчивалось отправкой на фронт или «исповедью» в полицейской будке.

«Сережа» и Лумпас отбирали у русских хорошие вещи и продавали. На вырученные деньги пьянствовали. Иногда насильно заставляли военнопленных продавать последнюю обувь рабочим, а после, сделав инсценировку, что проданное — казенное — интендантское, отбирали деньги у того, кто продал, и вещи у того, кто купил.

Когда группа военнопленных подала жалобу на «Сережу», переводчик объявил на разводе: — Вы все воры! Жаловаться будете Молотову. Он принимает жалобы от всех, а финны нет!

— И показывая на «Сережу», стоящего рядом с ним, добавил: — Спасибо за то, что к нему в плену в России относились хорошо, а то он бы вас всех перестрелял!

Через час произошло событие, потрясшее весь рабочий поселок и лагерь пленных. Директор акционерной компании

получил из Швеции посылку и не захотел нести сам, а взял с работы моряка Бражника, который доставил ему на квартиру посылку и возвращался обратно. Пленного догнал «Сережа» и, не говоря ни слова, застрелил у барака, где жили шведы и финские рабочие. Убийство вызвало протест рабочих и грозило перерасти в забастовку, что могло сорвать строительство плотины, имеющей важное военное значение. Под давлением шведов и финских рабочих директор компании выразил свое недовольство начальнику. Директор был швед и вел себя вызывающе с финнами, а к русским относился с презрительной ненавистью. Заявить протест его вынудила не жалость к пленному, а самолюбие: Бражник шел от него и нес две пачки галет с его фамилией. Он дал их не из-за того, что русский хотел есть, а просто хотел показать свою добродетель. На заявление начальника лагеря, что русский украл галеты на финской кухне, директор ответил резко: «Галеты дал я. В случае непринятия мер, вынужден буду довести до сведения правительства, что рабочая сила не обеспечивает необходимых трудных работ, а русские в вверенном вам лагере истощены, в силу чего окончание строительства затягивается. Одновременно поставлю в известность правительство Германии».

Все опасные и трудные работы выполняли русские. Особенно большое недовольство было среди рабочих-каменщиков, где работал Бражник. Под давлением рабочих, недовольства директора и прямой угрозы со стороны пленных, начальник лагеря был вынужден отправить «Сережу» на фронт.

В это время попутными машинами были доставлены в Янискоски Леонид с Борисом. Незнание той местности, в которой они находились, плохая ориентировка по местным приметам были для них роковыми. Они взяли слишком на север, сделав много километров пути напрасно. Время, проведенное в бегах, было достаточно для того, чтобы сделать рейс от Янискоски до родной земли и обратно...

На девятый день, когда расстались с лопарями, нарвались на немецкую заставу. Они оказали дружескую услугу союзникам, передав задержанных. Беглецов, к удивлению всех, не били, лишь сняли верхнюю одежду и посадили в глухой, темный изолятор. Охрана требовала расстрела — начальник лагеря не решился. Крови и жертв было столько, что смерть двоих не была бы нравоучением тем, кто собирался бежать, и свежо еще было воспоминание о смерти Бражника.

Иван Григорьев проявил сразу — же товарищескую заботу о друзьях: топил печь в изоляторе дровами, принесенными с производства, изредка достает хлеба. Он раздарил старшине

лагеря и Илье — рябому все свои морские вещи, чтобы хоть немного облегчить положение беглецов.

Если Ивана связывала с Маевским служба на флоте, и он считал своей обязанностью помочь товарищу, то Андрей Рогов проявил чисто отцовскую заботу о нем и его друге. Вечный непоседа, он, как метеор, носился по баракам, выменивая табак на хлеб, выпрашивал и не скрывал, что делает это для беглецов.

Перед утром нового года он проснулся и злобно начал ругаться на весь барак. Тысячи клопов ползали на нем и нарах. Ложась спать, он облил водой вокруг себя. Но это не спасло его от кровожадных клопов. Чиркнув спичку, он увидел, как они поползли от него — красные от крови. Рогов не стал уничтожать их, плюнув, встал с нар, снял рубашку и принялся за вшей, нащупывая в рубцах.

— Люди выдумали всевозможные орудия смерти против человека: самолеты, пушки, танки, газы и автоматы, — но до сих пор не удосужились придумать существенного средства против клопов и вшей, — ворчал Андрей, аккуратно раздавливая паразитов ногтем.

— Странно! Только и слышны разговоры — молниеносная война, уничтожение большевизма, но ни один подлец не сказал: молниеносная война против паразитов в мировом масштабе! Сволочи!

И Рогов начал насвистывать, забыв, что в бараке он не один.

— Опять ты философствуешь об уничтожении клопов в мировом масштабе! — сказал Григорьев, ворочаясь на нарах.

— Кто про что, а вшивые про баню! — огрызнулся Рогов.

— Дрыхните вы, черти! Сами не спите и другим не даете! — сердито сказал кто-то с верхних нар.

Андрей вышел во двор. Лагерь спал. Идти было некуда: заходить в другие бараки ночью запрещалось. Постояв немного, Рогов вспомнил о беглецах.

— Пойду, подтоплю немножко ребятам. — Рогов всегда говорил вслух то, о чем думал. Топка в изоляторе была снаружи. Когда Маевский почувствовал тепло от печи, проснулся и выглянул в окно.

— А, это ты, Андрей!

— Я.

— С новым годом, — поздравил Леонид и протянул руку в решетку за окурком, но Андрея уже не было. В лагере появился Лумпас. Размахивая пистолетом, он бросился преследовать пленного. Распахнув дверь, где скрылся русский, Лумпас три раза выстрелил и принялся стаскивать с нар пленных, всех подряд, стараясь определить, кто из них подходил к изолятору. Рогов,

раскинув руки и ноги по сторонам, лежал на полу и, как ни в чем не бывало, храпел во все горло. Сорвав зло на первых попавшихся ему под руку, Лумпас пьяной походкой направился к себе в барак. Он пьянствовал всю ночь на проводах «Сережи» и, возвращаясь в лагерь, заметил дым в изоляторе. Раздосадованный на себя, что не сумел поймать русского, не раздеваясь, повалился на койку и принялся ругать всех военнопленных, обзывая их негодьями и подлецами.

Проснулся он поздно и первое, что заметил — на стене, календарь. В нем был один листок. Небрежно оборвав его, повесил новый.

— Наступил 1942 год! — сказал Лумпас и, вспомнив, что ему не удалось поймать пленного, он снова пошел в лагерь, рассуждая: — Так оставить нельзя! Если не найду, то меня весь год ожидают неудачи.

Лагерь был пуст. В честь нового года военнопленные не работали на производстве. И их с утра выгнали в лес за дровами. В одном из бараков Лумпас нашел пленного Зайцева. У него не было обуви.

«— Он — подлец!» — подумал Лумпас и приказал следовать за ним.

Когда они подходили к изолятору, мимо лагеря проехало несколько оленьих упряжек. В них сидели пьяные солдаты, пускали ракеты, стреляли из автоматов, дико кричали, распевали похабные песни.

— Вот это да! — вскрикнул Лумпас, — веселятся правильно!

Кто не знает слов русской народной песни и ее мотива «гайда тройка, снег пушистый»? Кто не любит прокатиться на тройке в санях при свете звезд? Не русская ли тройка воспета великим русским писателем Гоголем! Традиция веков! Какое испытываешь удовольствие, когда под звон колокольчиков и бубенцов едешь, а лошади сломя голову мчатся вперед!

Не об этом ли думал солдат, подходи к изолятору. Он вывел из него беглецов и вместе с Зайцевым запряг в оленью упряжку. Он любит красоту и расставляет людей со вкусом. Для него пленные — не люди. Вороного ставит в корень — Зайцева. Гимнастерка на нем черная от грязи; Леонида с Борисом — в одном нательном белье, сохранившем кое-где белые полосы, по бокам — пристяжные.

Лумпас садится в сани и с гиком выгоняет их на дорогу, хлеща длинным кнутом под дружный хохот охраны и немцев. Он доволен своей шуткой. Что он чувствует? Что может чувствовать идиот, думая, что ему завидуют: никто не додумался до такой «шутки», и он на верху блаженства. Не кто иной, как Лумпас со

вкусом бьет русских, испытывая наслаждение, становится человеку на шею ногой и, начиная от пяток, методично простегивает резиновым шлангом до самой головы; у него набор плетей и шлангов. Перед тем, как приступить к очередной порке, он перебирает их, как будто взвешивая, какая достойна и большее ударит по голому телу.

Навстречу Лумпасу попадают с дровами партии пленных. Они с ужасом в глазах и с болью в сердце смотрят на троих в оленьей упряжке и бросаются в сторону, но «тройка» не замечает их, продолжает бег. Холод подбирается к сердцу. Тяжелее всей было Зайцеву: он без носков, из ног сочится кровь, пальцы побелели. Поднялись на гору. Лумпас кнутом разворачивает их, и они снова продолжают бег. Сани бьют по ногам, бег еще быстрее.

Слух быстро распространился по поселку. И когда Лумпас въезжал в ворота зоны, около них стояло много праздных зевак, пришедших полюбоваться на шутку финского солдата. Часть любопытных смеется, скаля зубы, они довольны выдумкой. Многие смотрят сурово, с сожалением, возмущаясь бесчеловечностью; но нашелся только один, кто открыто заступился за русских. Старик лет семидесяти, в кожаной тужурке вырвал кнут у Лумпаса и два раза ударил его по лицу и старческой походкой засеменил в поселок, не оглядываясь на толпу.

Все трое попали в распоряжение Ильи Ивановича. Леонид заболел воспалением легких. Борис обморозил ноги и харкал кровью. Зайцеву санитар ампутировал ноги, и он умер от гангрены. Вечером пришли санитары и вынесли из санчасти в клеть — мертвушку Зайцева и Леонида.

... - Я еще живой, — чуть слышно произнес Маевский.

— Молчи, Илья Иванович лучше знает! — ответил санитар, помогавший Полякову, и безжалостно бросил живой труп на снег.

13. Он не умер — его убили!

Леонид вышел на работу. Зима в полном разгаре; кругом снег, закопченные корпуса бараков, да сиротливый финский поселок у строительства плотины. Первое, что бросилось в глаза Маевскому, унылые лица военнопленных, бледные, без кровинки, в рваном обмундировании: нового не выдавали — старое изнашивалось.

Они ссорятся между собою при построении из-за первого ряда. Тот, кто идет впереди, имеет возможность, рискуя жизнью, на ходу подобрать недокуренную сигарету.

Вмешательство Ивана Григорьева, который был земляком старшины лагеря, спасло жизнь Леониду. Его перенесли в барак, положили на нары, и могучая натура поборолла смерть.

Маевский еще не совсем оправился от болезни: ноги плохо слушались его, движения медлительные и боязливые, но оставаться дальше в бараках невозможно и опасно. Голубые глаза

не светились прежней жизнерадостностью, а были опущены вниз. Он боялся, что не переживет зимы, от которой зависело его будущее, а настоящее было уныло, неопределенно, и не в его руках. Вместо веселой улыбки, на лице на мгновение вспыхивала злая гримаса, выражающая презрение ко всему окружающему, в том числе и к себе, и быстро исчезала, и снова лицо становилось безжизненное и мертвое. Но в голове не было мысли, что он побежден. «Мы еще будем сражаться, друзья мои: надежда на время — оно работает на нас!» — сказал он.

Некоторые рабочие смотрят на Леонида с сочувствием, зная его историю. Кое-кто приносит хлеба, дают табак. Но это только первый день. Когда еще было свежо воспоминание нового года, потом все забудется, и жизнь пойдет по-старому. С наступлением зимы охрана ослабила наблюдение за военнопленными: бежать было бесполезно. Лесом не пройдешь далеко: глубокий снег и заметны следы; дороги контролируются немцами, которые на каждом шагу проверяют документы. Поэтому солдаты часто отлучались от своих бригад, уходили греться в помещение, перед обедом просчитывали военнопленных, а потом снова в тепло. Тем временем, военнопленные разводили костры и поочередно грелись. К одному из них подошел Маевский. Борис-пограничник и Иван Григорьев о чем-то беседовали. Рядом возился Рогов, заготавливая дрова для финна, с надеждою, что рабочий даст кусок хлеба или на папироску табак.

Борис откашлялся и посмотрел в глаза Маевскому, стараясь понять, о чем думает товарищ и, опустив взор, начал носком

сапога подталкивать дрова в костер.

— Мы с Иваном долго беседовали и пришли к убеждению, что после всего пережитого не стоит жить! Не пора ли избавиться от позорного плена?

— Назойливая мысль, — перебил его Иван, — часто появляется, но каждый раз отталкиваешь ее от себя: не подымается рука покончить с собою, а другого выхода нет — положение безнадежно!

Леонид по природе был не разговорчив, молчалив, поэтому он не вступил в разговоры с товарищами, не стал их утешать, успокаивать, убеждать, а только собрал в порядок свои мысли, к которым он пришел, анализируя свое положение:

— Выход один — ждать: зима не дает никаких результатов! Жить и продолжать борьбу необходимо! Дождаться лета, перенести все трудности и невзгоды, а потом бежать...

— И так, ежедневно, с утра до вечера, живешь, мечтая о будущем! — раздраженно крикнул Борис и со злостью сапогом разбросал костер. Подошел мастер.

Мастер делает знак Леониду и Ивану следовать за ним. Миновав строительство, подошли к лесопилке и остановились около штабеля горбылей. Леонид хотел рассказать Ивану, что именно здесь, через дорогу, свалка мусора и отбросов, где они расстались с Шаевым и Орловым, останки которых продолжают валяться до сих пор, но передумал: «Зачем ему? Кому это нужно!»

Мастер передал пленных десятнику, и тот без слов объяснил нетрудную работу, как выжигать древесный уголь. Из-за отсутствия охраны их передали под надзор рабочего, который работал вместе с ними.

Работа заключалась в том, чтобы ставить горбыли один возле другого около вертикально поставленной деревянной трубы. А когда получится правильный конус, обрубить верхушки и засыпать опилками, а потом поджечь изнутри трубы и не допускать горения пламенем.

— Работа нетрудная, а главное, рядом горит весело костер! — произнес с восторгом Иван.

Но радоваться было еще рано. Финн относится недружелюбно. Ненавидит пленных настолько, что не подходит к костру, когда русские греются.

— Наш коллега, — сказал Леонид, — не выносит русского духа!

В противоположность ему, десятник очень вежлив и добр, каждый день дает пачку папирос, но бывает только утром и уезжает на другие участки.

— Почему финн-рабочий так недружелюбно относится к

нам? — спросил Иван десятника.

— Его призывают в армию.

— Так вон оно что, — перебил Леонид, — он считает нас основными виновниками войны и свое зло и недовольство вымещает на пленных!

Часто десятник по несколько дней не приходил на работу. Леонид испытывал недостаток в табаке. У рабочего просить бесполезно. Когда финн греется у костра, он курит непрерывно, и Леонид наблюдает издалека, куда он бросает окурки, а затем собирает их. Заметив, что пленные собирают окурки, рабочий ударил Леонида кулаком в лицо и вытащил нож.

— Мита!*- спрашивает он и бросает окурки в огонь, любуясь, как они превращается в пепел. После он никогда не бросал недокуренных сигарет, а старательно их уничтожал.

* Что!

Его квартира напротив, через дорогу, в землянке. Когда долго не приходил десятник и зная, что русские голодны, он выносил хлеб собаке, подраивая пленных.

Иван и Леонид делают вид, что не замечают.

В другой стороне работают два подростка на циркулярной пиле, пилят дрова, а дед на двуколке развозит их по баракам и в столовую. Он в кожаной тужурке, всегда с трубкой в зубах, проезжает мимо пленных.

— Старик с табаком! — рассуждает Иван.

— Попробуй подойди к нему, получишь по зубам от нашего телохранителя, — замечает Леонид.

Все реже и реже стал появляться финн на работе. Леонид с Иваном облегченно вздыхают, когда его нет, чувствуют себя хозяевами. Утром он наливает собаке в ведро супу, кладет хлеб и уходит на весь день.

— Финн за угол — русские на охоту! — смеется Леонид. — Я буду дразнить собаку, а ты, Иван, выливай суп в котелок и подбери хлеб, если она не успела съесть.

Он смело подходит к собаке, дразнит ее и бежит параллельно проволоки. Собака, гремя цепью, бросается на него.

— Готово! — кричит Иван, и они оставляют собаку в покое, и удаляются поесть.

Так продолжается каждый день. Собака худеет, финн не понимает причины и вызывает лекаря.

— Надо, милый друг, собаку кормить, а не шататься по поселку! — говорит фельдшер, качая головой.

Рабочий, по-видимому, догадался; пленных избил палкой. После этого собаку привязал на новое место, рядом с землянкой, где никто не жил, а русским пригрозил ружьем. Два дня не

воровали, но голод заставляет делать свое. Проникнув в погреб через окно, украли хлеб у собаки. Озлобленный финн бьет каждый день.

— Что будем делать, Иван? Иметь кусок хлеба и получать побои или бросить все к черту и уйти!

— Ты прав, Леонид, не захочешь и супу. У меня все тело в синяках. Лучше уйдем от греха подальше!

Через несколько дней их разыскал мастер и спросил: — По какой причине вы ушли самовольно с работы?

Иван, задрав рубашку, показал синяки.

— Идите на прежнюю работу и без разрешения не уходите, иначе добавлю я, — сказал мастер строго и, немного подумав, прибавил: — Рабочий уехал на фронт.

— Первая пуля ему! — пожелал Иван.

Снова на старом месте — вдвоем; никто не подгоняет, лишь изредка приходит солдат убедиться, на месте ли русские. Собака подохла и валялась возле землянки. Принесли ее и съели.

— На худой конец и это мясо, — сказал Григорьев.

В первый день самостоятельной работы десятник не пришел. Военнопленные хотели курить. Соседи — подростки не имели табаку или не хотели давать. Когда они ушли домой на обед, приехал дед. С трудом нагибаясь, стал накладывать дрова.

— Пойду помогу нагрузить, может даст закурить, — сказал Леонид.

Пока Маевский грузил, старик внимательно разглядывал военнопленного и думал, что русский не из-за уважения помогает ему. И он дал горсть табаку. Так началась дружба русского с финном, которые не знали фамилий друг друга и не могли разговаривать. С тех пор старик не упускал случая угостить Леонида табаком. Ежедневно привозил варенный картофель и куски хлеба. Вскоре работа по выжиганию древесного угля закончилась.

— Работать совместно с финскими рабочими выгоднее, — сказал Леонид. — Не у всех каменное сердце. Найдутся люди, которые могут пожалеть пленного, и в неделю раз принести ему отбросов из дома — не трудно. — И предложил Ивану самовольно перейти работать на пилку дров к подросткам. — Кому хочется целый день таскать ненужные доски? Надеяться на то, что прохожий на двадцать человек раз в день кинет сигарету, и получить незаслуженные побои ...

— Да, потерять старика жалко! Таких счастливицев немного: машинист Глозанов работает в кочегарке с двумя финнами, да Мишка Громов пристроился совместно с маляром белить помещения, — сделал заключение Григорьев.

Подростки были рады приходу пленных. Они имели возможность подольше посидеть у костра, когда русские пилили дрова. Старшего мальчика звали Какко Олави, младшего — Паули Эро. Чтобы не было перебоя в напиленных дровах, Олави договорился с охраной, чтобы русские не ходили на обеденный перерыв. Охрана не возражала. Однажды Леонид сидел у костра и разговаривал с подростками; Иван подносил горбыли. Шатаясь подошел пленный Игнатъев и опустилсЯ возле костра. Лицо его было в крови, под правым глазом кровоподтек и большой синяк.

— Что-нибудь случилось? — спросил Иван.

— Одна беда сменяется другой... Не успеет забыться одно, как другое, еще худшее надвигается на нас! Вчера пришли машины из Швеции и директору привезли посылку, в которой были сигареты и кукла для дочери. Посылку сгрузили в кочегарке, где работал военнопленный Глазанов. Вечером ее не стало. Вместе с нею исчез сахар, принадлежавший кочегару: сахар в Финляндии ценился на вес золота. Глазанов разводит руками и мне может объяснить причины исчезновения посылки. Подозрение пало на русских. Немецкий часовой видел, как один русский выходил из кочегарки и нес что-то. Нас выстроили. Немец указал на меня. Меня били бесчеловечно и приказали принести посылку к вечеру. Директор объяснил, что сигареты он жертвует мне — вору, требует только куклу, но где возьму ее я ...

Игнатъев хотел сказать еще что-то, но силы покинули его, и он склонил голову на колени Леонида.

Какко испуганно смотрел то на Леонида, то на Игнатъева.

— Грязное пятно легло на пленных, — сказал Иван.

— Мы воровали, этого скрывать нельзя, но «воровали» в мусорных ящиках, на свалках то, что выбрасывали финны! Нас за это избивали. У них потерялась посылка — мы виноваты; возможно, она украдена в пути! Зачем голодному человеку кукла?

Олави понял, что Леонид чем-то недоволен и раздражен и нерешительно спросил: — Что случилось с русским?

Маевский рассказал Олаве о пропаже посылки. Мальчики поняли только то, что кто-то украл из машины куклу.

Паули оттолкнул Игнатъева от костра со словами:

— Вораста мужика, поди отсюда!

Жалостливый Какко избил Паули, дал закурить Игнатъеву, сам пошел в столовую купить для русского хлеба и картофеля. Вслед за ним убежал и Паули.

Предчувствуя грозу, Леонид принялся за работу. Мальчики возвратились вместе: Какко с бутылкой кофе и хлебом, Паули с финкой в руке; за ним Лумпас с пистолетом. Вмешательства ни с чьей стороны не потребовалось: военнопленный Игнатъев был

мертв.

Слух о пропавшей посылке распространился по всему поселку. Разговоры одни — украли русские. Больше всего недовольство выражали те, кто в своей работе не сталкивался с военнопленными, и у них складывалось мнение, что воровать способны только голодные люди.

В то время, когда финны передавали новость о пропаже посылки, Мишка — «маляр» работал на гидростанции, белил кабинеты. Станный характер был у финна, с которым работал Громов. Подобно немцам, которые называли всех русских — Иванами, финский маляр называл военнопленных — Федьками. Он приносил кусок хлеба Громову только тогда, когда выведенный из терпения называл по-русски «корова»! Ему казалось, что слово «корова» — самое сильное оскорбление, какое он может нанести русскому.

Работа не клеилась, и Мишка убежал на второй этаж «подстрелить» табак, зная, что хозяин не даст.

— Куда ходил, корова! — спросил маляр Громова, злорадно смеясь, довольный оскорбительным словом.

— Значит, принесет поесть, — рассуждал Мишка, не обращая внимания на смех маляра. — Станные люди бывают. Вот этот чухня... — и он посмотрел исподлобья на финна, — никогда не даст по-хорошему закурить. Стоит назвать меня «корова», как делается добр. Одного жаль — редко называет!

Верный своей привычке — приносит хлеб русскому после оскорбления (разумеется, сам пропустил два глотка водки), маляр забежал за ним домой, где застал сына, вернувшегося по ранению с фронта. Для него уже была известна история с куклой. Выпили вместе. Маляр повторил, что куклу украли русские.

— Сами воруете друг у друга, а сваливаете на пленных — русских!

Услышав позорные слова для финна, маляр выронил бутылку. Надо отдать должное, что воровство среди них — редкое явление, и к виновнику применяют «драконовские законы».

— Закон на вашей стороне, — продолжал сын. — Они беззащитны! Мне уже рассказали товарищи, как хромоногий кочегар открыл ключом шкаф, взял оттуда коробку с куклой и передал женщине, а сахар взял с собой. Затем пришел русский машинист и стал работать.

— Русский не виноват! — воскликнул маляр, — помочь ему нельзя, он умер...

— Нет! Его убили! — поправил сын.

— Надо передать всем, что русский не виноват! Пусть знают, прежде, чем убивать, необходимо разбираться, — и маляр

побежал в полицию сообщить о незаконном избиении русского.

За ним вышел сын. К удивлению маляра, полицейский, равнодушно отнесся к его словам, и, показывая кулак, пригрозил:

— Держи язык за зубами!

Пьяный сын поднял скандал в кочегарке. Собрались рабочие. Притащили растерявшегося хромого финского кочегара, несколько дней тому назад уволенного. Сын маляра повторил историю с куклой и сахаром. При виде разгневанной толпы кочегар признался и стал просить прощения. Нашли топор, положили правую руку кочегара на чурку, где Глазанов рубил дрова, и отрубили ему пальцы.

Прибежал полицейский, хотел вмешаться, но пальцы уже валялись среди мусора, а рабочие расходились по местам.

14. Беседы у костра.

Какко Олави не помнил родителей. Из рассказов старика, приютившего мальчика, отец был убит полицейскими во время забастовки железнодорожников в городе Тампере, а мать умерла, когда ему было три года. Сирота испытал горькую жизнь беспризорника. Сверстники в детстве презрительно называли Олави: — «Мальчик с мусорного ящика». Учиться не пришлось: не было денег. В Финляндии бесплатного обучения не существовало, хотя она и кичится своей грамотностью.

Когда подросток, старик устроил на работу, и Какко часто слышал от мастеров пренебрежительные слова.

Ему шестнадцать лет; он не по-детски серьезен. Невысокого роста и плотного телосложения, ходит твердой походкой, лишь глаза испуганно бегают по сторонам, постоянно ожидая упрёка. Нос немного вздернут, лицо веснушчатое, рыжеватые волосы, но, тем не менее, он не лишен привлекательности. Говорил он хриплым простуженным басом. Какко Олави, как заправский финн, всю зиму ходил без пальто, и в заднем кармане брюк неизменно торчал кошелек, набитый никому не нужными деньгами. На них он не имел возможности купить даже носового платка. Воротник пужеры не застегнут, из-под него видно грязное белье, — результат отсутствия материнской заботы. На ногах красные кожаные, с крючками на носках, сапоги.

Все то, что на нем, составляло богатство Какко. Встреча с Маевским и Григорьевым была его первым знакомством с русскими. Какко Олави, не в пример Паули Эро, скоро научился понимать по-русски. Леонид удивлялся способностям мальчика, который быстро овладевал разговорной русской речью.

Зима была лютая. От холода трескалась земля. По утрам мороз усиливался, и Какко в одной пужере, выскочив из барака, спешил на работу, на ходу растирая снегом побелевшие уши. Леонид издали слышал скрип снега под сапогами мальчика и подбрасывал сухие дрова в костер.

Когда Какко пришел на работу, костер был уже разведен. Пожав руки военнопленным, он придвинулся ближе к огню и спросил: — Паули не приходил?

Леонид отрицательно покачал головой.

— Лодыря мужика! — сказал Олави и достал из кармана словарь. — Пока холодно — займемся учебой! И так каждый день. Утром, пока не спадет мороз, в обеденный перерыв, в любую свободную минуту Леонид беседовал с мальчиком, изучая, Какко — русский, Леонид — финский языки.

Перед окончанием работы Какко отозвал Леонида в сторону и нерешительно сказал: — Я не спросил твоего разрешения и договорился с мастером оставаться не сверхурочные работы. Теперь нам никто не будет мешать учиться! — И Маевский крепко обнял мальчика. — Спасибо друг, Олави!

Мастер не знал, какая причина побудила Олави работать три лишних часа, и согласился. Перебоя в напиленных дровах не было; мастер был доволен, и Какко, пользуясь случаем, набросился на учебу, изучая каждое слово.

Первый раз в жизни с ним заговорили, как с человеком. Из рассказов Леонида он понимал не все, а то, что доходило да его сознания, было новым и странным, а вместе с тем интересным и заманчивым. Во-первых, ему с трудом верилось, что с ним говорит русский, который учился двенадцать лет, два года из них в институте, и не укладывалось в голове, почему он, имеющий такое образование, должен сидеть в лагере, катать тачки, быть грязным и вшивым. Во-вторых, странным казалось, что в стране, откуда военнопленный, все равны, всем открыта дорога в жизнь, что там его никто не имеет права ударить, а у них — законное явление — бьют не только детей, физическая сила применяется и к рабочим. И каждый раз после таких бесед он уходил домой взволнованный и всю ночь напролет думал о рассказе военнопленного.

Прошел месяц сверхурочных работ, и Какко научился петь песни. Любимой его песней была: «Шли по степи полки со славой громкой»...

Леонид с Иваном приходили на работу раньше, чем мальчики. Однажды они сидели у костра, ожидая прихода подростков. Леонид услышал знакомый грудной голос Олави. Он пел: «Ехал на ярмарку, ухарь купец». Леонид понял, что Олави для изучения разговорной русской речи пользуется не только его услугами, а еще кто-то помогает ему, так как он никогда не учил его песни, которую слышал сейчас.

Какко не оставался в долгу перед русскими, он приносил поесть и давал табак. Когда он подошел к костру, Леонид заметил, что он не в настроении: лицо его было печально. Олави сел возле костра и долго молчал. Четверть часа просидел он молча, затем достал сигареты и крикнул: — Леонид ... Иван: ... — курить! Паули выключил мотор, и все уселись возле костра.

— Что нового? — спросил Иван.

— Очередь дошла и до меня, принесли повестку о призыве в армию. Работать я буду после обеда, а с утра заниматься военной подготовкой.

Пленных передали Паули, который был зловерден и ленив,

никогда не работал сам, заставляя русских. Чувствуя себя хозяином, сидит у костра и понукает: «Русса, работамо — сатана!

С нетерпением ожидали русские гудка на обеденный перерыв. После двенадцати часов приходил Олави, и Паули, побаиваясь его, принимался за работу. Не трогал русских. Сколько не приезжал дед за дровами, видит, что работают только русские. Он поймал Паули за ворот куртки и долго бил палкой. Приговаривая: — Русских нельзя заставлять работать и бить: они не виноваты!

Паули вырвался и убежал. Пришел через час со своим отцом. Он обвинил русских в том, что они хотели его зарезать. Дед объяснил отцу Паули, что бил он его, а не русские, и мальчику снова попало, на этот раз от отца. С тех пор Паули возненавидел русских сильнее и искал причины, чтобы выместить злобу.

Дед любил Леонида, как сына, и каждую субботу давал ему по пачке сигарет или табаку. Случалось, приносил в воскресенье в лагерь и за баней передавал через проволоку. Русскому, получающему пять пачек табаку в месяц (кроме того Леонид днем курил табак старика) мог позавидовать не только рабочий, но и любой солдат финской армии. Во время работы Леонид отказывался от угощения, показывая, что у него своей есть, дед обижался и говорил: — Будешь свой курить в бараке, а здесь положено мой».

Раз у Маевского при обыске отобрали пачку сигарет и хотели обвинить в воровстве. Дед устроил скандал и грозил побить начальника лагеря. Солдаты не осмелились оскорбить семидесятилетнего старика, у которого четыре сына были на фронте и больше не отбирали табак у пленного.

Через несколько дней после ссоры из-за табака дед пришел на работу без лошади пьяный; слезы катились на бумагу, которую он держал в старческих руках. Леонид не мог понять причины. Иван предположил, что старика уволили из-за них.

Подъехал на лошади Какко и объяснил:

— У старика на фронте погиб сын, а второй лежит в госпитале в городе Оулу. Он бросил работу, передал временно лошадь мне, а сам едет к раненному.

— Изменится ли отношение старика ко мне? — спросил Леонид.

— Не знаю! — ответил Какко, качая головой неопределенно.

— Думаю, что изменится! — закончил Иван.

Вскоре вернулся дед, Сын умер, но отношение к пленным не изменилось. В смерти сына он обвинял немцев. Показывая на немецкий барак, стоявший недалеко, он сделал из палок сооружение, похожее на виселицу, и произнес: — Их нужно

вешать! — и запретил Леониду близко подходить к ним, брать что-либо от немцев и пилить для них дрова.

За этот короткий промежуток времени, когда отсутствовал старик, учеба Какко Олави продвинулась намного вперед. Этому способствовало то, что он перепоручил лошадь Паули, который охотно принял на себя обязанности развозить дрова, и у него весь день был свободен.

Двенадцатичасовая тренировка разговора на русском языке давала свои плоды. Когда Леониду сало известно о скорой разлуке со своим учеником, он переменял характер бесед. Какко это понял и старался воспринять главное — цель дальнейшей жизни.

— Олави, настало время расстаться нам! — И чтобы утешить мальчика, Леонид поспешил добавить:

— Ничего не поделаешь — война! Давай лучше поговорим по серьезному. Что ты будешь в армии?

— Не знаю! — ответил Какко.

— Получишь винтовку, тебя пошлют охранять военнопленных и ты будешь так же строго относиться к нам — бить!

Какко отрицательно покачал головой.

— Положим не меня, мы с тобой друзья, а других русских, — Леонид замолчал, ожидая ответа.

— Я уйду в Россию!

Леонид ожидал такой ответ, так как стремление Какко сдаться в плен к русским и жить в России, были для него наиболее заманчивыми.

— Положим, ты сложишь оружие, но от этого положение не изменится: война будет продолжаться, люди будут убивать друг друга.

— Надо, чтобы и другие бросили оружие! — решительно заявил Олави.

— Откуда они знают, что нужно бросить воевать? — задал вопрос Леонид.

— Им необходимо рассказать, — ответил Олави.

— А кто же расскажет, если все, кто не желает воевать, сдадутся в плен?

Какко задумался. Он понял намек Леонида. И после недолгого молчания спросил:

— Ты хочешь, чтобы этим занялся я?

— Почему бы и нет?

— Я подумаю. На сегодня довольно, поговорим еще завтра. Сейчас доедем с Паули до столовой и зайдем ко мне.

Ясность мыслей, простота речи и сила убеждения Леонида заставила крепко подзадуматься Какко над своим положением.

Он был согласен с русским военнопленным, но не знал, с чего начать.

Паули пошел выпрягать лошадь, Какко завел Леонида в свой барак. Нищета и грязь бросились в глаза Леониду. Голые нары — постели нет. Грязный стол, не покрытый даже бумагой. За ним сидели несколько человек и пили прямо из горлышка бутылки водку. Пить из горлышка — обычай финнов. Хлебнув глоток, затягиваются дымом папиросы, передают бутылку другому и ожидают очереди, когда она вернется снова.

Среди них сидел пьяный Лумпас. Он с удивлением смотрел на русского и не мог понять, каким образом оказался здесь пленный, и вопросительно поднял брови. Леонид, видя недоуменный взгляд, показал на Какко, который подтвердил, что русский пришел с ним, и ему нечего беспокоиться.

Рабочие пригласили русского выпить. Леонид отказался. Лумпас принес стакан, налил водки и подал пленному. Леонид категорически отказался, и Лумпас с жадностью выпил сам. По просьбе Какко Леонид выпил немного с ним. Пьяный Лумпас полез к пленному целоваться, бормоча непонятное. Из его слов рабочие узнали, что перед ними русский, на котором в новый год катался Лумпас и просил у него прощения.

Утром, на разводе они встретились. Лумпас отвернулся, видимо, вспомнив, что унижался перед оборванцем — русским; он не мог понять, как это могло случиться, и дал команду: Маевского на работу не выводить.

Леонид пожалел, что больше не увидит мальчика. Перед отправкой Маевского в другой лагерь, Какко пришел в кочегарку пьяный. Глазанов подметал пол.

— Здорово товарищ! Где можно отдохнуть и выспаться?

Глазанов с удивлением смотрел на мальчика. Размахивая руками, не договаривая многих слов, коверкая их, Олави стоял в позе оратора перед Глазановым и говорил, стараясь вылить наружу всю боль, которая накопилась у него на душе за недолгую, но трудную жизнь.

— Почему вы сдались в плен? Политруки учили вас и говорили правду! Вы убедились, но ваше самолюбие не позволяет вам признаться, — так начал речь Олави — (слова заученные из споров Леонида с пленными возле костра, которые слушал он).

— Политруки не плохи! Колхозы не плохи — плохи вы!

Подняли руки и сдались в плен! Я знаю, что многие из вас, даже большинство, сдались не добровольно — это не ваша вина! Но я спрашиваю вас, почему вы не бежите? Леонид все равно убежит, он не боится: я это знаю! Ты спросишь, почему я так говорю: я не хочу воевать и быть калекой ради того, что Гитлер

хочет завоевывать Россию! Какая мне от этого польза? У меня нет ни отца, ни матери, но есть Родина — я люблю ее, но я не хочу воевать за нее потому, что она с Гитлером и фашистами. Я не люблю ее такой, какой она есть сейчас: ее топчут немецкие сапоги.

Глазанов хотел прервать его, но он, заметив, замахал руками: — Ты думаешь, я пьян? Нет! Я уйду к русским, чтобы сражаться против Родины, и вернусь, когда она будет новой, счастливой, как и ваша ... Нет, это слишком легкий выход из положения, я должен найти другой выход.

Из всего того, что усвоил Олави от русского, ему казалось, что он познал мир. И спроси его, он может ответить на все вопросы, вызывающие беды социальной и экономической жизни в стране. И жизнь для него не заключается больше в трех глотках водки, после которой кружится голова от опьянения, а утром болит, и необходимо опохмелиться. Он знал, что многие рабочие, которых раньше не замечал Олави, думают так же, как и он. Война для них была пагубна, они не хотели ее и протестовали против нее всем своим сердцем и смотрели на нее, как на социальную несправедливость: нажива и прибыль одних и гибель других.

Олави хотел сказать много, но не хватило запаса слов, и он закончил словами:

— Покажи мне место... Я хочу спать... Передай привет Маевскому и вот эти вещи... Я понял его и знаю дальше цель жизни!

Он свалился в угол на старый брезент и уснул детским, невинным сном.

15. На строительстве плотины.

Переводчик Иванов был из тех людей, которые не любят вспоминать о своей прошлой деятельности и не думают о будущем, не помня вчерашних событий, не прислушиваются ни к каким мнениям, не задумываются о последствиях своей работы, а живут сегодняшним днем и никогда не забывают личной обиды.

Привилегия карелам — переводчикам в плену большая. Они не чувствуют того угнетающего положения, нависшего над пленными во всех лагерях Финляндии. Иванов всеми силами старался войти в доверие к охране, не считаясь с интересами других. Не чувствуя поддержки со стороны отдельных начальников, для которых он был тоже пленным, Иванов устремил все взоры на часть охраны, наиболее враждебно настроенную к русским. В Никеле и Янискосках он был только переводчиком, выполняя распоряжения дежурных и солдат. Хозяином положения он почувствовал себя в Нискокосках — лагере, расположенном в восемнадцати километрах от «Заячьих порогов», куда была переброшена небольшая группа военнопленных. Он совершенно отстранился от пленных, душой и телом предался врагу и выполнял по его указке все грязные и подлые работы. Перед военнопленными предстал тип определившегося предателя по убеждению. Иванов больше не жил с русскими, а поселился вместе с охраной, натравливая против пленных финнов.

Семь десятков военнопленных занимали одну половину барака — десять финских солдат другую. Через стенку хорошо слышен разговор Иванова.

Пленные на строительстве плотины, которая должна поднять уровень воды перед гидростанцией, дающей энергию заводу, который спешно монтировался, и с минуты на минуту должен был вступить в строй. В лагере полный хаос. На работу выгоняют, когда вздумается Иванову. Он не считался ни с чем: ни с тем, что люди только что пришли и не успели поесть, ни с больными и раздетыми. Раздается свисток, и вылетаешь из барака в строй. Не успеешь проскользнуть мимо него незаметно — получишь удар плетью. В строю не разбирают, отсчитывают нужное количество и гонят на работу. Производились срочные бетонные работы. Военнопленные работали в три смены. Сильные морозы подгоняли в работе. Необходимо спешить: не успеешь — бетон прихватывает морозом и приходит в негодность. Труднее всех приходилось тем, кто подносил воду к бетономешалке. Там бьют больше. Тело и руки ноют от напряженной работы,

останавливаться нельзя: обувь и полы шинелей обледенели. Просушиться негде, да и нет времени. Увильнуть от работы нельзя: пленные следуют один за другим.

Если кто уйдет, вся тяжесть ляжет на товарища, который идет впереди или сзади. Иванов безжалостно избивает. Он знает всех наперечет и ставит на трудную работу того, кто не понравился или не угодил ему. Мастера руководят работой. Расстановка рабочей силы поручена Иванову.

Громов и Леонид подносят воду к бетономешалке. За весь день нет возможности переброситься словом. Рабочие пьют кофе. Небольшой перерыв. Пленные бегут к печам и, прислонившись к ним, стараются обогреться и подсушить промокшую одежду. В это время не до разговоров.

Григорьеву немного посчастливилось. Он топит печи; работа не трудная и в тепле. Услужливо предлагает теплое место финнам, получая от них папиросы и табак, но больше не предлагает закурить своему другу. На табак выменивает хлеб и суп: бережет здоровье. Все делает тайком от Леонида — стесняется, Леонид был его командиром.

Мучительно медленно тянется время. Громов до точности подсчитал, сколько раз нужно сходить за водой до перерыва. Неожиданно бетономешалка остановилась. Причину знает только Рогов — виновник аварии, да Леонид. Он по совету Леонида бросил в указанное место ключ, предполагая, что это вызовет тяжелые последствия. Так и случилось. Забегали мастера и рабочие. Пришел инженер. Тщательно осмотрел выведенную из строя бетономешалку, объяснил причину аварии небрежностью слесаря и распорядился топить сильнее печи, кока ремонтируют машину.

Был ли умышленный поступок, или они руководствовались одним стремлением отдохнуть, пока не работает бетономешалка, никто не знал.

Иванов заявил открыто: «Умышленное дело чьих то рук!» Сказанному не придали значения.

— Слышишь Леонид, что говорит Иванов? — спросил Громов, бросая ведра в сторону.

— Слышу!

— Кто по-твоему мог это сделать?

— Спроси у того, кто это сделал!

— Все ж — таки интересно!

— Какое нам дело до того, кто испортил бетономешалку. Пойдем к Николаю, погреемся!

Раздраженного тона Громов от Маевского не слышал за весь период пребывания в плену и решил, что у него нет настроения

разговаривать, и не стал допытываться.

Укрытым местом, где можно было греться и сушиться, была кузница, в которой работал Солдатов. После первой порки, полученной в Никеле, он не дружил ни с кем и держался стороной. Ему принесли срочную работу, но он не особенно торопился с выполнением заказа. Мастер своего дела не проявлял ни малейшего желания к подневольному труду, если он не приносил ему выгоды, и работал из-под палки. Еще в Лахти он привязался к Леониду, но после злополучного случая отшатнулся. Встречались редко, как будто бы не знали друг друга.

Николай отличался от кузнецов других смен тем, что не выгонял товарищей из кузницы, как делали другие, они боялись Иванова и мастера. Солдатов не боялся потерять теплого места и всегда предлагал удобный уголок для сушки мокрой одежды и усиленно раздувал горны. Иванов не любил Солдатова, пытался убрать из кузницы, объясняя мастеру, что он «худой мужик». Мастер наотрез отказался исполнить просьбу переводчика: все сложные работы выполнял Николай.

Указав место Громову, где можно поудобнее пристроиться, он не спеша принялся за работу.

Финны с восхищением смотрели на широкоплечего кузнеца с Горьковского завода, сумевшего сохранить силу. Он уверенно бил молотом, не обращая внимания ни на рабочих, ни на своих — русских. Искры градом сыпались из-под молота, освещая бородатое лицо. Борода у него росла неимоверно быстро. Он не успевал бриться и с бородой казался намного старше. Стоило сбрить бороду, как, крупное, чистое лицо без единой морщины, правильный нос и светло-карие глаза делали его молодым и привлекательно-красивым. Взгляд у него был суровый и пронизательный. Он не умел смеяться.

Финн, который принес деталь, объяснил Леониду, когда она будет готова, он должен ее забрать и принести ему, а сам ушел в барак поесть.

Леонид с Громовым вывернули карманы и аккуратно высыпали на бумагу табачную пыль. Солдатов заметил это, жестом руки показал на кисет, который лежал на окне, и все трое закурили.

Николай курит редко — только с товарищами или с финнами, когда они угощают. Если Леонид никогда не просил закурить или докурить, а променивал пайку хлеба на табак, то Солдатов никогда не выменивал на табак хлеба при всех своих возможностях.

Согревшись, Громов заснул и не слышал, как ругался Иванов: — Вот где лодыри! Их ищут...

Подымайтесь! На работу! — и пнул Громова — А тебе, кузнец, сколько раз буду говорить — не пускай русских, а то знай — разделаюсь...

— Они принесли деталь и дожидаются, когда я закончу. Закончу, заберут и уйдут!

И, не обращая внимания на ругань переводчика, застучал по наковальне, в такт посвистывая.

Иванову хотелось подойти и ударить по лицу пленного, который осмелился противоречить ему, но вспомнил, что Солдатов выполняет срочную работу, побоялся. Постояв, хлопнул дверью и вышел с надеждою, что рано или поздно Николай не уйдет от наказания. Громов спросонья не мог понять, что было нужно Иванову: бетономешалка не работает, а он все же гонит на работу.

Леонид стоял у окна и пристально смотрел в темноту. Звезды мерцают в небесах. Кругом тихо. Изредка раздается сухой треск льда, и снова все замирает.

В окно отчетливо был виден силуэт плотины, наверху которой мелькали человеческие тени, а за плотиною, в ночной мгле, горели электрические лампочки, освещая колючую проволоку, за которой томились люди.

Солдатов бросил деталь в корыто, прибавил воды и подошел к Маевскому.

— О чем задумался, дружище? Душа болит что ли?

Леонид не ответил. По грустному выражению его лица Солдатову стало понятно, о чем думает товарищ, и он поспешил добавить: — Я понимаю тебя без слов! От одной мысли, что в плену, сердце обливается кровью. Обидно, что ничем не можешь помочь Родине, а здесь скотина Иванов издевается над тобою и не считает тебя за человека... А служили мы с ним вместе. Я кадровик — он из запаса.

Солдатов замолк. Он вспомнил пережитые трудности в плену. Во многом был виноват переводчик Иванов. Солдатов считал, что переводчик нанес ему много незаслуженных оскорблений, поэтому после минутного молчания он со злостью произнес:

— Клянусь, если он мне сделает еще одну пакость, я разобью ему голову, а сам брошусь с плотины! Лучше умереть, чем унижаться!

Маевский в это время думал о другом. Довольно мучиться, страдать, переживать: одними мыслями Родине не поможешь. Пока нет возможности бежать, нужно создать группу из надежных товарищей и заняться вредительством. Уничтожать все, что возможно. Услышав заключительные

слова Николая, Леонид неожиданно повернулся, в упор

посмотрел на Солдатова и, тяжело вздохнув, тихо сказал: — Николай Алексеевич! Кто пожалеет тебя? Я — никогда! Малодушных не люблю! Нужно жить Николай, и работать так, чтобы вернуться на Родину с чистыми глазами.

— Как именно? — спросил Николай.

— Работать так, чтобы ключи в шестерню попадали неслучайно ...

У них не только ключ, — перебил его Солдатов, — голова может попасть в машину. Они не разбирают, что где кладут. Бросят в одном месте, а ищут в другом. Жаль, что ключи не съедобные, а то, наверняка, в пропаже обвиняли бы русских.

Леонид остался доволен, что Николай его не понял, вспомнив поведение Солдатова в последнее время.

Громов уже проснулся; и размышляя о случившемся, отчетливо представил себе, как Леонид бросает ключ, убедился, что авария дело его рук, потом ясно вспомнил и другой случай.

В Янискоски монтировали турбину. Шлюз закрыт. Внизу, на реке, финны углубляют русло...

Вдруг они с криком бросились врассыпную: вода потоком хлынула на них, и за ночь все покрылось льдом. Целую неделю пришлось скалывать его, чтобы очистить русло реки. Вся предыдущая работа сошла на нет. Ему тогда показалось, что около шлюза был Леонид, и он подумал, что это работа его, но Громов застав Леонида у костра, как всегда, мирно беседующего с Какко Олави. На лице не было тени испуга или волнения, которые могли бы вызвать подозрение, и Громов решил тогда, что ошибся.

Размышления Громова прервал Леонид.

— Пора собираться домой, — сказал он, — светает. Опоздаем к построению, получим взбучку от Иванова.

Мысль о вредительстве у Громова зародилась неожиданно. Привести ее в исполнение он колебался, все медлил, ища удобного случая вызвать Леонида на откровенный разговор. И думал об этом весь день.

Вечером подвернулся удобный момент, и Громов заговорил, но Леонид только улыбнулся и, наконец, делая вид, что не понимает, махнул рукой и стал собираться на работу. Помпа не работает в течение ночи. Вода поднимается. Пленные ведрами передавая, их друг другу, откачивают ее из водохранилища. Она не убывает. Люди, обледенелые, обмороженные валятся от усталости.

Снова вода, вода... Когда будет конец! Есть ли предел человеческим страданиям в плену! Мастер как угорелый носится из стороны в сторону, ища специалиста, чтобы исправить ее.

Солдатов и Иванов с мастером подошли к Леониду. Николай ругался, а Иванов переводил мастеру:

— Пойми Иванов, я кузнец, сковать деталь, даже приклепать голову на другой бок кому-либо могу, но что могу поделать с проклятыми насосами ... Пожарником не был!

Слова Солдатова о голове Иванов принял на свой счет и сердито произнес: — Я тебе самому сверну голову на другой бок. Солдатов сделал гримасу, криво улыбнувшись, злобно плюнул, отвернулся в сторону и заметил Леонида.

— Эй, морские силы, выручайте! Они не могут понять, что пожарник и кузнец — разные специальности.

Мастер показал пальцем на Леонида и спросил Иванова, о чем говорит кузнец с этим оборванцем. Внимательно выслушав переводчика, он распорядился вместо Леонида поставить другого, а его забрать с собой.

Когда они скрылись в темноте, Громов подумал: «Он избавился от мучительной работы». И в ту же минуту получил оплеуху от Иванова и принялся за работу.

Солдатов на ходу объяснил Маевскому, что мотопомпа, которая откачивает воду, скапливающуюся у плотины, вышла из строя. Две другие малой мощности не успевают откачивать.

Подошли к будке, построенной на льду, и поднялись по лестнице. Леонид впервые увидел картину громадного строительства. Он здесь не был раньше и определил, что судьба плотины зависит от машины, которую он пришел ремонтировать. Скапливающаяся вода может хлынуть через верх, и строительство затянется на долгое время. В лучшем случае, если вода замерзнет, разлившись по всем закоулкам, лед можно скалывать. Вопрос был в том, смогут ли выдержать напор воды верхние надстройки, где еще не успел взяться бетон, а местами не связана арматура. Позднее Леонид убедился в бессилии воды уничтожить плотину, но сейчас, казалось, есть возможность помешать планомерному строительству.

Всего было три водооткачивающих мотопомпы: две на плотине, третья, самая мощная, пристроена прямо на льду возле плотины с северной стороны.

На верху плотины спешно строилась опалубка, и пленный русский слесарь — арматурщик Гурьев оскорбительными словами кричал на финнов; его резкий голос доносился до Маевского.

— Эй, вы, веселые нищие, пошевеливайтесь! Корвики (кофе-суррогат) сегодня нет! Учитесь работать у славян!

— В другое время за грубое обращение, — сказал Солдатов, осматривая мотопомпу, — его спустили бы вниз головой с плотины.

— Это было бы законным явлением! — воскликнул Леонид.

— Да, но сейчас старший мастер не жалеет кулаков, подгоняя ленивых финнов.

— Чувствуя поддержку мастера, Гурьев вымещает всю накопившуюся злобу на рабочих, не подумав о последствиях, — хорош, пока нужен!

— В этом ты прав Леонид, а каково твое мнение о машине?

Леонид бросил взор на машину и покачал головой.

— Не поднимается рука Николай. Отремонтировать пустяк, но у меня есть убеждение — не приносить пользу врагу. Пусть меня расстреляют — я не хочу, чтобы мой труд явился вкладом в работу, которая принесет вред моей Родине. Наоборот — могу!

— О том, что будет польза для врага, — это факт, но ты обеспечишь свое положение и спасешь товарищей от напрасной и трудной работы носить воду ведрами, а потом, все равно не ты, так другой отремонтирует. Была бы шея — хомут найдется! Не будет этой работы, русских пошлют на другую, не легче, чем воду таскать. — Леонид вышел из будки, не сказав ни слова.

— Смотри, тебе жить! — сказал Солдатов и направился к тем двум насосам, которые, еще стуча моторами, медленно откачивали воду. Леонид таскал воду и все время думал, как ему поступить. Наконец, убедившись еще раз, что вода не может принести большого вреда постройке, бросил ведра в сторону и, не обращая внимания на протест финна, пошел в кабинет старшего мастера.

— Я отремонтирую машину и пущу вход, если разрешите военнопленным взять выброшенный картофель. Мне будет помогать финн и делать то, что я скажу. Мастер переспросил, о каком картофеле идет речь.

— Неделию тому назад, — пояснил переводчик Иванов, — за баракom из столовой выбросили машину порченого картофеля, и русские (он не причислял себя к ним), возвращаясь с работы, набрасываются на него и на ходу набирают в карманы.

Иванов скрыл, что за найденный картофель, русскому при входе в барак, если он не успел съесть его мерзлым, выбивали зубы. Мастер дал согласие, предупредив охрану.

— Да и к лучшему: русские уберут лишнюю грязь! — смеялся он, когда остался наедине с начальником лагеря.

Утром пленные возвращались с работы и набирали попутно картофель. Приготовили завтрак. В бараке было шумно. Военнопленные спорили из-за печи и посуды: каждому хотелось сварить быстрее. Громов ожидал Леонида. Его задержали на работе. Громов поставил котелок на печь, чтобы не остыл картофель, собирался прилечь отдохнуть. Растворилась дверь

барака, и на пороге показался Леонид.

Михаил не узнал его. Шуба и валенки придали ему другой вид; с любопытством разглядывали пленные Леонида. Как не завидовать: у многих от солдатских шинелей остались одни ключья. Леонид поймал на себе десяток завистливых глаз...

Есть отказался. Бросил пачку сигарет и буханку хлеба на стол, разделся и лег на нары, но тотчас приподнялся, сел на край и пристально глядел, как руки пленных потянулись за сигаретами. По мере того, как руки приближались к сигаретам, лицо Леонида меняло выражение и становилось угрюмее. Неожиданно он закричал и спрыгнул с нар, схватил сигареты и бросил в печь. В это время Леонид был похож на финна, который вырывал у него окурки и бросал в костер. Пленные с сожалением смотрели в печь и на стол, где только что лежала пачка заветных сигарет.

— Лешка-моряк продал совесть за пачку сигарет. Слышите! — крикнул он — Я не хочу, чтобы вы курили. Лучше, как нищему, выпрашивать окурки, чем курить «преподнесенные» за услугу.

Он лег на нары и заплакал. Солдатов сочувственно смотрел на него. Он впервые увидел, как человек, выдержавший пытки без единого крика и слез, плачет без всякой на то причины; по крайней мере, так казалось Солдатову. Пленные по-разному объяснили его поведение. Многим приходилось сталкиваться с таким явлением, когда люди, помогая финнам, получали за услугу кусок хлеба или табак, не испытывая ни малейшего угрызения совести. Поэтому мучения его были непонятны для некоторых, а уничтожение сигарет казалось странным. По их мнению, он оказался счастливее всех. Только Иван Григорьев, хорошо зная характер Леонида, понимал происходившую в его душе борьбу, его мысли. Всхлипывая, Леонид вздрагивал всем телом.

Маевский, уткнувшись в голые нары (постельного белья не полагалось), сотни раз передумал случившееся. Он согласился отремонтировать помпу затем, чтобы получить доступ к откачивающим воду машинам. Но когда пришел в барак, ему показалось, что пленные смотрят на него с насмешкой и презрением. В душу вкралось сомнение: он поступил неправильно.

«Ничего, когда строительство зальется водой, а плотина покроется сплошным льдом, тогда они узнают мои настоящие цели», — успокаивал он себя.

— А если план сорвется, тогда что подумают обо мне ... На меня будут показывать пальцем и упрекать! — говорил он.

Душевные противоречия, расшатанные нервы, отсутствие поддержки со стороны, вызвали большие сомнения в правильности действий.

Утром шли на работу. Громов обратил внимание на Маевского. Он как-то сразу осунулся, под глазами появились синие мешки, сгорбился, постарел.

«Трудный путь в плену медленно истощил его силы!» — заключил про себя Громов. Не стало больше веселого, всегда улыбающегося матроса. Волоча ноги, сутулясь, он избегал смотреть в глаза своим друзьям. Молча, без пререканий, и с охотой пошел на свою новую работу.

— Я вижу как на моих глазах портятся лучшие люди, — говорил Рогов — И Лешка не выдержал, покати́лся ... покати́лся по наклонной плоскости — в пропасть: на него я надеялся как на каменную гору.

«— Упреки начинаются», — подумал Маевский, заметив, как Рогов презрительно плюнул в его сторону.

16. Он должен жить!

После разлуки с друзьями, Шаров затосковал и чувствовал себя растерянным и затерявшемся в аду человеческих мучений. Канава забрала последние силы. Один за другим умирали товарищи, и каждый раз Мецала, провожал покойника до могилы, сочувственно глядел, разводил руками, чувствуя свое бессилие помочь военнопленным. К новому году Шаров ослаб и не мог двигаться, ползал, и со дня на день ожидал голодной смерти. Чем ближе была смерть, так казалось ему, тем сильнее хотелось жить, бороться за свое будущее, вырваться на родину. И он не впадал в отчаяние, продолжал цепляться за жизнь.

Не лучше дело обстояло у тех, кто ходил на работу. Силы постепенно таяли, а мороз подгонял в работе. Осенью военнопленные варили траву и мох; выпавший снег забрал у них последнюю надежду на спасение, а конца войны не было видно.

Михаил шел к своему приятелю и почувствовал необычайную слабость в теле. И, когда ему ответили, что Иван ушел зарабатывать 50 грамм хлеба, он не пошел обратно, а прилег на его место.

Тульский вернулся с работы вечером. Щеки Ивана были обморожены, но он, не обращая внимания, быстро разделся и побежал в столовую получать дополнительное питание. Вернувшись, заметил Шарова.

— Так вот, Михаил, какие дела! За пятьдесят граммов хлеба в выходной день нанимают пилить дрова! Дешево платят финны, но ничего не поделаешь!

Тульский открыл крышку котелка, разломил кусок хлеба пополам и предложил Михаилу.

— Спасибо, Иван, — сказал Шаров, — ешь сам. — Я на работу не ходил.

— Не дури, Михаил, бери и ешь! Предлагает тебе не кто-нибудь, а друг!

«— Я поступил так же бы, как Иван», — подумал Шаров, но, вспомнив, каких трудов стоило Тульскому дополнительное питание, отказался.

Как ни уговаривал Тульский Шарова, Михаил хлеба не взял. При виде хлеба разгорался аппетит, и Михаил чувствовал, промедли минуту, он поддастся соблазну взять у товарища последнюю крошку.

— Иван, я ухожу из жизни, — начал Шаров, — и то, что не смог сделать — остается на твоей совести. Работа в проклятой

канаве подходит к концу. Несомненно, вас переведут на завод. Вы должны приложить все силы, чтобы помешать нормальной его работе. Для этой цели у меня была создана группа. Сейчас в ней не осталось почти никого. Одних увезли полуживыми на юг, другие — умерли, третьи — на очереди. Если мне не изменяет память, нормально чувствует себя только Яшка Филин...

Но это не беда, все военнопленные пойдут за нами, их нужно только возглавить. Тот, кто переживет этот кошмар, никогда больше не пойдет на удочку Максимовых и Васильевых(Пановых и Барановых)... Вот все, что я тебе хотел сказать Иван! Да, чуть не забыл, я не отомстил за своего друга Леонида Маевского, расстрелянного палачами.

Иван помог дойти Шарову до своего места и вышел из барака. Нигде ни звука; только на небе играли зарницы северного сияния. Безмолвие царило вокруг.

— Я клянусь ... Клянусь тебе, Михаил! Вам, товарищи, кто без всякой почести похоронен врагами! Вам, товарищи, сражающиеся на фронте за свою родину! Шаров будет жить для родины. — Я не дам погибнуть ему!

Тульский был полон решимости принять все меры к спасению товарища... Мозг его лихорадочно работал. Когда он выходил из барака, у него не было другой мысли, как украсть хлеб из столовой военнопленных, взломах для этого замок, но заметив пленных, рывшихся в помойной яме, хотя там нечего было взять, от их пищи не существовало отбросов, Тульский передумал: — А они тоже хотят есть! Украсть хлеб для одного и оставить голодными многих! Нет, так дело не пойдет!

И перед ним встала трудная задача, но Иван не думал отступать, когда дело коснулось жизни его друга.

— Если обратиться к переводчику Пуранковскому? — и Тульский ухватился за эту мысль. — Но это значит — балтийский матрос будет унижаться перед финном, просить кусок хлеба... Шаров должен жить — я не для себя! Нет! Просить нельзя! Требовать! А если он не поймет меня и примет за унижение ... Тогда ... Тогда я убью его! И пусть мою порцию отдадут Шарову.

Тульский решительно подошел к воротам и крикнул часовому:

— Позовите финского переводчика!

Владимир сидел у начальника, когда ему сказали, что его не просят, а требуют военнопленный. Накинув шинель на плечи, Пуранковский пошел в зону. Немного погодя, пришел и Мецала.

— Переводчик, вы — русский? — спросил Иван.

— Да! — ответил Владимир.

— В бараке умирает военнопленный! Если у вас сохранилась

хоть капля русской крови, вы спасете его от голодной смерти! — Голос Ивана был тверд, и Пуранковский понял, что стоявший перед ним со сжатыми кулаками скуластый и некрасивый пленный не просит, а требует спасти жизнь здорового человека, попавшего в беду, а беда была у всех одна — голод.

— Кто он? — спросил Пуранковский.

— Русский! — все также твердо ответил Иван.

— Коммунист? — переспросил Пуранковский и задумался.

Мецала все время спрашивал переводчика, о чем говорит военнопленный.

— Я доложу начальнику. Они примет меры.

— Я ожидал, что у вас не хватит смелости спасти коммуниста, хотя вы и заигрываете с военнопленными, делаете вид, что сочувствуете им.

Владимир почувствовал, как его лицо загорелось от стыда и подумал:

«Хорошо, что на улице темно, и военнопленный не заметил, что я покраснел».

— Если вы не можете спасти человека, — продолжал Иван, — тогда убейте меня: вам не привыкать! Мою пайку отдайте ему. Я коммунист! Иван стукнул себя в грудь. — Я коммунист!

Владимир перевел начальнику, что русский просит его убить, чтобы спасти товарища, умолчав, что он коммунист.

— Ой, сатана! Сатана! — крикнул Мецала и поспешил в барак.

Шаров, сидя на нарах, закрыл глаза. В его памяти стоял маленький кусочек хлеба, который не хотел взять он у товарища. Михаил хотел отогнать неприятную мысль, но хлеб в его воображении вырос из маленького куска в большую гору, и он кричал: — Кушайте, друзья! Хватит для всех! Кушайте! — И он разбросал по сторонам крошки от пятидесяти граммов хлеба Тульского, которые Иван положил ему в руку. Когда ничего не осталось, Михаил начал шарить руками по нарам.

— Вот здесь лежал хлеб! Где он? Ах, забыл, что я раздал его вам, товарищи! Но здесь еще есть, — и он лез в угол, ощупывая нары. Рука его натолкнулась на газету, и Михаил изорвал ее в клочья, и, сделав «козью ножку» брал в рот, зажигал спичку. Бумага горела пламенем; и когда огонь жег губы, сознание возвращалось к нему. Затем снова в бреду кричал: — Кто желает курить — подходи!

Бийская — первый сорт!

Он не слышал, как рядом ругался Мецала, предлагая через переводчика прекратить жечь бумагу.

— Русский, — кричал Владимир, — перестань жечь бумагу:

пожар наделаешь! — И осветил фонарем лицо военнопленного. Лучи ослепили глаза Михаила. Он закрыл руками лицо.

— Это тот самый военнопленный, чей разговор я подслушал ночью, — подумал Владимир, и ему мгновенно вспомнились слова: «Вот это настоящие русские. Но что сделал я, русский, чтобы помочь ему», — шептал Пуранковский. И слезы появились на глазах.

— А еще думал вернуться в Россию!»

Пуранковскому хотелось, чтобы военнопленный непременно жил, но каким образом вылечить его, он не знал и обратился к начальнику с просьбой, что военнопленный должен жить.

— Переводчик, позовите сержанта Эдриксона, — приказал Мецала. Владимир побежал выполнять приказание.

— Этот военнопленный должен жить, — сказал Мецала Эндриксону, показывая пальцем на Михаила. — Должен жить!

Сержант надел очки и посмотрел в сторону, куда показывал начальник и развел руками.

— Не могу, — сказал он, — Каким образом я смогу помочь ему?

- Предсмертная агония... Ежедневное явление...

— Что? Не можешь! — спросил Мецала и подступил к сержанту вплотную. Эндриксон попятился назад и в темноте наткнулся на спящих. Сержант был близорук и не видел лица начальника, но по интонации понял, что Мецала недоволен ответом. Эндриксон хорошо знал характер начальника и вновь возразить побоялся, а поспешил ответить: — Слушаюсь, господин начальник!

— И в то же время подумал: «Работа Пуранковского. Будет время, я разделаюсь с тобой». Для него была безразлична судьба русского, из-за которого его побеспокоили, но он знал, что Мецала не любил повторять приказание, поэтому надо принимать какие-то меры. И он разбудил санитаря. Санитар осмотрел военнопленного, почесал за ухом, зевнул и сказал: — Моя миссия закончена — пойду спать. Если хотите, чтобы русский жил, выпишите диетпитание!

— Военнопленному Шарову дополнительное питание из солдатского пайка на две недели, — сказал Эндриксон кладовщику.

— Что? — спросил он.

— Дополнительное питание, — повторил сержант.

— Не могу!

— Иди, передай Мецале, что ты не можешь! — сказал Эндриксон и вышел.

Кладовщик выбежал за сержантом в одном белье.

— Делать нечего, выпишу и на три, только не докладывай начальнику.

— То-то, — насмешливо произнес Эндриксон и направился к своему бараку.

Пуранковский был бесконечно рад, что ему удалось сохранить жизнь военнопленному. Для Михаила наступили дни душевных переживаний. Когда он немного восстановил силы, переводчик устроил его поваром в столовую. Стоило ему появиться в бараке, как он слышал разговоры: «Здесь дело нечистое. Возможно он...»

Шаров понимал, что именно возможно и не раз говорил себе: — Они думают, что я проданся врагам.

Разъяснениям Тульского о случайной помощи Шарову со стороны начальника никто не верил. Вспыльчивый Иван побил несколько военнопленных за то, что они говорили нехорошее о Шарове. И как назло Максимов распускал ложные слухи. Перед Михаилом он заискивал, старался угодить ему, а стоило Шарову выйти из барака, как он таинственно шептал: — Вот она где собака зарыта... Прошлое выплывает наружу!

Ему напомнили и то, что Шаров просился в другой лагерь, когда отправлял Маеского, но Мецала дружески похлопал его по плечу и сказал: «Хороший малый! Такие люди и нам нужны!»

Обстановка с каждым днем накалялась, и Михаил ожидал со дня на день, что его задушат ночью или убьют из-за угла.

— Если ты уйдешь с кухни Михаил, отношение к тебе не изменится. Лучше оставайся на работе и помогай слабым военнопленным, — уговаривал Иван.

Однажды ужин запоздал. Михаила вызвали помогать повару другой смены. Возле кухни столпилось много народу. Они мерзли целый час, а котел все не кипел. То и дело в дверь заглядывали военнопленные и спрашивали: — Скоро? — И Михаил слышал злые реплики в свой адрес: — Они еще не нажрались ... Съедят повкуснее и начнут раздавать...

Наконец, толпа не выдержала долгих ожиданий и ворвалась в столовую. Все спешили получить быстрее, лезли без очереди, галдели, ругались. Михаил с трудом навел порядок; появился Максимов с двумя котелками; он протиснулся вперед и крикнул: — Повар, налей получше...

— Ты чем лучше других? — спросил Михаил.

— Тебя не спрашивают, ты лучше расскажи, как попал на кухню! — огрызнулся Максимов.

Михаил почувствовал острую обиду в сердце и, может быть, сдержал бы себя, но кто-то со стороны поддакнул Максиму: — Интересно бы послушать...

— Выйди паразит отсюда! — крикнул Михаил и сжал кулаки. Максимов продолжал стоять. Тогда Шаров схватил его за воротник гимнастерки и сильно толкнул. Максимов хотел ухватиться за дверь, чтобы удержать равновесие. В это время дверь открыли, и он упал на снег.

— Вот тебе на первое! — крикнули из толпы.

Михаил взял котелки и выбросил за дверь.

— А это на второе!

— Запомни, Мишка, я тебе не прощу! — с обидой сказал Максимов, поднимаясь с земли.

— Ты еще будешь мне грозить? — крикнул Шаров и схватил черпак.

Максимов бросился бежать, но толпа, плотно окружившая столовую, мешала ему. Он делал попытку пробиться то в одном месте, то в другом, а Шаров бил его по спине, приговаривая: — А это тебе на третье блюдо...

Военнопленные были довольны, что на этот раз били Максимова, а не он порол розгами товарищей, но отношение к Шарову не изменилось: голодные люди думали, что все повара на свете — враги. А то, что поведение Шарова осталось безнаказанным, усилило недоверие к нему.

Ночью в столовую зашел Пуранковский. Михаил чистил картофель.

— Как дела? — спросил Владимир.

— Ничего, — неохотно ответил Михаил.

Переводчик сел на стул и закурил.

— Я забыл вас поблагодарить, господин переводчик, — сказал Михаил, на минуту отрываясь от своей работы.

— За что? — спросил переводчик.

— Вы спасли мне жизнь!

— За это не стоит. Я хотел бы спасти всех военнопленных, но не знаю как!

Михаил заинтересовался ответом переводчика и подумал: «Через него действительно можно помочь многим. Надо найти общий язык с ним и установить связь». Шаров протянул руку переводчику и сказал: — Михаил Шаров — будем знакомы!

— Владимир, — ответил переводчик и крепко пожал руку военнопленному. — Я всегда готов оказать вам услугу и помощь!

Всю ночь Михаил думал, какой же найти выход из положения? Каким образом помочь военнопленным? При раздаче завтрака в голову неожиданно пришла мысль.

— Стоп! — сказал он вслух, — я кажется, придумал. Он положил черпак, которым вечером был Максимова, подошел к военнопленным.

— Я кажется придумал ... Это идея — дело нетрудное ...

Военнопленные изумленно глядели на него и переглядывались между собою.

— А что, если мы будем брать отходы на финской кухне в поселке, питание увеличится? — спросил Шаров.

— Правильно! — одобрил кто-то из толпы.

— Что мы свиньи? — возразил ему другой.

— А то, чем кормят нас, разве лучше, чем у свиней? — слышались голоса из толпы.

Шаров вспомнил, что скоро будет звонок на работу и начал быстро раздавать суп. Новость мгновенно распространилась, и к Шарову обращались с вопросами:

— Скоро будет дополнительное питание?

— Обождите немного, я переговорю с начальником, — отвечал Шаров.

На следующий день он вызвал переводчика и долго беседовал с ним.

— Мецала, — несомненно, — хороший человек, но слишком гордый и вряд ли согласится ходить по помойкам и собирать отбросы для вчерашних врагов, — ответил Пуранковский.

Но гордый финн — Мецала согласился. Разгневанный директор завода не хотел слушать его, боялся, что свиньи, которым шли отходы, могут подохнуть, и выразил свое недовольство. Тогда начальник стал наряжать по пять человек, под охраной одного солдата, на немецкие свалки собирать отбросы. Вышестоящее же начальство запретило и указало ему, на то, что он дискредитирует финскую армию в глазах союзников. Мецала вторично переговорил с хозяином столовой и добился результата. Около столовой поставили ящик — помойку, куда сбрасывали отходы. Большинство рабочих, особенно шахтеров, приносили куски хлеба и бережно клали в ящик.

— Оставшиеся в живых, — говорили военнопленные, — результат заботы повара Михаила Шарова.

— А за то, что думали о тебе плохо и выбирали удобный случай задуть — прости нас!

17. Последние дни в Нискокосках.

В бараке время тянется медленно, на работе мучительно тяжело. Новостей не слышать. Шутки и анекдоты среди военнопленных слышатся реже. Газету «Северное слово», предназначенную для военнопленных, не привозят больше трех месяцев. Рабочие финны сами ничего не знают или не хотят сообщать о положении на фронте. Настроение у них упадочное. Не слышно былых восторгов о скорой победе. Больше нет веселых и беззаботных людей, какими были многие раньше. И реже реплики: «Русса капут!»

На пленных смотрят с озлоблением. Промелькнул слух: Красная Армия перешла в наступление и немцы бегут. Пленные делают догадки, что произошли очень важные события, которые не дошли до них: их скрыли от пленных финны.

Как-то утром в барак зашли два финских солдата-фронтовика. Один с перевязанной рукой, второй с перебинтованной головой и на костылях. Угостили русских сигаретами и поинтересовались жизнью. Им приходилось видеть своих врагов на фронте, но издали, а здесь стояли рядом, напротив, не испытывая злобы.

Кто-то от кого-то слышал или просто от нечего делать придумал, что немцы взяли Мурманск, и сообщение с Америкой прервано. «Мурманск остался единственной связью с внешним миром для России», — твердило непрерывно финское радио, и писали все газеты.

Финны-фронтовики с интересом разглядывали лепешки Рогова из гнилой картошки, когда в барак вошел Громов и, увидев забинтованных солдат, неосторожно произнес: — Довоевались, союзнички!

— А ты доболтаешь языком, — ответил на русском языке финн с перевязанной рукой.

Чтобы сгладить неприятное впечатление от своих слов и выйти из неловкого положения (он не знал, что солдат знает русский язык), Громов задал вопрос: — Действительно немцы взяли Мурманск?

Солдат улыбнулся и ответил: — Они взяли Мурманск так, как в 1941 году Москву.

На просьбу рассказать подробно, что произошло именно под Москвой, ничего не ответил, и ни на какие уговоры не пошел: понял, что проговорился. Он предполагал, что пленные знакомы с действиями на фронте. После ухода солдат разговоры были одни:

пока военнопленные «отсиживались» в лагерях, на Родине произошли чрезвычайно важные события.

Многие уверяли, события под Москвой сыграли решающую роль в дальнейшем ходе войны, но какую именно, осталось предположением и догадкой.

«Северное слово» все мелкие успехи немцев на фронте раздувало сенсационными сообщениями о победе немецкого и финского оружия.

Пленные читали, когда страницы всей газеты были заполнены сообщениями о «штурме Москвы», а последний номер сообщил, что падение Москвы — вопрос сегодняшнего дня. 1942 год, март месяц, но газета упорно молчит и не сообщает «причины» отхода немцев от Москвы.

От радости Рогов принялся выбивать чечетку босыми ногами вокруг печки и раздарил все лепешки. Громов не знал, как выразить чувство восторга, на конце нар сделал стойку на руках, но руки были слабые, и он свалился на голову подвернувшемуся Рогову. Драчливый Рогов в другое время не спустил бы ему, и обязательно была бы драка, но в ту минуту их охватила общая радость, и они пустились в пляс, откуда взялась у них сила?

В бараке стало тихо только вечером, за несколько часов до работы. Только потом, на Родине из газет и политбесед, проведенных с пленными, они узнали истинную картину разгрома немцев под Москвой, и какую роль это оказало на ход дальнейших событий.

От новости у пленных в душе осталась радость за Родину, и поднялось настроение. Но жизнь в плену шла своим чередом. Не проходило дня, который обошелся бы без происшествий, служивших темой споров и разговоров.

Пленный Бортманский не вышел на работу: не в силах был подняться на ноги. Угрозы Иванова не дали результата. Бортманский приподнял голову и безжизненным взором посмотрел на Иванова и подумал: «За что меня бьют? Что от меня нужно этому продажному человеку, — разве он не видит?»

Пленный неузнаваем. Лицо опухло, сделалось прозрачным, налилось бесцветной жидкостью и, казалось, должно лопнуть; ноги опухли и не лезли в сапоги. Привычный взгляд, видевший ранее худощавого Бортманского, отказывался верить, что это он. Одна ночь изменила его. Финны смеялись над ним, а он смотрел и слушал оскорбления: «О какой толстый и жирный, а работать не хочет... Дать ему плетей!»

Все знали, что причина этому — истощение организма и изнурительный, каторжный труд.

Были и те, которые обвиняли Бортманского в чрезмерном

употреблении соли и воды.

Раньше его не замечали. Вел он себя тихо и после возвращения с работы забирался на свое место и не слезил с нар до утра. Большинство рассуждало просто: организм Бортманского оказался слабее других. И каждый понимал, что всех ожидает участь Бортманского.

С каждым днем опухших с голоду становилось больше. Пленные не делали больше догадок о причинах опухания, как в первый раз, а ждали своей участи. Рано или поздно очередь дойдет и до них. Странно было смотреть, как здоровенный детина идет по полу и, чтобы перешагнуть на другую сторону балки, выступавшей в полу, становился на четвереньки, как ребенок, начинающий ходить, и переползает ее.

Начальник лагеря осмотрел всех и удивленно покачал головой. Все ожидали, что положение должно измениться. Он запретил охране воровать пайки у военнопленных. Ожидания оказались напрасными. Положение не улучшилось: охрана продолжала обкрадывать русских, а начальник запретил брать картофель на свалке. Лечить нечем и некому. В Янискосках был санитар Илья-рябой, а здесь, в Нискокосках, единственный лекарь — Иванов с резиновой плетью.

Доведенные до отчаяния, пленные на ходу хватали отбросы из немецких мусорных ящиков и в местах, где выливались помои. Попадается все: и обглоданные кости, и куски хлеба, смешанные с золою и мусором, и картофельные очистки с помоями, но больше всего остатков от немецкого кофе. Рогов принес замороженный кусок всякой дряни и не может определить качество ее. Он ходит по барaku и предлагает всем попробовать кофе. Очередь дошла до Громова. Отплевываясь, он заругался: — Принес какую-то дрянь и сует всем: отравиться можно.

— Завидуешь, — торжественно произнес Рогов, — у самого, небось, слюнки текут.

— Да, да Андрей! Он говорит, чтобы ты выбросил, а сам ночью подберет, — засмеялся Леонид, отказавшись испробовать «непонятный продукт».

— Правильно моряк! Я знаю Мишку Громова, — и Рогов показал кукиш, — не подуришь!

Многие предлагали Рогову завтрашний сахар за не большой кусок: есть хотелось сегодня. Рогов был неумолим и торжественно заявил: — Еще не определил стоимости. Многие жалели, что прокурили свой сахар переводчику Иванову. Разостлав бумагу, Рогов бережно положил свою смесь около печи, а чтобы не украли, сел рядом и вскоре заснул. Утром барак наполнился зловонием человеческого кала. Над Роговым смеялись, но и здесь

он вышел из положения, так как успел продать половину за завтрашний сахар.

«— Бачили очи, что покупали, так лопайте!» Уговор дороже денег. Рогову отдали сахар и убрали вместе.

Зима 1942 года была на редкость холодная. С наступлением весенних месяцев морозы не спали. Бетонные работы подходили к концу, но все сильнее обмерзала плотина. Насосы не успевают откачивать воду: шлюзы еще не работают. У истоков реки, возможно с вершин гор, поступает все больше воды. Плотина преграждает путь, и вода лезет вверх, замораживая ее. Положение пленных ухудшилось. Лед приходится скалывать вручную, так как мотопомпы одна за другой в строгой очередности выходили из строя. Всегда требовалось вмешательство Маевского. Авторитет его среди финнов возрос. Он свыкся со своим положением и после первой нервной вспышки стал по-прежнему спокойным.

Перемена в поведении Маевского, планомерный выход из строя откачивающих воду машин и то, что кроме Леонида ни один финский рабочий был не в состоянии отремонтировать, дало повод переводчику подозревать русского. Он следил за каждым шагом Маевского, что конечно, не ускользнуло от внимания товарищей.

Иванов был прав: планомерный выход на время откачивающих машин было дело рук Леонида. Он не знал только то, что в трудный период, когда насосы выходили из строя, за плотиной, в будке на льду, Маевский непрерывно беседовал с товарищами, и там зарождалась боевая группа.

Солдатов был один из первых, кто связал свою судьбу с Маевским. Они вместе определили задачи своей организации: «Сегодня — сорвать строительство плотины. Дальнейшая задача — организация боевой группы для руководства военнопленными, подготовка побегов и вредительская работа на производстве».

И многие военнопленные, выбиваясь из сил, откачивая вручную воду, знали, что Маевский мог бы облегчить им труд, но они молчали и в душе соглашались, и никакая сила не могла их заставить выдать его: во-первых, это было их общее дело; во-вторых, не будь этой работы, их переведут на другую.

Только один Иванов, подсчитав, что за время работы Маевского мотопомпы больше ремонтировались, чем работали, хотел отправить его на общие работы, но умышленное распускание слухов Гаврилой Быковым о продажности Маевского удерживало его, а случайный разговор Солдатова с Леонидом рассеял сомнения у предателя.

Леониду потребовалось срочно изготовить деталь в кузнице, Солдатов отказался. Маевский должен был обратиться к

переводчику за помощью.

— Иванов, — сказал Леонид, — помоги в одном деле.

Переводчик терпеть не мог, когда к нему обращались с просьбами и слова Маевского без обычного титула «господин» возмутили его. Показывая свои гнилые зубы, он пренебрежительно произнес: — Я не благодетель, тебе об этом известно!

— Конечно! Конечно! Мне известно, — ответил Леонид — кроме плохого ты ничего не сделал для нас, и просить помощи для себя не собираюсь. Твой отказ принесет вред не мне, а тебе и всему производству. Если через час соединительные кольца к шлангам не будут сделаны, последняя мотопомпа выйдет из строя, а я как-нибудь без твоей помощи сумею объясниться с мастером.

— Не пугай! — ответил Иванов. Но, вспомнив, как мастер внимательно следит за повышением уровня воды, подумал: — Не было бы действительно неприятности, чем черт не шутит», — затем мягче сказал: — Надо было бы сразу сказать, что у тебя производственный, а не личный вопрос.

— Ты же не выслушал меня.

— Всех слушать — время не хватит! Что у тебя? — говори быстрее.

— Пойдем в кузницу, там увидишь.

Николай сидел на полу, широко раскинув ноги, и грязной тряпкой вытирал пот с лица. Волосы на голове были разлохмачены, борода собрана в один комок, и он напоминал огородное чучело. Только глаза по-прежнему блестели злостью, как угольки в потухшем костре.

— Вот поговори с ним, — обратился Маевский к переводчику — Сидит как истукан и не хочет выполнить заказа.

— Почему? — спросил Иванов.

— Идите вы ко всем чертям от меня! — крикнул Солдатов и, схватившись за грудь, застонал — Сил моих больше нет!

— А ты, что на курорт приехал? — спокойно и насмешливо произнес Леонид — Раз попался в сети, не говори — трудно, тебя не приглашали сюда. Я не могу допустить, чтобы плотину затопило водой: мне хочется еще жить!

Леонид намекал, что он понимает Николая, но обстоятельства сложились не в его пользу, и он вынужден прибегнуть к помощи Иванова. Солдатов не хотел и слушать: он был упрям и настойчив.

— А мне не хочется жить! — закричал он.

— Это уж твое дело! — перебил Маевский

— Я принес работу вовремя, будь добр исполни или

подставляй свою спину под плети.

Николай не ожидал такого ответа от друга, и ему стало обидно за слова, и за то, что он привел Иванова, и больше не в силах сдержатъ злобы, быстро поднялся, схватил полосовое железо, из которого должен выковать десяток колец, бросил его в угол.

— Выслужиться задумал! Не ожидал от тебя этого.

— Дурак! — закричал Леонид — делай немедленно!

Иванов все время молчал, наблюдая, как ссорятся два русских и когда услышал: «Не буду», — вмешался в разговор: — Нет, будешь ...

— Я сказал, что сил у меня больше нет.

— Будешь! Будешь! — Иванов посмотрел по сторонам. Солдатов понял, что Иванов ищет какой-нибудь предмет, которым можно ударить его.

— Не доводите меня до греха. Голос Солдатова дрогнул, и он схватив молот, занес над головой Иванова. Леонид знал, что Николай страшен в своей решимости, и выбежал из кузницы.

Вечером Солдатова снова секли плетью. Солдатов легче перенес плеть, чем-то противоречие в сознании, которое у него зародилось от поступка Маевского. Ни на минуту не сомневаясь в преданности Леонида Родине и не зная причины, побудившей Маевского подставить его под плети, он вечером спросил: — Это было необходимо?

— Да! — ответил Леонид.

Леонид жалел Николая, но другого выхода из положения не было. От отказа Солдатова изготовить нужное количества колец зависело дальнейшее пребывание его в лагере и успех их совместной работы, но сказать об этом он не мог, так как в то время возле него находился молотобоец Руднев, о котором все знали, что он обо всем сообщает охране.

Пока Маевский разыскивал переводчика, мастер успел выгнать Руднева из кузницы за порчу железа для арматуры, тем не менее, он не сумел объяснить Николаю: время не ждало, а Солдатов намеков не понял.

На завтра, когда все тело Солдатова ныло, а к спине нельзя было притронуться, Николая послали ремонтировать пожарную машину. Дело в том, что уже никто не сомневался, что сдержатъ весенний напор воды без дополнительного ввода новых откачивающих воду машин нельзя.

Из Янискоски была вызвана пожарная машина, но она оказалась неисправной.

Вода угрожающе поднялась. Солдатов понимал, что умышленно задерживать ремонт опасно. План по затоплению

плотины срывался. Маевского не допустили до прежней работы, поэтому Солдатов нервничал и сердился. Злость Николая товарищи объясняли вчерашней поркой и сочувствуя ему, ругали Леонида. Солдатов только сейчас понял, не прими Леонид всех мер вчера, чтобы пустить в ход все три мотопомпы, его сегодня бы расстреляли. И когда он услышал обвинения в адре друга, еще сильнее рассердился и погрозил: — Работайте сильнее, если не хотите чтобы вас сегодня пороли, и запомните, когда будут бить плетью Маевского, Солдатов ляжет за него!

К вечеру машина заработала. Солдатову разрешили идти в барак, остальных направили откачивать воду вручную. Там был весь лагерь военнопленных.

Когда пришел Солдатов в барак, Маевский ползал по нарам и вырывал вату из подкладок шинелей и катал ее в клубки.

— Не раздевайся Николай! — пойдешь снова на работу — меня не пускают, нужно нарушить подачу электроэнергии. Если мы сделаем это, они завтра сами откроют шлюзы, чтобы уменьшить уровень воды и примутся за работу не раньше, чем через два месяца, пока спадет приток воды.

— Но не обрезать же мне провода?

— Если понадобится, то зубами перегрызешь! Леонид слез с нара и подал Николаю три клубка ваты.

— Поджечь и забросить на чердак кузницы! Вата будет тлеть, к утру загорится — от нее сгорит и кочегарка. Они будут сами вынуждены выключить электроэнергию. Понял?

Утром военнопленных прикладами и пинками загоняли на машины, лагерь ликвидировался. Леонид сел рядом с Солдатовым и последний раз посмотрел на плотину, где слышался сильный шум воды, врывающейся в открытые шлюзы, а над плотиной кружился пепел, поднятый порывами ветра от сгоревшей кузницы и кочегарки.

Бортманского вывели на свалку, где военнопленные собирали порченный картофель, и застрелили. Чтобы не возить больного, от него избавились.

Последний еврей на финской земле уничтожен ... сказал переводчик Иванов.

Ему никто не ответил.

— Куда повезут, и что ожидает нас? — спросил Николай.

— Нам безразлично. Мы сделали свое дело, — сказал Леонид и закурил.

18. Учебный батальон.

Солдаты учебного батальона возвращались с занятий поздно вечером. И как только раздается команда: «Поставить оружие в пирамиду!» — казарма наполняется веселым и оживленным шумом, постоянной суетой людей, поочередно идущих с котелками в столовую, или просто слоняющихся без дела в ожидании отбоя. Рота лейтенанта Блинова было расположена на втором этаже. Первый вошедший солдат в казарму сразу заметил новую картину на стене и, не раздеваясь, подошел к ней. За ним поспешили другие. Какко Олави с трудом протиснулся ближе к картине и внимательно стал разглядывать ее. Солдатская форма висела на нем мешком, поэтому он выглядел неуклюжим.

На большом листе бумаги нарисован земной шар, в который был вонзен нож, а рядом стоял красноармеец с факелом в руке.

— Я не пойму содержания картины, — сказал Какко.

— И какой же ты непонятливый Олави, — воскликнул высокий юноша, пробираясь к нему.

— Сюжет картины: русские поджигатели мира!

— Перестань Тойно — надоело слушать одно и то же, — вмешался в разговор солдат с миловидным лицом.

— Ты лучше скажи, что говорит начальство? Скоро на фронт?

Тойно высокомерно посмотрел на прервавшего объяснения солдата и строго добавил:

— Военная тайна!

— С тех пор, как ты стал денщиком у ротного! — съязвил красивый солдат и отошел в сторону.

— Расскажи, расскажи, что нового, — просили солдаты.

Тойно долго ломался, ссылаясь что за это строго накажут, но, в конце концов уступил.

— Ротный говорит, — начал он, — рано или поздно все будем на фронте!

— Об этом мы знаем без тебя ... Скорее бы, а то муштра надоела...

— Успеешь, — вставил Тойно, — еще пожалеешь! — он посмотрел по сторонам, нет ли кого постороннего, и начал говорить шепотом: — Я слышал сегодня разговор, что на фронте за десять убитых русских дают двухнедельный отпуск.

— А кто будет считать, сколько я убью? — спросил Какко.

— Рано задумал, Олави, в отпуск, как бы не потерять голову прежде, чем убьешь нужное число русских, — сказал кто-то из толпы.

— Для подтверждения, что солдат убил десять русских,

необходимо представить десять звездочек. Достать сразу все трудно, поэтому солдаты, кто имеет звездочки, бросают жребий или разыгрывают в карты, и счастливец получает отпуск ...

— Нечестно, нечестно! — перебил денщика курносый солдат.

— Тойно говорит сущую правду! — сказал пожилой солдат по имени Арва, слушавший беседу молодых солдат. — У меня в полку был такой случай ...

— Никак Арва был командиром полка! — воскликнул Тойно. Раздался дружный хохот, но Арва не обиделся. Его в учебном батальоне любили за веселый нрав и постоянную заботу о молодом пополнении. Любили и завидовали ему. Он исполнял всевозможные хозяйственные работы и за свое время проводил не одну маршевую роту на фронт. Оружие ему не доверяли по непонятным причинам для молодых, а сам он не рассказывал.

Когда смех стих, он продолжал: — В полку был введен порядок, о котором только что говорил Тойно. После каждой разведки, кто-нибудь обязательно убивал десять русских. Я вынужден был давать отпуск. Таким образом, четвертая часть полка было в отпуску. Командование потребовало объяснения, так как некоторые ухитрились с начала войны побывать дома несколько раз.

— Объяснить здесь не трудно, — сказал сосед Олави по койке, — вы представили звездочки.

Арва едва удерживал смех. Он наслаждался мыслью, что произведет необычайный эффект на слушателей, и не торопился с ответом. Начался спор, всевозможные догадки и предположения. Многие говорили, что командиру полка не обязательно представлять вещественное доказательство: он хозяин в полку.

— Вы правы, — сказал Арва, когда стих шум, — я достал чемодан и хотел подсчитать сколько у меня звездочек... Там оказалось только десять...

— Звездочки украли?

— Я тоже так думал вначале, — сказал Арва и достал папиросы.

— Вот так загадка? — вскрикнул Олави.

— Арва не тяни, говори быстрее, это очень интересно!

Арва прикурил, затянулся дымом и продолжал: — Загадка здесь была простая: звездочек было всего десять!

— Как так? — слышались вопросы.

— Держу пари, что никто из вас не угадает!

— Конечно нет! Расскажи! — просили его.

Ответ прост! Денщик знал, куда я складывал звездочки и отдавал товарищам.

— Вот это здорово! — сказал Олави.

— Молодец парень! Ну и попало же денщику!

— Нет! — Арва посмотрел по сторонам и, понизив голос, заговорил снова.

— Я побоялся скандала и отправил денщика в роту ... а он убежал к русским.

— Не может быть! Как ужасно! Над ним там издевались, наверное, — заговорил Тойно взволнованно.

Арва спохватился, что сказал лишнее, и быстро перевел разговор о картине.

— Мне надо идти чистить сапоги начальнику. Он едет пьянствовать на всю ночь, — сказал Тойно и быстро вышел.

— Хорошая картина, сынки, у нас в казарме, — заговорил Арва.

— Что здесь хорошего? — спросил Олави.

— Обратите внимание, красноармеец вонзил нож, а где он выйдет?

Олави стал примерять.

— Не надо, — остановил его Арва, — это известно — в Берлине! Вот и кисть к месту, — ткнул пальцем Арва в факел.

— Это не кисть, а факел — посмотри лучше, — пояснил Олави.

— Точь-в-точь как моя, которой я белю в уборной!

— Зачем русскому кисть? — спросил Олави.

— Красить!

— Что красить?

— Грязные пятна на земном шаре!

Олави неожиданно вспомнил беседы у костра и произнес: — Я слышал такие слова от русского.

— Вот врет! — сказал кто-то. — Олави разговаривал с русскими. Где ты мог их видеть?

— Вчера во сне? — добавил другой.

— Нет! Я видел русских! Их много было в Янискосках! Они строили плотину.

— Неужели правда! А какие они? Страшные, злые, — интересовались солдаты.

— Двое со мной работали, обыкновенны люди, только сильно истощенные.

— Поверьте старому солдату: Олави говорит правду! — сказал Арва.

Солдаты окружили Олави и наперебой начали задавать вопросы. Он не успевал отвечать. Впервые в жизни Олави оказался героем дня, когда его слушали множество людей. И он почувствовал себя вполне взрослым и солидным человеком.

— Фельдфебель идет! — крикнул дневальный.

Все сделали вид, что интересуются картиной.

— Становись на проверку! — пискливым голосом прокричал фельдфебель. Толкая друг друга, солдаты бросились в строй. Фельдфебель сделал переключку и спросил: — Вопросы есть?

— Господин фельдфебель! Я не получил пуховые носки и белье, — сказал Олави.

— Минуточку, я посмотрю, — Фельдфебель открыл записную книжку, достал очки, долго разглядывал ее и сказал: — Роспись есть — вы получили полностью!

— Вы говорили...

— Молчать! — крикнул фельдфебель: — Два наряда вне очереди!

— И мне так, — сказал сосед Олави, — обещал выдать позднее, а потом и говорит: — «Ты получил полностью!»

— Еще будут вопросы? — спросил фельдфебель.

— На сколько человек выдавать банку консервов на завтрак? — спросил дневальный.

— На троих! — ответил фельдфебель.

— Мало, — сказал кто-то в строю.

— На четверых! Разойдись! — крикнул фельдфебель и удалился из казармы.

Олави ночь отдежурил без происшествий. В шесть часов утра сделал подъем и хотел сдавать дежурство, но фельдфебель запретил: — Сейчас прибудет ротный, надо доложить, а не то тот заика будет тянуть два часа одно слово».

Ровно в семь солдаты были в строю. Прибыл ротный, высокий и стройный лейтенант. Он без внимания принял рапорт и сел на скамейку, о чем-то думая. Фельдфебель прохаживался перед строем, расправляя реденькие усы. В казарме была напряженная тишина; солдаты, затаив дыхание, ожидали, что скажет ротный. Лейтенант Блинов редко посещал роту, на занятиях, как правило, не присутствовал, поручая командирам взводов самостоятельно муштровать солдат. Отмена очередного занятия и неожиданный приход ротного давал повод солдатам думать, что период учебы кончился и предстоит скорая отправка на фронт.

— Дневальный, сколько в роте солдат? — спросил Блинов.

— Сто двадцать, господин ротный! — бойко ответил Олави.

— Болван! — произнес ротный и встал. Олави смутился и не знал, что ответить.

— Фельдфебель, сколько в роте людей? — переспросил лейтенант.

— Тысячу двести!

Читайте! — и ротный указал на лозунг, который Олави ночью помогал прибавать Арве.

«— Один финн — равен десяти русским?» — хотел сказать Олави, прочитав лозунг, но лейтенант затопал ногами и закричал:

— Сволочь! Скотина! Подлец — убью!

Олави не на шутку испугался и, не понимая причины вспышки гнева ротного, смотрел испуганными глазами по сторонам.

Ротный подбежал к Арве и крикнул: — Подлец! Зачем поставил вопросительный знак! — Какко перевел взгляд с лейтенанта на лозунг и тут только понял, чем недоволен Блинов. Строй оживился. Многие только после слов командира обратили внимание, что на лозунге: «Один финн — равен десяти русским», на конце стоял большой вопросительный знак.

— Не могу знать! — спокойно ответил Арва и достал из кармана бумажку. — У майора так написано!

— Сию же минуту сотри! — приказал лейтенант и обратился к роте: — Солдаты! Настал наш черед идти на фронт защищать родину. Будьте храбрыми в бою, беспощадными к большевикам! Запомните лозунг: один финн — равен десяти русским, и вы всегда победите.

Лейтенант намеревался произнести большую речь перед своей ротой, но Арва испортил ему настроение, и он решил, что эффекта, которого он ожидал, не выйдет, и поспешил уйти.

Вечером он вызвал к себе фельдфебеля.

— Слушай, Кукушкин, мне нужно пару тысяч марок.

— Ой, боже мой, где я их возьму, вчера последние отдал? — взревел Кукушкин, хватаясь за голову.

— Вчера мы славно гульнули, а сегодня прощальный вечер, — продолжал говорить лейтенант, не обращая внимания на возгласы Кукушкина. — Деньги у тебя есть, я знаю, наверное, всю роту обворовал: привычка у тебя купеческая — умеешь жать копейку! Беру на тех же основаниях, — сказал Блинов, как будто Кукушкин уже дал согласие одолжить деньги: «Марка за рубль, когда прибудем в Россию».

— Блинов, — умоляюще заговорил Кукушкин, — ты должен мне двенадцать тысяч...

— Велика беда, — прервал его Блинов, — буду должен четырнадцать! Что ж по-твоему мне не идти на прощальный бал? А девушки там какие, любо посмотреть! Выкладывай, быстрее купчина, — уже зло проговорил он, — не то потеряешь многое, в России марки не нужны...

Но Кукушкин запротестовал и не давал денег. Когда он узнал, что предстоит отправка на фронт, опасался давать в займы деньги, думая, что Блинова могут убить, но не допускал мысли о

своей смерти.

— Так как быть? — спросил Блинов.

— Не могу знать!

— Кукушкин, Блинов продает двухэтажный дом в Великих Луках! Задаток в пять тысяч — дальше договоримся!

Кукушкин долго думал. Он видел своими глазами завещание его отца, что в случае победы над русскими, все имущество переходит ему, Блинову. Алчность, стремление снова разбогатеть и прожить старость в довольстве поборола совесть Кукушкина, и он забыл, что недавно божился об отсутствии у него денег.

— Вот пять тысяч, которые вы просили, — и Кукушкин протянул пять бумажек.

Блинов спрятал деньги в карман. Фельдфебель переступил с ноги на ногу и после долгих колебаний заговорил: — Вы знаете, не приведи бог этому случиться, а если вас убьют — мои деньги пропали.

— Если вы не верите офицерскому слову, тогда возьмите свои деньги обратно!

— Что вы, господин лейтенант, как я могу не верить, чай мы с твоим папашей-то дружки!

— Так в чем же дело?

— Я говорю, если с вами случится несчастье... Я не желаю вам смерти, но на войне все может быть.

Блинов снова спрятал деньги в карман, прошелся по комнате, взглянул в зеркало и весело произнес: — После моей смерти вы остаетесь законным наследником всего бывшего богатства моего отца в России. Чтобы слова не остались голословными, напишите завещание, я подпишу, а сейчас убирайся — мне пора собираться на бал!

— Постой, чуть не забыл! Выдай Арве новое обмундирование и продукты на дрогу — Блинов поближе подвинул к себе зеркало, посмотрел, хорошо ли выбриты щеки. — Пусть едет с богом, хотя место ему на виселице! — Предписание на имя начальника лагеря военнопленных в Петсамо-Никеле возьми у меня в столе.

Когда Блинов остался один, пересчитал деньги, полученные от Кукушкина, и весело засмеялся, скаля ровные мелкие зубы.

— Денег обратно не получишь, купчина, а пулю в лоб возможно...

Убьют меня, с мертвых долги не берут; — тебя — мертвым не платят. А мы сегодня гульнем, что богу тошно будет! А завтра — что черт пошлет!

19. В лесном лагере

В лесу, за колючей проволокой, одинокий барак. Рядом озеро, а в него впадает небольшая горная речка. Солдаты — охранники живут в палатке недалеко от водопада. Каждое утро они обливаются водой, балуются под водопадом, а потом, жизнерадостные и веселые, вскидывают винтовки наперевес и подходят к воротам зоны.

Ни красота северной природы, ни шум водопада, ни веселое пенье птиц в лесу на восходе солнца не радует военнопленных. Они, заложив руки за спину, с опущенными взорами гуськом идут по тропинке к шоссе. Впереди, сзади и по бокам солдаты. На шоссе, перед магазином, в котором рабочие-финны получали продукты, когда работали на лесозаготовках, строятся в колонну по четыре и двигаются с полкилометра на юг. Затем солдаты разбивают военнопленных по десяткам и начинается работа. Шесть групп с утра до вечера пилят дрова. Увильнуть от работы нельзя: охрана знает каждого в лицо. Норма небольшая — полтора кубометра на человека, но пилить лес нужно не подряд, а отмеченный лесником. Лес небольшой, чахлый, деревья стоят один от другого на десятки метров, а силы военнопленных окончательно истощены. Условия труда невыносимы; питание с каждым днем ухудшается.

Из всех лагерей Финляндии — это был самый страшный. Беззаконие и расправа царила во всем. Безмолвие окружало лагерь. Ни единой человеческой души, кроме солдат и военнопленных. Охрана, набранная из молодежи призывного возраста, не видевшая фронта и ужасов войны, проникнутая фанатической ненавистью к русским, которая вдалбливалась годами чудовищной пропагандой, состояла из людей, имевших физические или умственные недостатки. Не встречая ни от кого препятствия, они всю злобу вымещали на пленных.

Охранник бригады, в которой находился Маевский, всегда надутый, с заспанным и угрюмым видом. Он типичный ипохондрик, разговаривающий сам с собою. Как другие солдаты, он не интересовался, откуда родом и где раньше работал пленный, не разрешал никому подходить к себе и разжигать для него костер. Его физическая сила, угрюмая физиономия с налитыми кровью глазами внушала страх и отвращение. Целыми днями он просиживал на пне, не интересуясь окружающим. Пленные боялись удалиться из пределов его обзора и сорвать прошлогоднюю ягоду. В работе он не подгонял. Ему было безразлично, работают русские или нет, но как только начинали

громко разговаривать, глаза его зловеще блестели, наливаясь кровью, придавая ужасный вид. Единственное занятие — финка, которой он режет беспрерывно прутик. Даже солдаты держатся от него в стороне. Его напарник обычно удаляется к соседним бригадам. Иногда, видя напрасные усилия пленных поднять тяжелые бревна, он молча подходит, помогает навалить или переносит сам. В отличие от других солдат, никогда не кричит и не ругается. Привычные слова русской брани, заученные финнами, не срываются с его уст.

Отзывая одного из пленных в сторону, он говорит: «Пусть пленные не расходятся далеко, а то буду бить! Кто посмеет уйти в сторону — убью! Я плохой человек. Меня нельзя расстраивать!»

Обладая исключительной памятью, он одного и того же пленного не подзывал в другой раз на всем протяжении работы. «Дутый», так звали его, произносил фразы на чистом русском языке, не вставляя финских слов, как говорили многие солдаты, зная несколько русских фраз. Никому не посчастливилось два раза поговорить с ним, поэтому нельзя было предположить о знании им русского языка. Спокойное состояние и равновесие терял тогда, когда русские нарушали его правило — уходили в сторону, или поднимали на ходу что-либо, или осмеливались взять у проезжего финна хлеб или табак. Бил беспощадно, всем, что попадалось под руки: была ли это доска или палка, а когда вблизи не было ничего, бил прикладом до потери сознания. Останавливался тогда, когда жертва лежала без движения. Во время расправы с военнопленными ломал приклад винтовки.

Изучив нравы «Дутого», пленные отдыхали на работе и не выполняли нормы; получали меньше хлеба, но были избавлены от издевательств.

Мастера лесозаготовок он не признавал и с начальством лагеря не считался. Как только на часах выходило время (правильно ли шли часы, он не заботился), снимал бригаду и уводил в барак.

Измученные и усталые возвращались пленные в барак. Многие ложились отдохнуть часок до вечерней проверки. Леонид аккуратно и не спеша мылся, растирая мокрым полотенцем тело, а затем только шел в барак. Громов, Григорьев и Леонид спали рядом, Солдатов в другом углу.

Трудно было на работе, не радостно и в бараке. В двадцать два часа удар в подвешенную рельсу извещал о начале вечерней проверки. Иванов, стоя посреди барака и оскалив гнилые зубы, командовал: — Строиться! Физзарядка для русских! Шум стихал. Гробовое молчание воцарялось в бараке. Вечернюю проверку производил сам начальник лагеря в присутствии охраны.

Военнопленные не русской национальности были избавлены от нее. И как свидетели смотрели с нар. Русские стояли в строю. Охрана, вооруженная плетками, рядом. Начальник делал знак рукой и считал: «Раз! Два! Три!» По знаку бросались по своим местам, а по счету «три» должны быть на нарах, и горе тому, кто не успевал занять своего места. Русских снова ставили в строй, и проверка продолжалась до тех пор, пока все не укладывались в установленное время. После этого разрешалось ложиться спать.

Солдатов после проверки приходил к Леониду, и начиналась беседа.

— Помечтать пришел? — спрашивал Громов Солдатова. — Мечты, мечты, где ваша сладость?

— Да, сладости в мечтах нет, она будет в будущем, для тех, кто переживет плен? — ответил Солдатов.

— Ты не обижайся на меня, Николай, бывает время, я тоже мечтаю, и знаешь о чем?

— О том, как поест досыта!

— Угадал!

— Но я думаю о другом... Помнишь, Леонид, — продолжал Солдатов, поглаживая окладистую рыжую бороду, — как мы были рады, когда вернулись в Янискоски. Хотя там ряды военнопленных сильно поредели, ушло из жизни много товарищей, в том числе и пограничник. Он оставил о себе хорошее впечатление, но те, кто остался в живых были уже другие! Они стали оказывать сопротивление своим внутренним врагам, и не далеко было то время, когда мы могли бы диктовать свои условия охране... А потом лесной лагерь... Все пошло прахом...

— Не ошибся ли ты, Николай, в своих мнениях? Мне кажется, пока в лагере не создана организация, которая возьмет руководство военнопленными, говорить о своих требованиях рано.

— Вспомни, Леонид! — Когда неизвестно откуда и как донеслась весть о том, что тов. Молотов заявил протест о бесчеловечном обращении с военнопленными! Что творилось в лагере! «Нас не забыли, — слышались голоса. — О нас заботится наше правительство!»

— Дурак может подумать, — возразил Громов и хитро посмотрел на Солдатова. Он знал, что вспыльчивый Николай примет на свой счет, и старался нарочно подзадорить его. — Дурак может подумать, что наша партия может забыть людей, оказавшихся в тяжелых условиях.

Как и ожидал Громов, Солдатов реплику принял на себя и зло возразил: — Ты, что меня принимаешь за дурака! Да знаешь,

сколько я финнов положил, а ты что сделал? Где твой партийный билет?

— Вот здесь! — Громов расстегнул гимнастерку и показал на волосатую грудь.

— Хватит вам спорить, — сказал Леонид, стараясь их примирить. Лучше скажите, что делать дальше?

Громов знал, что кузницу в Нискокосках сжег Николай умышленно, а вместе с нею сгорела кочегарка. Солдатов двое суток мерз около пожарной машины, чтобы задержать ее восстановление и дать возможность Леониду накопить высокий уровень воды перед плотиной. Он так же знал, что сидеть без дела преступно, но в лесном лагере заняться было нечем, а план Солдатова разоружить охрану считался нереальным, поэтому всегда избегал говорить об этом и отделялся шутками. Так поступил и сейчас.

— Если Солдатов не считает себя дураком, то пусть скажет!

— Эй, Мишка, не будь мы в плену, я обязательно набил бы тебе морду.

— В другом месте, я не стал бы шутить! Если здесь молчать и все думать — сойдешь с ума. Мое предложение — ждать. Не все же время будем сидеть в этой дыре. Будет время — выберемся!

Я согласен с Маевским, надо создавать боевую организацию...

— Моя идея такая! — начал с жаром возражать Солдатову.

— Утром, когда откроют ворота, наброситься на охрану и попытаться разоружить. Удастся — хорошо! Не удастся — черт с ним! Погибнем со славой!

— Погибнуть, дело не хитрое, но есть ли польза в том? — спросил Леонид.

— Чем хуже живешь, тем сильнее хочется пережить этот кошмар и увидеть снова светлое будущее, — мечтательно произнес Иван Григорьев.

— Николай, — снова заговорил Леонид, — я тоже думал об этом. Думал до боли в голове и пришел к убеждению: разоружить охрану и завладеть оружием — несбыточная мечта, как и то, что завтра мы будем сыты! Поэтому я предлагаю другое: мы, сидящие здесь, берем на себя задачу по созданию боевой организации из пленных. Нас четверо. Пусть каждый из нас завербует, а это дело нетрудное, к следующей субботе по три человека — уже будет двенадцать. Тогда можно решить вопрос о доверии кому-либо из нас руководство всей организацией, выработать план дальнейшей борьбы.

— Чем займемся? Будем тупить пилы, затем расходуя последние силы, сами же будем ими работать! Так что ли? Или

может быть, получая тумаки от солдат, будем пилить неклеимые деревья?

— Я беру на себя пять человек, — перебил Солдатова Громов.

— Вы имели в виду — поправил Маевский, — привлечь в нашу группу пять человек.

— Конечно! — ответил Громов.

Наступило молчание. Солдатов думал, каким образом возразить Громову. И только он открыл рот, чтобы заговорить, его опередил Маевский.

— Светает. Пора и лечь отдохнуть. Значит, мы решили к следующей субботе иметь прирост в нашей группе.

— Повторяю, — сказал Громов, — я беру на себя пять человек!

— Солдатов, — продолжал Леонид, — должен подчиниться большинству. — Он посмотрел на Громова и Ивана, давая понять Николаю, что именно они составляют большинство. — Если нет — дороги наши разошлись!

— Я тоже так думаю, — сказал в заключение Громов.

Но лечь отдохнуть друзьям не пришлось. В барак пришел переводчик Иванов.

— Русские! — крикнул он.

— Люди! — добавил Громов.

— В лагерь прибыл майор-швед, представитель Международного красного креста. Вам разрешено заявить жалобы. Предупреждаю: коллективные жалобы не принимаются; без подписи не рассматриваются, а за подачу заведомо ложных жалоб, подавший будет наказан!

— На работу пойдем?

— Значит завтра выходной? — спрашивали проснувшиеся военнопленные.

— Нет! — ответил Иванов. — Завтра рабочий день! Разрешено остаться только одному!

Иванов хлопнул дверью и скрылся за зоной. Леонид вышел на середину барака.

— Товарищи, нам запрещено подать коллективную жалобу. Тогда у меня есть предложение: заявить коллективный протест о невыносимых условиях в лагере.

— Раз представилась возможность, не будем упускать ее, — поддержал Громов.

— Разрешите, разрешите слова мне, — закричал военнопленный Житников. — Я предлагаю не протест, а прошение.

— У бога проси, — сказал Солдатов.

Рогов подошел к Житникову, дружески похлопал его по плечу

и сказал: — Попросить ты можешь только у меня, скажем на папироску табаку, а у человека, который не хочет даже видеть нас, напрасно!

— Итак, поступило два предложения, — резюмировал Маевский,

— Кто за предложение Житникова? — Он пошел вдоль нар, намериваясь подсчитывать голоса, но военнопленные сидели без движения, и никто руки не поднял. — Хорошо, — сказал Маевский, — остается решить, кому доверим заявить протест?

— Разрешите, — спросил Громов и полез на верхние нары.

— Говори снизу, не обязательно с трибуны! — закричали военнопленные.

— Человека более подходящего, чем Николая Солдатова нет! Посмотрите на него. — Громов показал рукой. — Настоящий русский человек! Хотя и молод, но умен! Сила богатырская, за словом в карман не полезет. А эта борода! Борода на красивом лице — олицетворение русской нации...

— Замолчи и слазь немедленно с нар! — закричал Солдатов. — Иначе за ноги стащу. Дело серьезное, а он шутит!

— Нет, товарищи, я не шучу! Солдатов — подходящая кандидатура!

Хотя по своей привычке Громов и говорил шутливо, но Николая в бараке знали хорошо, поэтому возражений не последовало.

— Правильно! — закричал Рогов — Пусть Солдатов поговорит с ним, а если надо и ударит немного, чтобы они «разули глаза» и хоть немного соблюдали международные конвенции.

Возвратившимся с работы Солдатов рассказал: — Прошелся по барaku и слушать не стал. Когда я начал говорить о плохом питании, он ответил: — «Я не возражаю, напилите один кубометр, пообедайте, а к вечеру еще один». Не будь вашим посланцем, я плюнул бы ему в глаза!

Но самое главное, о чем шла речь с представителем «красного креста», Солдатов скрыл от товарищей, предварительно посоветовавшись с Маевским. Они были готовы ко всему, но услышать официальное предложение и даже получить некоторую материальную поддержку за согласие после окончания войны остаться в Финляндии или уехать в Америку, не ожидали.

— Ага! — злорадно заревел Житников. — Я говорил вам, что надо просить, а не требовать? Дождались ... Была норма полтора, а стала два кубометра!... — Житников был высокий и худой, как жердь. Лицо желтое, как у больного желтухой. Под глазами мешки. Когда он кричал, то показывал большие зубы; из десен

сочилась кровь. — Товарищи! Мы все подохнем с голоду, если будем слушать их.

Громов злословил по адресу «красного креста» и подсмеивался над неудачной карьерой Солдатова на новом поприще, не обращая внимания на вопли Житникова, но когда услышал слово «их», повернулся и спросил: — А ты, что предлагаешь?

— Я предлагаю завтра ограбить магазин!

Слова Житникова действовали на пленных, как магнит на железные опилки. Барак мгновенно наполнился шумом, гамом, спором. Рогов постоянно был занят одним делом: приготавливал табак из каких-то корней, мха и листьев березы, и то бросил свое занятие подошел к Житникову.

— Табак там есть? — спросил он.

— Без табака не пропадешь, были бы галеты! — ответили Рогову и один голос несколько человек.

Сколько и чего хранилось в магазине, рассказал Иван Григорьев, получавший в нем для охраны табак.

Предлагались различные планы ограбления магазина. Из всех ни один не был реален. Кое-кто предлагал на ходу наброситься всей партией, не думая о последствиях: у всех одно стремление — поесть досыта. Другие возражали, среди них был Леонид, доказывая, что ограбление ляжет грязным пятном на русских и будут жертвы.

Наблюдая с верхних нар за разбушевавшейся голодной толпой, Леонид понял, что кульминационный момент наступил, и никакие уговоры больше не помогут. Подозвав Солдатова, Громова и несколько товарищей, он сказал: — Уговорить голодную массу трудно — надо принимать решение во избежание напрасных жертв. Предупредите всех, я беру на себя ответственность по ограблению магазина.

— Знаем мы Маевского! — снова закричал Житников. — Вчера он тоже предлагал, а что получилось? Вечно по зауглам шушукуются... Нас бьют плетями, а они всегда чисты и в стороне.

Многие еще вчера одобряли предложение Маевского, а сейчас под впечатлением голодной страсти были готовы обвинить его за то, что он первый предложил заявить протест. И снова затихшая толпа загудела многоголосым ревом и готова была перерасти в бурю.

— Сами не хотят принять участие, и другим мешают, — истерически кричал Житников. — Они хотят заморить нас окончательно с голоду...

— Кто? Маевский? — спросил Рогов, делая гримасу на лице и приседая на четвереньки. — Подлец!

Житников попятился. Рогов неожиданно прыгнул и закричал, протягивая руку вперед, в которой был зажат сапожный нож: — Зарежу! Зарежу!

Житников бросился бежать. А Рогов, топая ногами, кричал: — Зарежу! Мерзавец! Всех зарежу, кто подумает, что Маевский желает вреда пленным!...

Голодная толпа, не ожидавшая такого исхода дела, сначала замолкла, а потом переменила разговор на тему: зарезал бы Андрей Рогов Житникова, если бы тот не убежал, или нет?

А утром все так же медленно шли на работу. Перестраивались около магазина, избегая смотреть на него. В мечтах, в разговоре и споре легко выскочить из строя и взломать замок — попробуй на деле: четырнадцать солдат с автоматами и винтовками не замедлят открыть огонь по смельчаку. Когда колонна тронулась вперед, Житников, идущий в голове колонны, выскочил из строя. Он хотел бежать к магазину, но Андрей Рогов успел подставить ногу, и он упал в кювет. Произошло замешательство. Охрана открыла стрельбу. Пули свистели над головами и, сбивая ветви деревьев, прижимали пленных к земле.

— Ложись! — кричали солдаты, продолжая стрелять, не зная причины, почему пленные сгрудились в кучу и бьют кого-то. Житников вырывался, царапался, кусал, державших его и жалобно просил:

— Пустите! Пустите! Пусть застрелят, чем голодная смерть...

— Ты подводишь других... — уговаривал Солдатов.

— Я один пойду, только пустите!

— Переводчик! Переводчик! — кричал старший конвоя, бегая вдоль строя и размахивая пистолетом. — Спроси, что случилось? Почему драка?

Иванов опасался приблизиться к строю, а, встав на пень, чтобы лучше видеть, что происходит на дороге, кричал:

— Русские! Прекратите драку! Какая причина?

— Во! — Рогов вышел из строя и показал Иванову окровавленную руку.

— Господин сержант! — докладывал Иванов, — один русский укусил руку другому. Сейчас его за это бьют.

— Следует! Передай мое приказание — пусть выбьют ему зубы. Следующий раз не будет кусаться, — посоветовал сержант.

Охрана успокоилась, услышав разъяснения Иванова и ответ старшего конвоя, и престала напрасно портить патроны. Старший стал расталкивать пленных, чтобы пробраться в середину столпившихся людей и посмотреть на военнопленного, осмелившегося кусаться в строю, а заодно собственноручно выбить ему зубы.

Житников замахал руками, умоляя выслушать сержанта, когда тот замахнулся на него: — Я не кусался! Я только хотел...

Ближе всех к Житникову стоял Маевский. Когда он услышал откровенное признание сержанту, не испугался, так как тот не понимал по-русски, но вспомнив, что может услышать Иванов, и, не дав ему договорить слово, ударил Житникова под подбородок, что никак не ожидали от него военнопленные. Житников ударился головой о дорогу и потерял сознание.

— Ого! Крепко бьет! — одобрительно заметил сержант и приказал двум военнопленным отнести Житникова в барак.

— Смотрите за ним в бараке. Если понадобится, свяжите и заткните рот, — предупредил Леонид.

Строй двинулся дальше.

Поздно ночью состоялось совещание. Громов стоял на карауле у окна, наблюдая за палаткой охраны. До него доносился спокойный голос товарища: «Завтра в 11 часов, тот, кто понесет обед на лесосеку, взломает замок и заберет все, что можно есть. Из барака своих галет не брать, а принести те, что возьмете в магазине. Все остальное вынести и спрятать около дороги. На обратном пути захватить все в барак. Оставшиеся в лагере подготовят место, куда можно спрятать ворованное».

План был прост и осуществим. Обедать в барак пленных не водили. Его разносили без конвоя те, кто не работал в силу своей истощенности, и охрана не боялась, что они сбегут.

Ночью никто не спал — думали о завтрашнем дне. Больше всех волновался Леонид. В случае провала — ответственность за товарищей ляжет на него.

Обед принесли не трое, как обычно, а пятеро. Началась дележка. Делила охрана. Распределив приблизительно галеты по количеству людей, один солдат отвернулся, другой показывая на галеты, у него спрашивал:

— Кому?

— Ивану! — кричал отвернувшийся.

— Кому?

— Возьми себе!

— Кому?

— Большому мужику.

И не было обиды. Охранники знали пленных, кого по имени, кого по кличке, кого по росту, а кого не знали, показывали пальцем. Дележка галет их забавляла. Никто из солдат не обратил внимания, что галет было больше, чем в другие дни. Работа сделана аккуратно: часть продуктов была принесена на работу, а остальные — на обратном пути сложили в ведра, взятые для этой цели в количестве большем, чем было необходимо.

Промтовары остались нетронутыми. Сахар высыпали в бочку с водой, папиросы сложили под ступеньки крыльца, а галеты в пачках удобно расположились между двойными стенками барака. Папиросы военнопленным выдавались дневальным только при курении. Запас иметь запрещалось. Курили около печи, предусмотрительно пуская дым в нее. Окурки сжигались, но в бочку не успевали наливать воды — то и знай — бегали с кружками. Каждый чувствовал ответственность не только за себя, но и за других, все делалось с большой осторожностью.

Исчезновение продуктов из магазина обнаружили при следующих обстоятельствах. Охрана хотела забрать продукты из магазина сама: подозрения на нее быть не может — вся вина ляжет на русских, но они опоздали: Дутый не дал согласия.

Слышанное ли дело! В Финляндии среди белого дня грабеж! Поднялся невероятный шум. Панический слух распространился по всем ближайшим поселкам, вызвав различные кривотолки вплоть до того, что местность посетили партизаны. Сообщили в Никель. Срочно выехал начальник лагеря Мецала и хозяин магазина. Охрана подозревала пленных, но открыто не говорила. Начальство думало по другому: — мирное население вне подозрений, немцы не позволяют, русские под конвоем.

Немецкое командование спешно подбросило в район происшествия альпийских горных стрелков (с розой на шлемах) для поисков партизан. Когда сотни австрийцев бродили по лесу и искала следы мнимых партизан, охрана смеялась, но ничего не говорила, боясь скандала. В свою очередь они принимали меры, чтобы поймать пленных с поличным: высматривали, прислушивались, неожиданно ночью появлялись в бараке. Помощь Иванова была бесполезна: пленные ему не доверяли. Улик не было, придаться не к чему. Тем не менее, вся охрана, исключая Дутого, была убеждена в виновности русских.

Вина русских состояла в том, что они опередили охрану, и в этом же было их спасение. Пачка папирос, подброшенная к русским в барак, послужила бы существенным доказательством для уничтожения пленных, чтобы скрыть свое преступление.

Дутый был окружен заботой и вниманием охраны и, чувствуя это, издевался над нею и хвалил русских, если это сделали они.

По прибытию Мецалы начался повальный обыск, перерыли весь барак, лазили под нары, выломали несколько половиц в полу, но никто не догадался заглянуть под крыльцо, на котором стояли любопытные. Больше всех старался Пуранковский. Он вылез из-под нар в пыли. Грязный пот катился по его лицу. Взял кружку, зачерпнул воды и хотел умыться, но жажда взяла свое.

Забыв, что из нее пьют русские, а, может быть, у него не было таких предрассудков, он хлебнул несколько глотков.

Пленные затаили дыхание, никто не решался громко вздохнуть; ужасно медленно тянется время.

Пуранковский удивленно смотрит то на кружку, то на бочку.

— Паска ^[1]! Ничего нет! — говорит он. Кружка летит в сторону; содержимое разливается по полу.

Пуранковский обнимает Мецалу за талию и уводит из барака, за ними полиция и все любопытные.

Пленные облегченно вздыхают. Только Дутый стоит посреди барака и своими ужасными глазами смотрит на пленных, стараясь угадать, что переживали русские в это время.

Начальнику лесного лагеря был выговор за распространение ложных слухов. После официальных объяснений с полицией Мецала сделал ему замечание: «Если действительно обокрали русские, то тем хуже для тебя: охрана пленных осуществляется плохо, и русские ходят без конвоя, что категорически запрещено...»

Начальник лесного лагеря, подчиненный Мецале, уверял, что в лагере ни один пленный не выходит за зону без охраны, а сам подумал: «Вот здесь то, я прошляпил».

Пуранковский также упрекнул его в необоснованности обвинений против русских.

Пообещав прислать пленным газеты «Северное слово» и не долго поговорив с ними, ни одним словом не упомянув о бочке со сладкой водой, Пуранковский уехал.

Пленные остались довольны тем, что воду попробовал переводчик, а не кто иной, иначе расстрел был бы неизбежен.

Отношение охраны к пленным ухудшилось и стало невыносимым. Избиение приняло массовый характер. Дутого с конвоирования бригады сняли и поставили на охрану зоны. Мастер пожаловался на него, что он не заставляет работать русских. Мастера он избил так же жестоко, как бил раньше пленных.

А сейчас сидит в будке около ворот, не выглядывая из нее, и целый день разговаривает сам с собою.

Еще несколько дней пленные жили в тревоге, но последняя пачка папирос искурена; вместе с нею исчезла последняя опасность. Жизнь потекла своим чередом. Только пилоправ (фамилия его неизвестна), точивший пилы и топоры, недоволен. Участились случаи порчи топоров и специального затупления пил. Когда все спят, у него много работы. Глаза смыкаются — хочется спать. От напряжения в глазах двоится. Как назло Дутый пришел с финкой: «помогай ему точить и направлять». Пилоправ

нервничает, но Дутый не думает спешить, каждый раз пробует острие о нары — «и продолжай, крути точило».

Появился начальник с Ивановым. Шатаясь, подходит к точилу и мутными глазами смотрит на работу. Путая слова, Иванов переводит:

— Господин начальник посмотрит, как наточил топор. Если плохо, отрубит голову!

Он пробует острие и передает начальнику топор.

— Клади голову ни точило, господин начальник хочет попробовать остроту топора.

Пилоправ отрицательно качает головой и закрывает лицо руками, прижимается к стене, наблюдая за поведением пьяного начальника, но тот, шатаясь, бормочет что-то непонятное.

— Клади, дурень! — настаивает Иванов. — Начальник шутит!

Что думал он, когда клал свою голову на точило? О чем может думать человек, обреченный на смерть? Не все ли равно! Он хотел спать. Голова спокойно опустилась. В тот же миг тело грузно осело и повалилось на пол, голова отделилась от туловища и упала к ногам Дутого, который не слышал разговора Иванова, и раскрыл рот от удивления.

Выйдя из оцепенения, он взял голову, приподнял ее и посмотрел в незакрытые глаза. Начальник хихикал, Иванов исступленно смеялся. Дутый ударил начальника прикладом автомата. Иванов бросился в дверь. Финка, брошенная вдогонку, угодила ему в ягодицу, и он, дико крича, побежал в палатку охраны.

Дутый стаскивал пленных с нар и ужасным голосом кричал: — Бейте его! Бейте!

Первым проснулся Солдатов и ударом кулака сшиб начальника с ног. Группа военнопленных набросилась на начальника, и началось избиение финна. Начальник не пытался сопротивляться, закрывал лицо руками и охал. Били беспощадно. Кто не мог подобраться к нему, кидал с нар сапоги, стараясь угодить в голову, и отомстить за смерть товарища.

Разбуженные пьяным криком Иванова, охрана в первую минуту думала, что озлобленные русские, видимо, пытались заколоть его, но как только первый из них заглянул в барак пленных, мнение рассеялось. Одно тело, без головы валялось около точила, второе все в крови, не столько в своей, сколько в крови русского, еще шевелилось. Его бил доской Дутый. Доску у него вырвали. Но он, скрипя зубами, принялся топтать ногами начальника. Насилу удалось увести его из барака.

К обеду нагрянула полиция. Иванов пытался обвинить русских в убийстве своего товарища. Пленных не спрашивали, а

охрана, сбита с толку Ивановым, давала противоречивые показания. Составили акт об убийстве пленными своего товарища в драке, на том дело и кончилось.

Полиция забрала с собою начальника и охранника. Вскоре пленные узнали, что Дутый работает в Никеле, а бывший начальник после выздоровления направлен в другой лагерь.

20. Запоздавшая помощь

Новый начальник стоит посредине зоны, смотрит на кучу хлама и распоряжается. В нескольких шагах стоит Иванов. Как обычно, он с первого раза попытался войти в доверие к нему, но вновь прибывший не подпустил близко к себе переводчика. Сержант молчалив. Руки, в которых непрерывно находится пилотка, заложены за спину. Светлые волосы аккуратно зачесаны набок. Лицо задумчивое и грустное с безразличным выражением глаз. Негромкая и спокойная речь и расчетливые движения давали знать всем окружающим, что сержант знает свое дело и не нуждается в помощи Иванова. Он начал свою работу с уборки мусора с территории лагеря, который раньше не выносился из зоны, а сваливался рядом с баракком. Уборка зачалась в субботу и закончилась в воскресенье. После окончания работы начальник устроил смотр. По команде Иванова повернул несколько раз строй кругом, налево и направо и остался недоволен.

— Готовит нас на парад!

— Скоро поедим в Хельсинки по случаю дня рождения маршалки Маннергейма — кавалера всех крестов, начиная от железного, кончая оловянным.

— И кандидата на получение деревянного, — бросали реплики в строю военнопленные.

Так отнеслись военнопленные к смотру.

После всей процедуры русских загнали в речку. Они нерешительно залезли в холодную воду и принялись купаться. Принесли полную коробку пуговиц и раздали пленным. На русской шинели, рядом с пуговицей со звездочкой и флотским якорем пристраиваются финские львы на мечах и шведские короны.

Поздно ночью доставили посылки Красного Креста. Их получали пленные редко и только то, что оставалось после «пробы» охраны. Новый начальник показывает на коробку с посылками и на бумагу, объясняет что-то пленным. Вызвали Иванова.

— Начальник просит у вас расписку, что все посылки, указанные в накладной, вручены пленным полностью, — объяснил Иванов.

— Первый раз встретился честный человек! Обычно приносили и бросали, как собакам, обглоданную кость! — сказал Леонид.

Все стремятся убедиться, что в бумаге действительно проставлено число принесенных посылок. Рассматривают на свет,

нет ли подделки, как будто обнаружение фальши могло сыграть какую-либо роль, если накладная неверна. Охотно дали расписку.

На разводе начальник проверил исправность обуви, записал на бумаге и убедился, что пуговицы пришиты. Перед воротами зоны стояли в строю солдаты и враждебно смотрели на сержанта. Период «вольности» для них миновал. Начальник наводил железной рукой дисциплину и порядок.

— Я требую опрятности от всех военнопленных. Вы своим видом позорите Красную Армию! Хотя вы в плену, но не забывайте: вы бывшие воины. Русская армия одна из сильнейших в мире и самая культурная, и я требую, чтобы пленные поддерживали ее традиции. Мы с вами враги, но моя гуманность заставляет относиться к вам, как к настоящим людям! — Так говорил перед военнопленными сержант. Иванов переводил по-своему: — Начальник требует от вас чистоплотности и аккуратности. Если вы не будете соблюдать ее, он будет наказывать.

— Я запрещаю охране быть военнопленных и применять телесные наказания! О таких случаях докладывайте мне.

— За малейшую провинность охрана будет расстреливать на месте, всякие жалобы запрещаю, и сам буду применять строгие меры, — безбожно врал переводчик Иванов.

Отношение охраны к пленным изменилось. Оно ощущалось двояко: не получали толчков и ударов, зато, не разгибая спины, работали с утра до позднего вечера. Охрана, недовольная поведением начальника, вымещала свое зло в форме физического утомления пленных. Несколько дней напряженной работы, и исчезнут последние силы.

Не в лучшем положении и те, кто не ходил на работу. Пайка сокращена до минимума. Постоянное лежание на голых нарах с думой о еде вызывает душевный и физический упадок сил. Таким военнопленным в условиях лагеря помочь нельзя: они обречены на медленную смерть.

Начальник видел это, но помочь был бессилён. Дольше других держится Рогов. Старше всех в лагере, ему 47 лет, он выглядит гораздо моложе своих лет. Никто не принял столько побоев от охраны, сколько Андрей Рогов. Он систематически променивает хлеб на табак, а когда не было его, курил всевозможные корни, высушенные листья и мох. Прокуривая последнюю пайку хлеба, он всячески помогал другим — особенно больным. Его организм крепок и вынослив. Он по-прежнему с утра до вечера ходит по бараку с пайкой в руке, предназначенный для промена на табак, то просто разговаривает с другими и рассказывает веселые анекдоты.

Начальник не выпустил его на работу, чем он остался недоволен. «Покупатель табака», так звала Рогова охрана, развел костер и варит траву в консервной банке. С ним сидит Житников. Он заметил живой движущийся предмет за проволокой и указал Рогову. Оба в раз произнесли: — «Прыгает», и, крадучись, поползли к проволоке. Зеленая жидкость, кипя, выливалась из банки. За пленными внимательно наблюдал часовой.

— «Что они делают?» — думал он.

Они усердно старались подтянуть прутиком к себе большую зеленую лягушку, которая не имела намерения прыгать к ним и двигалась в противоположенную сторону.

Наконец, Рогову удалось схватить ее. Откуда у него взялись силы. Он, сломя голову, бросился к бочке с водой. Налил в пустую банку воды и посадил лягушку. Весело насвистывая, принялся рубить дрова. Ему усердно помогал Житников.

— Не помогай, все равно не дам! — решительно заявил Рогов.

— Хоть попробовать, Андрей!

— Не проси, не дам!

Житников знал, ели Рогов не променяет лягушку на табак, отказать не посмеет. Заинтересованный часовой незаметно подошел к костру, открыл крышку и успокоенный вернулся на место: русские не нарушил правил о запрещенных предметах — в банке было живое существо. Банку поставили на костер. Рогов все время подбрасывал дрова. Вода кипела.

— Пусть парится!

— Пусть! — подтверждает Житников.

— Менять не буду — съем сам! — сказал Рогов и ушел в барак за солью.

Из любопытства Житников заглянул в банку, когда уже Рогов подходил к костру.

— Андрей, а лягушки нет! Не поверив, Рогов снял банку.

— Съел, гад! Доходяга проклятый!

И с кулаками обрушился на Житникова. Завязалась драка. Царапая друг другу лицо и, вырывая последние волосы на голове, кусаясь, они перекатывались по земле.

— Съел!

— Нет!

— Слопал!

— Нет!

И снова катались по земле.

«Ква-ква-ква!» — послышалось из-под проволоки. Они, удивленные, прекратили драку, стали на четвереньки и смотрели на лягушку. Она продолжала квакать. «Смотрите, дураки, деретесь ни за что! Я жива и невредима», — как будто хотела

сказать лягушка.

Послышался гул мотора и гудение сирены. Приближалась долгожданная машина с продуктами. Друзья забыли о лягушке и драке, бросились к воротам, обгоняя друг друга. Бежали и другие. И на этот раз Рогов оказался счастливее своего товарища: он попал на разгрузку машины и принес с собой хлеб в барак. Рогов ходил по бараку, выменивая табак на хлеб, и был очень щедр. Не скупился он и потому, что в мусорной яме у него было припрятано три буханки хлеба, украденные во время разгрузки. Распродав все, вспомнил о спрятанном хлебе и задал себе вопрос: «Как взять?»

Сознание подсказывает — завтра. Нагрузить мусорный ящик и вынести за зону. Такие работы поощрялись начальником, и охрана, не протестуя, выпускала через ворота. На обратном пути захватить припрятанное. Голод говорил другое — есть сегодня, а завтра будет видно. В раздумье Рогов вышел из барака.

— «Была — не была — пойду!»

Оттянув нижнюю проволоку, он незаметно подлез под нее. Вот и место, где спрятан хлеб. Не поднимаясь, быстро положил хлеб под рубаху и собрался в обратный путь. Автоматная очередь — пули летят над головой. Рогов прижался к земле. Малейшее движение — и снова очередь. Рогов слышит, со всех сторон бегут солдаты. На смерть перепуганного пленного, подгоняя пинками и ударами прикладов, волокут к реке. Охрана не интересуется, почему попал русский за зону.

Раздается брань и ругань, слышатся возгласы: «Расстрелять! Повесить! — И они спешат привести приговор в исполнение. В одном белье выскочил из палатки начальник. Растолкав солдат, спас Рогова от смерти. Ропот недовольства усилился. Запоздай он на минутку, и прощай жизнь Рогова! Оправившись от испуга и почувствовав себя в безопасности, Рогов рассказывал и уверял всех в бараке, что ничуть не испугался, а сам продолжал дрожать всем телом.

Проходит несколько дней — мер к Рогову не принято. Охрана с каждым днем все недоверчивее поглядывает на начальника.

В воскресенье перед строем зачитывается приговор — первый приговор в Финляндии, который оправдал русского военнопленного.

Его читает не Иванов, а женщина — переводчица, приехавшая для этой цели, по приглашению начальника. Она, путая русские слова, близорукими глазами смотрит в бумагу и переводит. Одновременно с русского на финский для охраны переводит Иванов. Переводчица или забыла разговорную русскую речь, если она была русская, или плохо знала русский язык. Из приговора

пленные поняли, за подобное преступление (по финским законам для военнопленных) Рогова нужно расстрелять, но начальник, учитывая, что пленный голоден и полезен под проволоку движимый страданиями голода, его прощает.

— Сержант коммунист! — открыто заявила охрана, некоторые угрожают финками.

Начальник без всякой боязни посмотрел на них, махнул рукой и ушел в свою палатку. В понятии солдат — человек, который не только помогает, но и сочувствует русским — коммунист. Был ли сержант коммунистом, определенно сказать никто не мог; не исключена возможность, что и был. Вероятнее всего, он имел человеческие чувства. Такие сделали выводы военнопленные.

Через несколько дней он подарил на память каждому из военнопленных по пять финских марок и уехал на фронт. Это были первые деньги, попавшие в лагерь.

Привезенного хлеба хватило на несколько дней. Большая часть его оказалась порченной, заплесневевшей. Его режут, а зеленая пыль поднимается вверх.

В лагере появилась дизентерия. Охрана, оставшаяся без начальника, почувствовала свободу и применяла меры против пленных, каким может позавидовать профессиональный палач средневековья. Она мстила им за поведение начальника, который давно был на фронте и, может быть, сложил голову на поле брани; они мстила за то, что им не удалось пожить в содержимом магазина; она вымещала свою злобу на русских за то, что природа их создала умственно и физически ограниченными. По меткому замечанию охранника Дутого — лесной лагерь военнопленных охраняли идиоты.

Когда в лагере две трети личного состава не вышли на работу (пленные не могли подняться с нар), охрана заволновалась и приняла решение увеличить выдачу порченного хлеба. А через несколько дней лагерь был выведен из строя. Пленные умирали, их никто не убирал. Трупы лежали рядом с живыми, распространяя зловоние.

Ночью ворота распахнулись настежь, и на пороге появился человек с автоматом в руке. Живые трупы с провалившимися глазами смотрели на него. Никто не верил своим глазам.

— Товарищи! Вы свободны — выходите!

Кто мог двигаться прыгали с нар, обнимая близкого, родного им человека со звездой на фуражке. Перед ними стоял освободитель.

— Товарищи! Мы не сможем забрать всех. Партизанский отряд невелик и возьмет только тех, кто сможет идти. Мужайтесь:

не сегодня, так завтра будет помощь! Мы отомстим за все! Мы не забудем жертв, предъявим счет!

Одна за другой в воздухе взвились три красных ракеты. Заговорил пулемет, и за баракom разорвался снаряд. Стены задрожали.

— Сколько их было?

— Восемнадцать! — отвечают пленные.

— Один сбежал, гад! Нам нужно идти. Спешите!

За партизанами потянулись все. Многие сумели дойти только до ворот. В бараке остались те, кто не слышал речи партизана и не услышит ее никогда. Лагерь окружили немцы.

— Товарищи! — крикнул Леонид, — идите и отомстите за нас!

Рогов принес три винтовки. Громов и Солдатов взяли за оружие. Партизаны ушли в горы. Леонид сосредоточенно целится и посылает пулю за пулей в темноту. Кончились патроны, разбил винтовку и пополз в барак.

В лесу раздавались одиночные выстрелы, сменявшиеся автоматными очередями и равномерной дробью пулеметов, неведомо куда била артиллерия. Уйти пленным не удалось. Многих пристрелили на месте, часть загнали в зону. Ночью не тревожили. Живые думали о завтрашней расправе и завидовали мертвым.

Приехало финское начальство. Среди них мелькает фуражка Иванова, который предупредил немцев. Пленных выстроили перед баракom. Пулеметы направлены в строй. Начальство на почтительном расстоянии; Пуранковский ближе к строю. Он, глотая слезы, пытается узнать, кто стрелял из лагеря. Позднее Пуранковский признался, что выстрелы из лагеря были очень меткие. Строй молчал. Подошел немецкий офицер, для устрашения пристрелил правофлангового и закричал. Пуранковский перевел:

— Если через минуту виновники не будут выданы или не признаются сами, расстреляны будут все!

Леонид вышел из строя. И все, как один, военнопленные, сжимая кулаки, подаются вперед. Он делает шаг — за ним все. Каждый думает: — Погибнуть всем, но не выдать товарища.

Предателя не оказалось. Из-за проволоки вырвалось пламя смерти. Русские не побежали — все смотрят смерти в глаза, поддерживая раненных товарищей.

Пуранковский закрыл уши руками, чтобы не слышать выстрелов, и убежал из зоны со словами: «В твоих жилах течет русская кровь!» Раненных добились, в живых оставили двадцать. Убитых бросают в барак. Проволоку снимают. Барак поджигают.

— Шнель! Шнель! — подгоняет немец.

Житников взмахнул лопатой. Из-под пилотки немца брызнула кровь — замертво падает фриц. Выстрел — меньше одним товарищем.

«Не поступить ли мне так?» — подумал Леонид. Сознание правоты и непоколебимости того дела, за которое он сражался, за которое бьются русские люди на фронте, во имя чего погибли товарищи, удержало его.

— Я должен встать в строй и отомстить за погибших!

Место, где был расположен лесной лагерь, аккуратно прибрано, чтобы скрыть следы кровавого преступления.

21. Встреча с другом

Водопровод для снабжения завода водой, которого боялись пленные, был уже закончен. Закопаны последние трубы, вместе с ними похоронено триста военнопленных, умерших от побоев, голода и болезней. В последнее время военнопленные поступали без разделения по национальности, и количество их в лагере было неизменно — пятьсот: умерших заменяли немедленно другими. Прибывшие из лесного лагеря надеялись встретиться с товарищами, с которыми первыми вступили в лагерь. Судьба готовила жестокое разочарование. Неровные кресты около проволочного ограждения оставили грустное воспоминание о друзьях.

Лагерь выглядел по-другому. Построен еще один жилой барак, разделенный на три секции. В первой, с двухъярусными нарами, жили военнопленные, во второй — переводчики, а в третьей — склад, сапожная и пошивочные мастерские.

В одном углу зоны, рядом с первым баракom, — кухня и санчасть. За вторым баракom — баня. Рядом с нею — дезокамера, заменявшая карцер.

При входе в зону — домик коменданта лагеря. Для охраны также выстроен один жилой барак и склад для хранения продуктов.

Одним словом, лагерь вырос заметно.

Деятнадцать военнопленных разбрелись по зоне, надеясь встретиться со знакомыми, оставшимися в живых. Ответ один: или умер, или совсем не припомнят. Военнопленные удивленно смотрят, когда их спрашивают о людях, впервые прибывших в Никель: они не знали, что вновь прибывшие год назад основали этот лагерь.

Леонида встретил невысокого роста, но плотного телосложения военнопленный и, назвав по фамилии, приветствовал, как старого знакомого.

Маевский, несмотря на свою прекрасную память, не мог вспомнить, где видел его, но твердо был уверен, что в плену не встречался.

— Иван Тульский, — краснофлотец 2-го батальона морской пехоты, отрекомендовался военнопленный и пояснил: — Я прибыл в батальон на год позднее вас. Был в нем немного — перевели в Выборгский укрепрайон. Вас я запомнил хорошо: вы были лучшим игроком в футбол. Последний раз играли в городе Койвисто на бригадной спартакиаде 9 мая 1941 года.

Леонид подозрительно посмотрел на него.

— Да, я вас видел последний раз там, — продолжал разговор Иван.

— Может быть, я от людей не прятался, — ответил Леонид и, заметив проходящего, окрикнул: — Михаил! — и подошел к остановившемуся.

Шаров не ожидал встречи, так как он ранее слышал, что Леонид совершил побег и был задержан. Между друзьями по внешнему виду было большая противоположность. Михаил работал поваром на кухне, был сыт и прилично одет. Едвадвигающий ногами, худой, весь оборванный, стоял Леонид перед ним с протянутой рукой. От радости и неожиданности Михаил забыл позвать руку. В это время крикнули: — Вода в котле кипит!

Когда Шаров пошел, кто-то со злостью в голосе крикнул ему в след: — Сытый голодному не товарищ! Он видел растерявшегося Маевского, стоявшего посреди зоны по-прежнему с протянутой рукой, и ему показалось, что пленный обращался к повару за помощью.

«может ли быть между нами дружба? Один из нас оказался в наиболее благоприятных условиях, второй нет, — каждый борется за свое существование» — подумал Леонид.

Не только Маевский, но и многие другие военнопленные видели своими глазами, как лучшие друзья до плена забывали свою дружбу из-за куска хлеба. Забывалась дружба, забывалась великая идея, за которую они раньше боролись вместе. К счастью, таких было мало.

— Хочешь есть? Пойдем в барак — накормлю! — прервал молчание Тульский.

— Спасибо товарищ! И Леонид еще раз посмотрел на дверь, где скрылся Шаров, и подумал: — «Все может быть».

— Я с первого дня буду помогать своему командиру — говорил Шаров поварам, — это моя обязанность, несмотря на то, что в плену мы на равных правах, и никто не требует соблюдения законов субординации.

После окончания смены Михаил не пошел к себе в барак, а разыскал Леонида. В бараке стоял шум. Стук молотков смешивался со скрежетом пил; песня и разговоры сливались в одном гуле; около печи приспособились мастера выжигания ящичков и портсигаров; за столом группа картежников. Такого оживленного движения военнопленных Леонид не видел ни в одном лагере и с интересом наблюдал с верхних нар.

Михаил угадал мысли Маевского и заговорил: — В Никеле борьба за жизнь и существование с первого дня приняла острую форму. Надеяться на подачки и свалку как в других лагерях, не

приходилось, и многие принялись за ремесло. Делают кольца, портсигары, ящики, плетут корзины из соломы и травы. Все изделия сбывают финнам и немцам за хлеб, табак и марки.

— Покупают хорошо? — спросил Леонид.

— Положение рабочих завода и шахтеров, когда на весь рабочий поселок не имеется ни одного сапожника и швейной мастерской, незавидное. Большинство рабочих приезжие, семьи находятся внутри Финляндии, поэтому многие покупают по необходимости, другие — из интереса, а третьи — за не имением чего-либо лучшего у себя. Рабочие не стесняются отдавать в стирку белье и комбинезоны.

— А где берут материал для ремонта? — поинтересовался Иван Григорьев.

Михаил улыбнулся и ответил: — Материалом для ремонта служит все, что плохо лежит на заводе. Ремесло преследуется со стороны охраны. Виновников строго наказывают и отбирают инструмент, лишают пайки. Определенной цены на изделия нет, продают, кто как сумеет, так военнопленные поддерживают себя материально. Но самая обеспеченная группа в лагере — картежники. Они редко ходят на работу, нанимая за себя людей из других смен.

Лицо Леонида приняло мрачное выражение, и он с грустью сказал: — С появлением денег появилась зависимость людей от тех, кто обладает ими.

— Старшина лагеря Гаврилов, Смен Баранов, палач Максимов, Данилов составляют ядро «магнатов» лагеря. Максимов, обладая не одной сотней марок, не бросил своего ремесла. Все также ходит с двумя котелками на кухню за свою гнусную работу.

- Я перебыл тебя, Михаил, — сказал Леонид, — а где старый старшина лагеря? Если мне не изменяет память — Алексеев.

— Он был лучшим другом Николая Гаврилова, — добавил Иван.

— Справедливый был человек, — сказал Шаров, — Кто-то донес, что он знает место, где закопан бензин при отступлении наших частей. Его вызвали на допрос. Он категорически отрицал. В одно прекрасное утро его вместе с Гавриловым увезли неизвестно куда. Воротился через месяц. Здорового и жизнерадостного Алексева узнать было нельзя. Вскоре он умер. Так выдвинулся в старшины Николай Гаврилов.

— Выдал Алексева Гаврилов? — спросил Иван.

— Сейчас трудно судить об этом. Вернемся на родину — разберемся....

— Немцы идут! — крикнули с верхних нар.

Мигом все стихло; перестали стучать молотки и визжать пилы; картежники, как ни в чем ни бывало, сидят по-прежнему за столом и играют в домино.

— Первый раз появились в лагере немцы, — объяснил Шаров.

Они делают повальный обыск. Заглядывают в котелки, тщательно проверяют содержимое всех банок. Финны в роли наблюдателей — услужливо показывают все места, где можно что-либо спрятать, а фрицы, не понимая насмешки, лезут. Грязные, в пыли, как кочегары, недоумевая, удаляются из барака.

С этого дня финская собака «Нора» нашла свое место на цепи и больше не тревожила пленных.

— Объясни причину, Михаил, что искали немцы? — попросил Леонид.

— Подрбностей не знаю, но вечером видел — шкура собаки валялась в уборной.

— Мы возвращались с работы, и нас догнал немец с розыскной собакой. Весело прыгая, то перегоняя строй, то снова возвращаясь к хозяину, собака долгое время следовала за нами. Охранник в шутку предложил русским поймать ее, рассчитывая, что ни один военнопленный не решится голыми руками схватить злую собаку: небмецкая розыскная собака была известна во всей Петсамской области. Первое время солдат не беспокоился, а когда мы свернули в зону (ему путь предстоял дальше) они долго стоял, насвистывая. Ожидания оказались напрасными. Гаврила Быков на ходу схватил ее и задушил. Солдат не обнаружил собаки дома, понял, но уже было поздно ... Товарищи в бане веселятся! — пояснил Леониду незнакомый пленный.

Выключили свет. Все легли спать. Только Леонид с Шаровым продолжали разговор. Михаил ушел в свой барак утром, когда Леониду надо было идти на работу.

22. Гибель товарища

Завод еще не работал. Шахта ежедневно поставляла сотни тонн высококачественной руды с большим процентом содержания никеля. Встречался и самородный никель. Руду сгружали во дворе завода. Территория завода со всеми пристройками огорожена сеточным заграждением. Вдоль каждой стороны беспрерывно патрулируют немецкие солдаты. Вход на территорию завода строго по пропускам. Немецкий часовой у ворот тщательно проверяет все выходящие и входящие машины. Начиная от вахты, стоят указатели местонахождения бомбоубежища. С северо-восточной стороны завода узкоколейная железная дорога, которая пересекает территорию завода в нескольких местах, уходит в туннель — вход в шахту. Около раздевалки шахтеров на фанере большими буквами написано: «Безопасно от бомб в шахте на расстоянии 200 метров от входа».

Леонид с бригадой вышел на погрузку руды. Не только финны, и русские с сожалением смотрят, как драгоценная руда уплывает на немецких и шведских машинах. Везут в норвежский порт Киркенес, погружают на пароходы и отправляют в Германию.

Каждый раз, когда в направлении Киркенеса слышится бомбежка, финны облегченно вздыхают:

— Русские самолеты отправили на дно моря наш никель!

На вывоз руды за границу каждый смотрит по-своему: финны — как покушение на их драгоценность; русские — как на оружие возможного уничтожения своих товарищей на фронте.

Помешать немцам никто не может: война приняла ожесточенный характер. Вскоре немцы, как хозяева, отказали шведам в поставке никеля. В лице шведов военнопленные потеряли хороших покупателей своих изделий.

Для Леонида первый день на работе прошел незаметно. Когда русские собирались домой, подошла машина и стала под погрузку. Из нее вылез пьяный шофер, и приятельски поздоровался с охраной и подал руку Ивану Тульскому. У них завязалась беседа, и шофер с откровенностью рассказывал, что едва унес ноги от бомбежки в порту, а пароход пошел на дно, — смеялся и был доволен.

Шофер Порвари, красивый малый, но горький пьяница — единственный финн, который работал на своей машине, помогая немцам перевозить финский никель в Киркенес. Он предусмотрителен, но не скуп. Его машина застрахована у

немцев, шведов и финнов. Для него не существует родины: на фронт идти не хочет, откупился. Четыреста семьдесят пять тысяч марок хранятся в шведском банке, делают его независимым от своей родины и своего народа.

На каждый тревожный слух реагирует болезненно и не скрывает, что при первом появлении русских убежит в Швецию. Делая услугу немцам, он всей душой ненавидит их. Стоит ему увидеть на дороге немца с поднятой рукой, вместо того, чтобы остановить машину, он с ревом сирены проносится мимо него, стараясь, во что бы то ни стало задеть бортом кузова и сшибить в канаву. Порвари, как немцы, не стоит долгие часы в очереди под погрузкой. Чувствует себя хозяином положения, бросает русским куски хлеба и приказывает грузить, но уезжает всегда последним, нагулявшись и выпавшись в поселке. В победе русских не сомневался, и в беседе говорил одни и те же слова и для русских, и для финнов, и для немцев: «Сталин — великий полководец, он громил немцев и финнов во время русской революции, Гитлер — капрал, а Маннергейм — выживший из ума старик!»

Другого за эти слова давно бы угнали на каторгу, но деньги делают все: перед ним преклоняются.

Пока грузили машину, Порвари интересовался новыми военнопленными в бригаде: кто они, где работали, где находится жена, дети и родные?

— Товарищ! — обратился Тульский к шоферу — русский хорошо знает машину, — и показал на Солдатова. Порвари довольно улыбнулся и предложил Николаю прокатиться. Леониду странным показалось, что охрана не протестовала. Машина нагружена; Порвари уехал; пленные построились и пошли в барак.

Леониду с первого взгляда не понравился Тульский. Не привлекательная наружность, слишком большая голова, раскосые серые глаза, а главное — болтливость отталкивали друзей от него. Тульский был чересчур откровенен и с первой встречи заявил Леониду, что имеет группу, занимающуюся вредительством. После возвращения с работы Леонид разыскал Шарова. Переговорив с Тульским, они решили ночью в столовой собрать всех членов группы.

Вечером около дверей столовой Сашка — инвалид рубил дрова и, заметив подходящих военнопленных, спрашивал: — За ужином?

Поздно — скоро завтрак раздавать будут!

— Я за добавком! — отвечали ему.

— За каким?

— Горячие сосиски с гарниром!

— Проходи! — отвечал инвалид и принимался за свое дело. Случалось, подходили и те, кого не приглашали, тогда зло кричал: — Какие могут быть добавки ночью! Иди, иди, спать, а не то добавлю деревянное ногой под доброе место!

Когда были все в сборе, Михаил Шаров без долгих объяснений приступил к делу.

- Мы собрались сюда затем, чтобы поговорить о дальнейшей нашей работе. Борьба мелкими группами не оправдала себя, и мы решили объединиться одну группу под единым руководством. Кстати, к нам прибыл новый товарищ, который возглавит всю работу в лагере, на производстве и фактически будет единоначальником, с которым вы сейчас познакомитесь. Предупреждаю, что знать, кто руководит в лагере борьбой, должны только вы — остальные члены группы будут получать указания через вас.

Из вновь прибывших на первом совещании присутствовал Маевский, Громов и Солдатов. Громов сразу же нашел общий язык с товарищами и до речи Шарова все время беседовал с военнопленными, шутил, бросал замечания в адрес некоторых и пришелся по душе большинству присутствующих. На Леонида никто не обратил внимания: по внешнему виду он выглядел хуже всех. Даже военнопленные, выдавшие виды, были удивлены его худобой и порванной, ветхой одеждою. Николай сидел на мешке картофеля и порою поглаживал рыжую окладистую бороду.

Он выглядел солидно и важно, и в первую минуту военнопленные решили, что именно он назначен их командиром.

Яшка Филин, круглолицый украинец, с женственным выражением лица, толкнул в бок соседа и шепотом сказал: — Вот этот похож на руководителя, да и силенку видно есть у него.

— Похоже так, — ответил сосед Филина, чуть привстав, чтобы лучше разглядеть в полумраке Николая. Заседание открыли.

— Мне по-о-о-ручено руководить, — заговорил Леонид сильно заикаясь. Все изумленно посмотрели в сторону Маевского. Леонид заметил на себе пытливый взгляд присутствующих и сначала смутился, затем, овладев собою, заговорил спокойнее:

— Тот, кто не забыл священного долга перед родиной, поймет меня, что до сих пор мы сидели сложа руки, или действовали малоактивно. С таким положением советские люди мириться не могут. Мы должны продолжать борьбу и в плену или признать себя побежденными и ожидать, когда нас выручат свои. Борьба сопряжена с большим риском для жизни: вы знаете — в плену не существует ни следствия, ни судов. Ожидание помощи извне менее опасно... Мы выбираем первый — трудный, но

вместе с тем почетный путь. Ток, кто боится смерти — вон дверь, может быть свободен.

В это время дверь распахнулась настежь и на пороге показался Сашка — инвалид.

— Пожалуйста, — сказал он, — путь свободен!

— Закрой дверь! — враз послышалось несколько голосов.

— Иду, — спокойно ответил он — и, по-солдатски повернувшись, громко пристукнул деревяшкой.

— Я с глубокой признательностью, — продолжал Леонид, когда инвалид закрыл дверь за собою, — отмечаю ваше единодушное мнение продолжать борьбу и надеюсь, что среди нас не найдется людей, которые в трудную минуту проявят трусость и малодушие ... Вредительство и пропаганда среди финских рабочих — вот основная наша задача. Вам будут давать конкретные задания, но это не значит, что вы должны все время ожидать указаний. Бригады работают в разных местах, и вы обязаны проявлять самостоятельную инициативу при полной конспирации. Пропагандой среди рабочих будут заниматься товарищи по моему указанию, а среди охраны солдат, член нашей группы.

— Кто он? — не сдержав любопытства, спросил Яков Филин.

— Пока не нахожу нужным объяснять, — сказал Леонид, — но он у нас есть и будет работать. Вот все, что я хотел сказать.

И сразу посыпались сотни вопросов. Пока говорил Леонид, у всех рассеялось мнение недоверия, вызванного его внешним обликом. Маевскому товарищи жали поочередно руку и уверяли, что они оправдают доверие, оказанное им, и, попрощавшись, поодиночке выходили из столовой.

Кроме группы Леонида, действующей по ранее задуманному плану, большой вред заводу приносили те, кто занимался ремеслом. Большой спрос был на кольца. Мастера колец отвинчивали и отпиливали краны, тащили всевозможные детали: бронзовые, медные, алюминиевые. Приостановить работу никакими репрессиями и преследованиями было нельзя: люди зарабатывали кусок хлеба, рискуя жизнью, во имя жизни. Как больному нужен воздух, так и пленным нужен кусок хлеба. Его не давали — борьба за жизнь толкала на неумышленное вредительство, а зачастую и на воровство. Большинство бригад имели постоянную работу, одни на заводе, другие на строительстве, за исключением той, где был Леонид. Она работала по всей территории завода, где было необходимо, и перебрасывалась с места на место.

Тульский был хорошо знаком с заводом и предложил Леониду уничтожить конвейер, монтаж которого закончился.

Третий этаж не был центром внимания: там велись отдельные незначительные работы. Изрезанный на части ремень конвейера исчез; его вынесли с мусором Леонид и Тульский, но не выбросили, а припрятали и, разрезав, отдельными кусками пронесли в барак и продали тем, кто занимался починкой обуви. Потребность в резине была велика. Те, кто не желал покупать резину, интересовались, откуда берется она. Леонид осторожно указал на катки транспортера. Не прошло и недели, как с них была обрезана вся резина, и железный каркас конвейера выглядел уныло, как скелет.

Оказание всемерной поддержки людям, занимающимся ремеслом, Леонид считал первостепенной задачей. Поэтому он принял необходимые меры к снабжению их материалом и поощрял членов своей группы, занимающихся сбытом готовых изделий. Мастера забили тревогу. Поставили в известность полицию и совместно с нею нагрянули с обыском в барак. Обыск не дал результата. Начали проверять подошвы сапог и ботинок у военнопленных. У всех, кто стоял в строю, были деревянные подошвы. Сапожники, посмеивались, охотно поднимали ноги, а сами думали: «Не на ваших ли сапогах, господа полицейские и мастера, находится резина с уничтоженного конвейера? Не вы ли по дешевке, за кусок хлеба, нанимали русских ремонтировать обувь, зная, что подобная работа преследуется вашими же законами? Сейчас замечаете следы!»

— Леонид, у того курносого полицейского, который ищет вора, на сапогах новые резиновые подошвы, и не успела засохнуть мазь, намазанная русским! — произнес Громов, чтобы слышали переводчики.

— Не иначе, как наша братва ремонтировала! — утвердительно ответил Солдатов.

— Да я ему только утром передал их, и он принес мне две буханки хлеба, — подтвердили из задних рядов. По голосу Леонид определил, что говорил Гаврила Быков.

Не солоно хлебавши, они убираются восвояси. Случалось, целые недели бригаду не срывали с погрузки руды на машины. За это время познакомились с немцами — шоферами и хорошо изучили финна Порвари. Он нарочно ставит машину подальше от погрузки, чтобы Солдатов имел удовольствие прокатиться по всему заводу. Николая он полюбил и во всеуслышание заявил, что по приходу русских машина будет принадлежать ему.

В воскресенье рабочие отдыхают, а работе пленных конца не видно. Шофера торопят с погрузкой. На очереди стоит большая вереница машин.

В воскресенье Порвари был хорошим настроении, поставил

машину и поспешил в поселок, где оставил веселую компанию. На ходу хлопнул охранника по плечу и произнес: — Чувствуешь вину пред русскими? Пока не поздно, проси прощения! Русские терпят все, но всему бывает конец. Уж если русский размахнется, то ударит, а ударит — не встанешь.... Пойдем, выпьем.

Часовой с минуту колебался и, предупредив товарища, пошел с шофером.

Немцы и финны прилагают все усилия вывести больше драгоценной руды, но никто не думает исправить мостик, по которому подъезжают к погрузке. Он ветхий, на нем не могут разехаться две машины. Бревна скрипят, с минуту на минуту мост может рухнуть. Немцы считают, что ремонт может задержать погрузку руды.

Машина Порвари погружена; Солдатов медлит ее вести, ожидая, когда медленно, словно черепаха, немецкая машина пройдет по мосту.

— Эх, Николай, стукнуть бы ее на мосту, и капут ей!

Солдатов растерянно взглянул на Тульского и перевел взор на Леонида, тот одобрительно кивнул в знак согласия с Иваном.

«Погибнуть самому, — мелькнула мысль, — Не все ли равно!» — подсказал внутренний голос, и он рванул стартер. Дальше ничего не помнил. Очнулся, перед ним были свои люди, — в канаве, на боку лежал форд. Под провалившимся настилом моста валялся немецкий «Vomar».

Появился Порвари и остановился возле толпы любопытных. Он не жалел машину: стоимость получит, но интересовался происшедшим. Толком объяснить ему не могли.

— Мита?^[2] — задает вопрос немцу Порвари.

— Вас?^[3] — спрашивает его немец.

— Вас? — передразнивает немца финн и бьет кулаком в лицо. Не ожидавший удара, немец кубарем катится в канаву.

— Не того! — весело смеются финны и русские, каждый объясняет на своем языке. — Кого надо, унесли вперед ногами...

— Ничего! Все равно! — махнул ругой Порвари и зашагал в контору получать деньги за разбитую машину, весело насвистывая, довольный тем, что в контракте не указано, от каких причин может пострадать машина.

Судьба немца-шофера неизвестна; Солдатов отделался легкими ушибами. Никто, кроме переводчика Иванова, этому событию не придал значения. Через три дня был восстановлен мост, и началась нормальная работа. Через несколько дней после аварии Иванов бросился под мотовоз. Одним паразитом стало меньше. Леониду удалось выяснить: причиной смерти Иванова был Тульский. Об этом ему он вначале не сказал, так как был

занят.

— Заманчивая цель — электростанция, но доступ в нее военнопленным закрыт — рассуждал Маевский, сидя с Шаровым на бревнах около столовой.

— На заводе многолюдно; нет подходящей обстановки. Тульский нетерпелив и жаждет работы и действия. Действует активно, но не осторожно, нарушая запрет, вербует самостоятельно новых членов, не заботясь о конспирации и боевых качествах. В данный момент важнее иметь меньше членов группы, но зато проверенных и опытных. Придет время за нами пойдут остальные сами.

За Тульским надо следить и направлять его действия в правильное русло. Но как быть? С каждым днем военнопленные все настойчивее стали требовать указаний, и никто не хочет ждать: все горят рвением мстить врагу! Если не удовлетворить их просьбу, они могут пойти по пути Тульского...

Маевский тяжело вздохнул и замолчал. Шаров внимательно слушал, наблюдая за дровоколом — инвалидом, который усиленно стучал кувалдой по топору, стараясь расколоть толстую чурку. Шарову больше всех надоело сидеть около кухонных котлов без дела и в отрыве от настоящей работы, но, получив раз жесткий отпор Маевского за попытку перейти в линейную бригаду, спрашивать больше не решался. Нервное состояние Маевского ему было хорошо понятно. Несмотря на все имеющиеся у Тульского недостатки, Леонид считал его одним из лучших и смелых членов группы сопротивления, на которого он мог с полной уверенностью положиться, и боялся потерять его преждевременно. Более всего он боялся, что кто-нибудь из товарищей последует его боевому духу и провалится. Тульский был надежен, а другой — сможет ли выдержать пытку и не купит ли свою жизнь смертью других.

Чтобы отвлечь Маевского от внезапно нахлынувших мыслей, Шаров принялся рассказывать о первых действиях переводчика Пуранковского среди охраны. Маевский вздрогнул и побледнел и стал озиаться по сторонам, чтобы убедиться, не слышал ли кто произнесенные Шаровым слова. Когда перед Маевским неожиданно выросла неуклюжая фигура Тульского, он попросил Шарова: — Михаил, никогда больше не упоминай фамилии переводчика! Его мы обязаны беречь дороже жизни! — затем крикнул: — Тульский!

— Моя фамилия не Тульский, я родом из Тулы, — сказал Иван, присаживаясь рядом.

— Мы в плену — люди без имени! Когда я был в Янискосках, меня называли Лешка — моряк. Прожил я там несколько месяцев

— меня назначили на этап. И когда зачитали мою фамилию, добрая половина барака уверяла, что такого нет.

— Охотно верю! — воскликнул Сашка-инвалид, отрываясь от своего занятия. — Я уверен в том, что никто из вас не знает моей настоящей фамилии и имени. А она у меня знаменитая!

— Положим фамилии твоей я действительно не знаю, — сказал Маевский, — но зовут тебя Александром.

— Нет! Зовут меня Богдан! А фамилия — Хмельницкий!

Шаров прыснул от смеха, не мог удержаться и Маевский потому, что между Богданом и Александром не существовало никакой связи.

— А получилось это так: после госпиталя я был в Оулу. Работал на финской кухне в той же должности, что и сейчас — то есть, дровоколом. И вот охрана вместо Богдана называла меня болваном. — Инвалид от негодования развел руками — Ну, думаю, какой я болван, Богдан — горный техник! Правда многие из солдат не понимали разницы между Богданом и болваном, а другие злоупотребляли. Я не стал откликаться им и так стал Александром.

— Это нас должно меньше всего интересовать: я знаю то, что как бы нас не называли враги, мы должны оставаться солдатами родины.

— Так и должно быть, а не как иначе! — воскликнул Иван.

— Будет время Иван, — заговорил вновь Леонид, — когда мы будем с отвращением вспоминать черные дни плена, а сегодня поручаю вам разработать план уничтожения бензинохранилища, предназначенного для шахты. Учтите возможность проникновения на электростанцию — специалист электрик у нас есть.

На следующий день вечером в столовой Иван Тульский докладывал свой план: — Около входа в шахту огорожена небольшая площадь, где хранится бензин и масло. Масло идет для смазки машин. Пленные с помощью подставной лестницы проникают за проволоку и берут масло, употребляя в пищу. Напротив бензинохранилища продуктовый склад. Через заранее выломанную доску я проникал в него. Склад служил нам объектом пополнения продуктами, но теперь должен послужить местом вспышки пожара, а когда возникнет паника, кто-нибудь должен поджечь бочки с маслом. От масла загорится бензин, приближаться к бензинохранилищу будет опасно, поэтому все усилия будут направлены на тушение склада, чтобы не дать огню распространиться на заводские постройки. В это время возможно проникнуть на электростанцию.

— План вполне реален, — сказал Леонид. — Тульскому

поручается склад, так как он знает потайной вход. В помощь человека он выберет по своему усмотрению. Товарищ Филин займется бензинохранилищем. Электростанция — Громову!

Электростанция охраняется немцами и проникнуть в нее очень трудно. Выйти этим же путем нельзя. Возможность остается только через крышу или подземным ходом. Задача очень трудная и опасная, учтите это Громов, и напрасно не рискуйте жизнью.

— Но не труднее, чем белить в Янискосках электростанцию! — сказал весело Громов. Шаров засмеялся, но Громов уже серьезным голосом продолжал: — Если я доберусь, то мигом наделаю дел! Двадцать лет я работал на электростанции и имею достаточный практический опыт.

— Я думаю, — продолжал Леонид, — для успешного выполнения поставленной задачи необходимо привлечь Владимира Пуранковского. Каково твое мнение, Михаил?

— Он дал согласие помогать во всем, но конкретно о таких мероприятиях я с ним не говорил, поэтому сказать утвердительно затрудняюсь, — ответил Шаров.

— Мероприятие очень серьезное, поэтому вмешивать финна, который еще не совсем проверен нельзя, — сказал Тульский.

Громов решительно запротестовал. Его поддержал Филин.

— Если он согласится, то окажет нам неоценимую услугу. Не лучше ли обождать и выяснить поведение переводчика! — настаивал на своем Маевский.

— Леонид, ждать нельзя! — возразил Тульский. — Сегодня мы работаем на заводе, завтра пошлют на другое место.

Возражение Тульского было основательным, и с ними нельзя было не согласиться, поэтому Леонид сказал: — В этом ты прав. Значит, решено, Пуранковскому не сообщать.

К намеченному времени Яшке Филину не удалось проникнуть через ограждение, так как возле бензинохранилища все время ходили подозрительные люди, и он терпеливо ждал вспышки в бараке. Тульский медлил. Проникнув внутрь склада, он чиркнул спичку, осветив место, выбранное заранее для поджога...

Перед ним стоял солдат с пистолетом в руке.

Леонида ошеломила неприятная новость, и он не мог найти себе места. Шаров еще не знал о случившемся, но, заметив бледное лицо Леонида, когда раздавал ужин, понял. Оставив за себя в столовой хлебореza, Михаил побежал к Леониду.

— Вызови Пуранковского, я хочу поговорить с ним, — приказал Маевский.

Пуранковский догадался о причине просьбы прийти в столовую, но никак не ожидал, что с ним заговорят у ворот на виду всей охраны. Леонид подошел к нему вплотную, глянул в

упор и резко произнес: — Узнайте, кто выдал его! Вы поняли меня? Идите!

Размышлять было некогда; слова русского для него были настолько неожиданны, что он машинально приложил руку к козырьку и произнес: — Есть!

Леонид тотчас удалился, а Пуранковский, не успев различить в темноте говорившего, вышел из зоны.

Ему не составило большой трудности узнать провокатора: допросы военнопленных по делу Тульского проходили в его присутствие, где он был переводчиком.

В столовой Пуранковский застал Маевского, беседующего с Шаровым и инвалида, перебиравшего картофель. По голосу Леонида он определил, что именно он разговаривал с ним ночью, и у Пуранковского рассеялось последнее сомнение в возможной провокации Эндриксона против него; с Шаровым он был давно знаком и связал свою судьбу по совместной работе, но присутствие инвалида его смущало, и он заговорил на отвлеченную тему.

— Свой человек, говорите! — сказал Шаров, заметив, что Пуранковский боится инвалида.

— Спасти товарища нельзя — судьба решилась окончательно!

Леонид предвидел исход дела, но, услышав слова переводчика, склонил голову.

— Расстреляют завтра, как только прибудет новый начальник, — продолжал переводчик, — Мецала отказался выполнить распоряжение директора завода — дать команду солдатам расстрелять пленного и подал рапорт об отстранении его от должности.

— А те двое, — не поднимая головы, спросил Леонид.

— Они в безопасности. Их арестовали за то, что в бараке нашли сало, принесенное из склада. Один из них Волков, оказался жертвой своей нечестности, укрыв у Тульского сало. Рошин — провокатор.

Пока переводчик говорил, Леонид думал о другом. До его сознания долетали отдельные фразы. Мысли витали вокруг Тульского, но, услышав слово провокатор, Леонид встал и подошел к Пуранковскому.

— Вы в этом убеждены? — спросил он.

— Вполне! — ответил переводчик. — Рошин будет прощен — предварительно поцелует сапоги нового начальника.

— Маневр и милосердие разыгрывают господа начальники, — сказал Шаров, — но Рошину номер не пройдет!

— Спасибо, Владимир! От всего сердца благодарю! — и Леонид крепко пожал руку переводчика.

— Вы можете рассчитывать на мою помощь всегда и считайте меня взамен погибшего товарища! — сказал гордо Пуранковский.

... Их вывели за проволоку рано утром. Ярко светит солнце, необычное в этих краях в данное время года, согревая теплом Тульского в последний раз.

— Вернетесь, сообщите в бригаду, что я честно погиб за родину, — крикнул он и запел «Интернационал».

Принесли лопаты и кирки. Военнопленные лагеря сгрудились около проволоки. Тульский роет для себя могилу, двое стоят на коленях. Рошин целует сапоги начальника. Помиловали обоих, и Рошина и Волкова. Они бегут в барак, не чувствуя под собой земли.

Но напрасно спешил Рошин в барак. Там ожидала его бесславная смерть.

— Тульский погибнет как герой, а ты — как подлец. Я готов таких негодяев бить каждый день, — произнес инвалид и ударил Рошина по голове поленом.

— За что? — спросил Волков, когда Рошин замертво пал.

— Ты ничего не видел и не знаешь! — гневно сказал инвалид, вытирая слезы грязным рукавом. — Иначе тебя ждет участь предателя! Иди в барак!

Тульского не видно, куча земли над ямой растет. Наконец он вылезает, садится на край могилы и закуривает. Всегда раздраженный и нервный, Тульский перед смертью необычайно спокоен. Палачи ожидают, когда приговоренный закончит курить, не хотят лишиться последнего удовольствия, беседуют между собой.

Мецала уговаривает начальника, но он неумолим, по-видимому, вопрос решен окончательно. Пуранковский и Мецала удаляются в барак, чтобы не слышать выстрела. Добровольным палачом napросился санитар сержант Луйко. Он становится против Тульского в двух шагах и поднимает пистолет. Солнце светит в глаза Ивану. Он подносит руку к глазам, чтобы было удобно смотреть на убийцу.

— Встань на колени и проси у начальника прощения! — говорит Луйко.

— Моряки на колени не становятся и пощады не просят!

Тульский смотрит в глаза палачу.

— Отвернись! Встань спиной ко мне!

— Мы привыкли смотреть смерти в глаза!

Луйко нажал спуск — раздался выстрел. Тульский продолжал стоять. Убийца промахнулся. Рука с пистолетом была от головы моряка не более чем на полметра. Чтобы не потерять остатков самообладания, Луйко делает еще шаг и вплотную приставляет

пистолет к груди Тульского.

Закапывать товарища пошел Громов. Солдатов на медной дощечке выгравировал надпись: «Краснофлотец Иван Тульский не встал на колени перед врагами. 1942 год».

23. Иван Григорьев не выдержал каторги

Маевский временами был в настроении, шутил, рассказывал веселые анекдоты, подымал настроение другим. Порою, тоска находила на него. Тоскуя и думая о родине, делался мочалив и замкнут. В это время был скуп на слова, и они были проникнуты желчью насмешек ко всему окружающему, в том числе к себе и своими товарищам. Отсутствие ободряющих слухов о родине, гибель Ивана Тульского, и еще ряд причин — нагоняли тоску на душу Леонида. Он перебрал в памяти время, прожитое в плену, и пришел к убеждению, что работа его группы еще не оправдала себя достаточно. Необходимо активизировать работу и придать ей массовый характер.

И вот, в новый год, в бараках появились литовки. Шаров, имевший достаточно времени, размножил их на кухне во время ночного дежурства и разбросал по баракам. Они призывали к активной борьбе и саботажу. В них прямо спрашивалось у военнопленных: думают ли они вернуться на родину? Если думают, то как?

Поговорили, поспорили и время снова пошло своим чередом. Пленные делали ящики, портсигары и продавали финнам. Солдаты отбирали изделия и избивали русских. Каждый вечер перерывали барак и заставляли старшину Гаврилова уничтожать изделия, найденные в бараке, что он исполнял охотно. С уменьшением выпуска изделий заметно снижался жизненный уровень военнопленных. Исчезла торговля — не поступало хлеба.

Если в лесном лагере пять марок, полученных от финского сержанта, не имели никакой ценности, то в Никеле их имел каждый, и велась оживленная торговля. Хождение они имели исключительно внутри зоны, и в редких случаях, кто работал с финнами, те покупали хлеб. Финляндия не знала времен, когда не существовало карточной системы, и рассказам пленных о свободной торговле в Советском Союзе не верили. Многие из рабочих делились с русскими хлебом и не брали марок. Были и спекулянты — за буханку хлеба, фактическая стоимость которой — три-пять марок, брали по 25–30.

Первое время Леонид не обращал внимания на всю работу и торговлю, но вскоре принялся за ремесло и обнаружил незаурядные способности в поделке портсигаров. Лучше него

выжигать на ящиках и портсигарах не умели. Ему можно было позавидовать. Он стал штатным выжигальщиком у столяра, выпускавшего с помощью Леонида оригинальные ящики для высокопоставленных особ по особому заказу через начальника лагеря, и тем самым завоевал право работать свободно. Налеты охраны на бараки участились, но были безрезультатны. При входе в барак Пуранковский кричал: «Полундра!» И пока дневальный нарочно докладывал солдату, что льстило его тщеславию, все запретное исчезало. Когда смысл слова «Полундра» стала понимать охрана, Пуранковский стал предупреждать заранее и осторожно.

В феврале месяце приехала комиссия по проверке лагеря. В зону ни один из членов, кроме попа — миссионера, не приходил. К удивлению всех, в барак, где помещался начальник, по очереди вызывали всех моряков. Очередь дошла и до Леонида. Он узнал следователя морского ведомства, который допрашивал его в Хельсинки, но тот не подавал вида, что знает Леонида. Следователь задал Леониду несколько вопросов, не касающихся дела, и неожиданно спросил: — В подводном флоте служили?

— Разве вам недостаточно того, что я служил во флоте! — ответил Леонид.

— Вы по-прежнему дерзки! Я задаю конкретный вопрос и отвечайте прямо. Судьба ваша в моих руках!

— Но право отвечать не в ваших руках!

— Почему?

— Я давал присягу на верность родине!

— Вы нарушили ее, сдавшись в плен! Следовательно, молчание объяснить верностью родине нельзя.

— В плен я не сдавался, а был подобран в море и усугублять свое положение перед родиной не желаю.

— Вы — опасный преступник! Вас спасло только то, что вы не выступали непосредственно против финнов.

— Я верю в победу своей родины и не хочу лицемерить, говорил и говорю откровенно: вы не заставите меня говорить то, что желаете! Раньше силою вы хотели добиться моего публичного признания, что Россия будет побеждена, но не добились. Еще раз повторяю — моя вера в победу непоколебима!

— Но кто вам поверит, что вы не признались нам? Чем вы можете доказать, если я в списках добровольно изъявивших желание служить в финской армии поставлю ваше имя. Этих улик будет достаточно, чтобы обвинить вас в измене родине!

— Провокация и шантаж не помогут вам. За правду много хороших людей погибло — ее не уничтожишь: она в воде не утонет и в огне не сгорит!

Следователь переменил разговор.

— Знакомы ли вы с последними достижениями науки и техники?

— Последнее время я изучил только одну науку: плоть в солдатских руках и ее применение на спинах военнопленных!

Финн засмеялся и после некоторого молчания возобновил разговор.

— Финский подводный флот оснащен новыми аппаратами, позволяющими наблюдать поверхность, не показывая перископа. В России это есть?

— Господин следователь, как был бы я признателен вам, если бы вы сказали об этом сразу, без лишних слов. Если есть, то это достижение моей родины. Устройство его составляет государственную тайну, а я тайну не продаю!

— Вон, сволочь! — следователь гневно указал на дверь.

Леонид весь вечер был не в духе. Его мучила мысль, что сообщение Пуранковского об организации армии из военнопленных реально. Ходила молва по всем лагерям, что генералу-майору Кирпичникову, находившемуся в плену, предложили руководство будущей армией. Вопрос состоит в том, даст согласие он, или нет. Чтобы успокоить себя, Леонид подошел к игрокам в карты и стал наблюдать за ними. Компания состояла из тех же игроков, что и раньше; не было только Семена Баранова: его вызвали на допрос. Скоро он вернулся, и игра пошла оживленнее. Солдатов дал несколько марок Леониду и предложил испытать счастье. Леонид был не плохим игроком, но играл рассеянно и невнимательно. Игра закончилась перед утром. На работе хотелось спать, и он ругал Солдатова. Убирали мусор около финских бараков в поселке.

Кто-то обнаружил вываленную немцами треску. Приятной наружности охранник, прозванный пленными «красавчиком», замерз и торопил с работой. Ему хотелось быстрее в барак, русские не спешили: незаметно от него поочередно нагружались треской. Каждому досталось по семь рыбин. Прятали, кто где мог и как умел. Солдатов уложил рыб вокруг тела и привязал ремнем. Сверху надел кавалерийскую шубу. В строю он движется последним, и «красавчик» в темноте не мог разобрать, что у него болталось сзади в прорези шубы. Близорукий и набожный охранник за нарушение правил не бил Рогова потому, что тот после всякой провинности перед ним молился. Охранника взяло сомнение, когда он увидел у Солдатова что-то похожее на хвост и в такт качающееся. Набравшись смелости, солдат хватает за хвост и резким движением тянет к себе. Солдатов, не поняв в чем дело, бросился в сторону. В руках у «красавчика» пятикилограммовая

треска, а шесть других выпали из-под шубы. Он облегченно вздохнул и разрешил Солдатову подобрать рыбу.

Громов в бараке варят ее, Леонид с Солдатовым дожидаются. Подошел Баранов и предложил Леониду занять место за картежным столом. До этого он не разговаривал не только с Леонидом, но и с близкими к нему людьми. Перемена удивила всех, и Леонид согласился. Во время игры Баранов говорил о каком-то аппарате и интересовался службой во флоте. Игроки удивленно смотрели на него.

«— Так, вот зачем вызывали Баранова», — подумал Леонид и смирил на трех тузах.

— Твое! — произнес Данилов.

Леонид, не спеша, принялся сдавать карты, наблюдая за Барановым, которому не везло и он проигрался подчистую.

Раз кто-то выручил, но он снова спустил, и больше никто не дает. В бараке мало таких, кто имел марки, а у картежников закон: в игре не давать в долг. Фортуна отвернулась от него. Всегда гордый и самолюбивый, он был расстроен неудачей и производил жалкое впечатление. Смотреть на него было неудобно и отвратительно.

Предложили ему играть под жизнь часового — «коннскую голову». Он ухватился за предложение с надеждою отыграться. Леонид не соблюдал законы игроков и кончал игру, когда ему вздумается. Пристально посмотрев на Баранова, он поднялся из-за стола, бросил ему «синекрылую»(пятьдесят марок) и несколько мелких монет.

— Тебе играть под часового нельзя, ты же нанялся на службу к ним следить и выдавать неблагонадежных! Часового все равно не убьешь!

Печь была свободна и, разыскав выжигалки, Леонид принялся за портсигар. На лицевой стороне рисунок был постоянный. Овальный круг, наподобие спасательного, в центре виднеется корабль; над всем рисунком возвышался маяк, освещающий прожектором, кружившихся над морем чаек; по кругу надпись — «Память Петсамо». Рисунок не был плодом его фантазии. Этот рисунок был вытатуирован на груди друга Маевского Михаила Коржова на первом году службы. Леонид потерял из виду своего друга еще под Таллинном. В плену такой же рисунок был на груди Ивана Григорьева с той лишь разницей, что в овале круга надпись — «Память острова Лайтсальми». За свои труды Леонид получал мало. Не имея возможности продавать сам, отдавал другим, довольствовался тем, что принесут. Самым ловким продавцом был Иван Григорьев: он работал на заводе совместно с финнами, что давало ему возможность беспрепятственно

торговать.

Последнее время и он не приносил Маевскому хлеба. Леонид заметил, что с Иваном случилось что-то неладное: он стал заговариваться, чуждаться людей и перестал умываться. Когда ему говорили об этом, он принимался уверять, что минуту тому назад был в бане. Григорьев не стал обедать со всеми, прятался от товарищей, а главное, весь хлеб клал под подушку. Леонид с жалостью смотрел на него. Михаил выбросил его заплесневевший хлеб и положил ему свежий. Он обнаружил это и долго плакал, уверял, что его хлеб был лучше, а этот отравленный, и никак не хотел его есть. Он каждый день со слезами просил у Леонида на продажу портсигар, хотя Леонид ему не отказывал. На работе он или отдавал его даром, или прятал от охраны так, что потом сам не мог найти. Ненормальное поведение Григорьева заметили после того, как однажды он опоздал к построению во время снятия бригад с работы. Бригаду посадили на машину и увезли в барак, а он остался на работе. Охранник обнаружил его отсутствие у ворот зоны. Солдат вернулся и встретил Григорьева, идущего в лагерь. Не говоря ни слова, солдат принялся бить его прикладом винтовки. Затем взял палку и всю дорогу бил Ивана по голове. Григорьев упал и не мог встать. Тогда солдат неожиданно выстрелил над головой пленного, и пуля сбила с него шапку.

Ни Леонид, ни Шаров не могли уговорить старшину лагеря Гаврилова, чтобы он не направлял на работу Григорьева. Он по-прежнему продолжал ходить на завод. На заводе клали последнюю печь, и немец-мастер, подгоняя финнов и русских, покрикивал: — Кирпич! Кирпич! Быстрее!

К мастеру приехала жена, и он спешил быстрее окончить работу и отвести ее на квартиру. В промежутке времени, когда он не подгонял рабочих, интересовался новостями из Германии. Иван решил предложить мастеру портсигар. Ему казалось, что в присутствии жены он не ударит и будет добр.

— Плохой, — ответил мастер, — обыкновенная фанера, нужен золотой!

Жена взяла у него из рук портсигар, повертела в руках и положила в сумочку. Возражать жене мастер не стал и спросил:

— Сколько стоит?

— Двадцать пять марок! — ответил Иван и показал на пальцах. Она подала ему пятьдесят. Иван удивлен не меньше мастера. Жена мастера отошла в сторону, вынула портсигар из сумочки и стала объяснять мужу, показывая то на купленный портсигар, то на сумочку. Иван из-за плеча мастера взглянул и не поверил своим глазам, что на сумке рисунок был такой же, как и

на портсигаре. Сходство рисунков не было случайностью: сумочка было сделана из человеческой кожи. Основное, что взволновало Григорьева — рисунок, который был на груди краснофлотца Коржова. Он вырвал из рук жены мастера сумку и с диким ревом побежал по лестнице, сталкивая на пути встречающих, идущих с кирпичом.

Около печи сидел «Дутый», беседуя с собою. В темноте его сшиб Иван и забился в дальний угол. Охранник недоумевал, как могло случиться, что русский осмелился толкнуть его. Иван рвал рубашку на себе. Дутый с поднятым кулаком подошел к нему и понял, что с русским случилось что-то неладное, опустил кулак и отошел в сторону.

Пока немец поднимал жену, у которой был разбит нос, он потерял из вида русского. Собралась толпа. Пришел директор завода и направился к печи, где сидел Иван, продолжая рвать деньги и дико кричать. В потьмах, как Иван, директор наткнулся на «Дутого». Первая ярость обрушилась на него.

— Сидишь болван, а русские не работают и бунтуют!

Дутый не обратил внимания на его слова. Выведенный из терпения молчанием охранника, директор закричал: — Встать!

— Пошел прочь! — равнодушно ответил солдат.

Директор решительно шагнул к нему.

— Еще один шаг — и я убью вас! — вскидывая винтовку к плечу, предупредил «Дутый».

Директор попятился назад, минута нерешительности сменилась паническим страхом, и он побежал, крича на ходу:

— Или все походили с ума, или же черт знает, что творится на заводе, — и вызвал полицию, а затем позвонил начальнику лагеря.

На повороте около лагеря строй русских встретил Дутый, еле державшийся на ногах. Шатаясь из стороны в сторону, делая усилия удержаться на ногах, он скомандовал: — Стой! — и, сделав шаг вправо, принял положение, как регулировщик уличного движения, указывающий шоферу: «Путь свободен»:

— Русским дорога прямо!

Строй двинулся с места. С ним поравнялся охранник, сменивший его на производстве по распоряжению начальника лагеря. Дутый набросился на него и подмял под себя. На крик о помощи «Лошадиной головы» никто не пошел. Если бы кто и задумал из русских помочь, то только для того, чтобы уничтожить его.

Строй остановился около ворот, а Дутый удобно пристроившись верхом на рыжем охраннике, стрелял из отобранного автомата в камень. Пули рикошетом летели выше

военнопленных. С трудом рыжему охраннику удалось освободиться от Дутого. Дутый не стал преследовать своего недруга, когда заметил капрала, обыскивающего русских, и подошел к нему. Обыск приближался к концу.

— Много отобрал? — спросил он капрала.

— Только пятьдесят! — ответил тот, продолжая обыск.

Дутый нарисовал круг на снегу и открыл ворота.

— Капрал, клади деньги сюда! — и схватил капрала за руку, одновременно вытащив финку:

— Клади!

Капрал повиновался, принимая за шутку. На круг положил не только отобранные, но и свои. Солдат взял деньги и перебросил их через проволоку. Они исчезли в карманах русских. Капрал зло посмотрел на охранника. Дутый забыл о капрале и принялся ломать замок на продовольственном складе, но усилия его были напрасны. Замок крепок, а двери не поддавались.

— Принесите мне сюда кладовщика! Я посмотрю, сколько наворовал у русских! Все раздали мертвецам. Я покажу ему, как пьянствовать за счет других! Нас не проведешь — видим все!

Ключей он не получил. Кладовщик не пришел. Подойти к нему никто не решался, боялись дурного характера. Убедившись в напрасных усилиях взломать дверь, Дутый направился в барак искать кладовщика. Что было там — русские не знали.

Ночью каким-то образом он выгнал из одного барака всю охрану в одном нательном белье. Они ходили вокруг барака и заглядывали в окна. Из города пришли солдаты и смеялись над ними, застав их в нательном белье. Утром его удалось связать.

В больницу увезли его вместе с Иваном Григорьевым. Они не ощущали друг в друге врага, разговаривали каждый по-своему, выкрикивая непонятные слова, угрожая кулаками неизвестно кому: оба были на грани полного сумасшествия.

24. Баранов нашел свое место в жизни

Баранов ходил мрачнее тучи. Лицо пожелтело, осунулось, сплошные морщины пробороzdили широкий лоб; под глазами синие мешки, от которых по сторонам расходятся короткие, но глубокие складки. Только глаза по-прежнему искрились злобой и пронизывали человека насквозь, пристальный взгляд которых, как будто хотел вывернуть наизнанку чужие карманы, которые должны посетить его руки, которые были безжизненны, висели, как плети, и в них не было прежней энергии и жестов.

Леонид обратил внимание на перемену в поведении Баранова, но не придал этому значения. Правда, он целыми днями не вылезал из-за картежного стола, но никого не обижал, не воровал, с лагерными «тузами» держался независимо, порою чуждался их и не искал дружбы с другими. На работу ходил аккуратно и не отказывался от трудностей, а когда нанимал за себя, платил вдвое больше, чем остальные. Чувствовалось, что он что-то переживает и не может найти покоя; его мучит и угнетает совесть.

Тяжелый характер был у Баранова. Он не мог найти себе друга по сердцу. Одни его призирали, другие боялись и ненавидели. Своими тайными переживаниями, чувствами никто с ним не делился, не мог и он излить свое горе другим.

И когда Тульский предложил ему руку дружбы, он не поверил сразу. Но упрямство одного и твердая воля другого вскоре их сблизили.

— Твоя дурная слава на первых порах вызывает недоверие товарищей — ты не отчаивайся. Я дам поручительство! — сказал Тульский. — Но паче чаяния, кто-нибудь погибнет по твоей вине, — откровенно говоря, продашь, я, твой друг, возьму тебя за ноги и разорву напополам, как эту подкову! — Семен не успел опомниться, как Иван с неимоверной легкостью оторвал прибитую подкову к нарам. Он исподлобья посмотрел на крепкие руки товарища, сомневаясь, что Тульский разорвет подкову; но Тульский положил ее на прежнее место и сказал: — Старинное поверие. Оно, возможно, действительно сопутствует твоему счастью.

Доверчивость Тульского, которая и погубила его, крепко смутила Семена Баранова, и он уже не слышал последних слов, вспоминая, заодно и критически переживая годы жизни в плену:

Лахти — комната начальника лагеря, удобное кресло, на столе к его услугам лучшие сигары, со стены смотрит портрет Маннергейма; немного иная обстановка в Никеле, и все те же слова: «Мы не требуем от тебя сообщений о драке военнопленных между собой, о том, кто из них ходил на помойку собирать отбросы или украл хлеб у финского рабочего, обругал ли солдата нехорошим словом — это все мелочь! Нас интересуют коммунисты, военнопленные, склонные к побегу, вредительство, пропаганда среди рабочих и пленных, подрывная деятельность.

Когда Тульский собирался идти на свое место, Баранов неожиданно остановил его.

— Иван, — сказал он, подавая подкову, — рви! Счастье не в этой подкове. Разорви, — закричал Баранов на весь барак, злобно впиваясь глазами в подкову — Ты первый подал мне руку дружбы, и как только ее разорвешь — Баранов порвал с прошлым!

Проснувшиеся военнопленные не придали словам Баранова значения, так как рядом с ним был Тульский, которого знали, что он говорит то, о чем думает, и если будет с кем-нибудь спорить, то слышно будет в бараке охраны.

Иван своими громадными руками взял подкову и резким движением рванул в сторону. Подкова оказалась слишком мягкая и не поломалась, а разогнулась. Тульский от злости закричал зубами и принялся ее вертеть, как будто у него была не подкова, а проволока. Затем со злостью бросил в разные стороны две половины от подковы.

Тульский погиб, не успев передать Маевскому о Баранове. Отношение к нему осталось прежнее.

Людей, о которых сообщил ему Тульский, он хорошо знал в лицо, и его потянуло к ним, в первую очередь к Маевскому, которого и раньше он выделял из общей среды, как человека грамотного, умного, а сейчас убедился, что именно он мучил лагерь и охрану, что именно его, человека спокойного по нраву и добродушного по натуре, давно ищет охрана. И на сколько он питал к нему антипатию раньше, настолько он проникся к нему уважением после откровенного признания Ивану Тульскому. Но события в лагере развивались с такой быстротой, что Баранов не мог выбрать время для разговора с Маевским. После убийства Рощина, сержант Эндриксон, ведавший в лагере оперативной работой, высек плетью несколько пленных и поставил свою агентуру на ноги, чтобы узнать убийцу. Маевский считал опасным собирать товарищей, даже не поделившись мнением с Шаровым, принял решение, настало время — на насилие отвечать насилием, на месть — мектью, на кровь — кровью!

К этому решению он пришел не сразу. После долгих

колебаний о возможности новых жертв, взвесив боевые качества и способности всей группы, перебрав в памяти всех членов ее, он пришел к выводу, что она уже способна действовать решительно. Для выполнения задуманного плана он остановился на Гавриле Быкове и Николае Солдатове.

Николай зарекомендовал себя достойно, а Гаврила был для него еще непонятен. Астраханский рыбак Быков, кроме своего громадного роста, ничем не выделялся. На совещаниях сидел молча, как будто в рот воды набрал. Когда спрашивали его мнение, он отвечал: — Язык у меня дубовый, чтобы высказывать свое мнение. Я согласен. Что скажет Маевский, то и сделаю. Скажет лезть в огонь — полезу. Скажет головой сбить трубу завода — собою!

Но Маевский любил его, любил крепко и доверял ему. Из военнопленных было немного таких, которые не скрывали, что они были членами партии: Шаров, который давал рекомендацию Маевскому в партию, Громов, Яков Филин и ряд других. Были и такие, которые с потерей партийного билета отказались от нее. Не было и билетов у остальных. Когда Солдатов в споре донимал Быкова и местонахождении партийного билета, Гаврила сердился и говорил: В сердце он! В сердце! И его не возьмешь — железом не выжжешь!

Вот за что любил его Маевский и поддерживал. И вот почему сейчас в своем выборе остановился на Гавриле.

«— Мы, — говорил он, — после возвращения на родину перед партией будем отчитываться не за партийный билет, а за свою партийную душу и чистоту ее, за свое поведение, за свою работу».

Когда Маевский остался наедине с Солдатовым и Быковым, то без лишних слов объяснил положение:

— Друзья, период, когда мы не могли показать врагу свою силу, остался позади. Наступило равновесие сил. Владимир сообщил нам несколько имен предателей из числа военнопленных. Сомневаться в их предательстве не приходится. За смерть Ивана Тульского им отомстим смертью предателей. Жаль одного: у них есть на Родине семьи, которым мы не можем сообщить, чтобы они перестали оплакивать и ожидать возвращения их на Родину. Я не сомневаюсь в том, что их семьи честные советские люди, которые не осудят нас. Николай и Гаврила, на вашу долю выпала эта задача. Осторожность прежде всего. Попадётесь, вырвите себе язык, но ни слова лишнего ...

— Нет! Так дело не пойдет! — перебил Маевского Гаврила.

— Что? Душа в пятки ускачила! Испугался! — насмешливо спросил Солдатов, довольный, что он дождался настоящей работы, свойственной его характеру.

— Молчи! — и Гаврила так сжал руку Солдатову, что тот от боли вскрикнул. — Так дело не пойдет. Рисковать двоим незачем. Это сделаю я один!

Солдатов от изумления раскрыл рот.

— Да! Я сделаю один.

— Удобно ли одному? — спросил Маевский.

— Не сомневайся! В свое время Гаврила быка за рога удерживал и по 20 пудов за раз переносил, а с этими субчиками как-нибудь справлюсь: бить буду и плакать не дам. А ты, Николай, еще пригодишься в работе.

Когда Маевский хотел было возразить, Гаврила так отчаянно замахал руками, что Леонид был вынужден согласиться, только предупредил Солдатову: — В эти дни ни один из членов нашей группы не должен быть в чем-либо замечен. Прекратить лишнее движение по зоне, бараку, находиться большее время на нарах и на глазах у переводчиков, Максимова, старшины лагеря Пономаренко, Баранова и всех тех, кто находится на хорошем счету у охраны и не принадлежит к «плохим мужикам». Об этом, Николай, передашь всем товарищам ты.

Леонид передал список Быкову. И первой жертвой был любимец и забота всего лагеря, самый младший из военнопленных — ополченец Колька. Его предательскую работу Маевский разъяснил незнанием жизни и молодостью, поэтому Быков не убил его, а высек плетью. После порки он нарисовал на клочке бумаги карикатуру на битого пленного Кольку и отправил его под угрозой смерти к Эндриксону.

Маевского очень удивило, когда рыбак Гаврила Быков обнаружил большие способности в рисовании.

Колька больше не появлялся в лагере, был направлен в другой лагерь, а Эндриксон взбесился и с группой вооруженных солдат ворвался в барак, избивая пленных.

В ответ — назавтра на нарах обнаружили труп. Утром следующего дня с петли сняли другой. На следующий день еще ... и еще.

Эндриксон негодовал. Охрана была бессильна. И когда в конверте ни имя Эндриксона

прислали новую карикатуру, предела злости его не было конца, и он не мог простить этого пленным.

На хорошей белой бумаге была нарисована голова Эндриксона с оскаленными большими зубами в очках, с черными волосами азиатским разрезом глаз — точная копия Эндриксона, а над ней веревка с петлей и надпись: «Кажется все, последним будете вы!»

Эндриксон приказал на работу пленным не выводить.

Вооруженная охрана окружила лагерь. Эндриксон с пистолетом в руке два часа бесновался перед строем и грозил расстрелять пол лагеря, если виновников не выдадут. Он не допускал мысли, что один Гаврила расправился с его агентурой и у многих отбил охоту посещать Эндриксона. Даже Солдатов сомневался в этом, предполагая, что сам Маевский помогает Быкову и не упустил случая упрекнуть его.

В одиннадцать часов приехал директор завода и с яростной бранью обрушился на начальника лагеря. Перепуганный начальник притворился, что ему неизвестно, что до сего времени военнопленные не выведены на работу и вызвал дежурного.

— Приказание вашего заместителя! — ответил дежурный.

Эндриксон подробно начал объяснять о смерти его лучших осведомителей.

— Мне наплевать на твоих осведомителей. Мне нужна рабочая сила на заводе. Его не остановлю и тогда, когда тебя вместе с твоими осведомителями задавят русские. Другой рабочей силы у меня нет. А вы, господин начальник, учтите, что если повторится подобный случай, то здесь будет новый начальник.

— Я не подчиняюсь вам, — попытался протестовать начальник лагеря.

— Выйдите отсюда, — сказал директор Эндриксону и дежурному. Когда дверь за ними захлопнулась, директор крикнул: — Встать!

Окрик был настолько властен и громок, что начальник лагеря не замедлил подняться и встать по команде смирно. Директор направился к выходу и остановился на пороге, достал из кармана часы, посмотрел на них и сказал:

— Если русские хоть раз опоздают на работу, солдатом пойдешь на фронт. В лучшем случае — в шахту катать вагонетки.

Пробыв долгое время начальником лагеря в Янискосках, Оулу, Тампере, он ни одним словом не обмолвился с русскими, за все время не был ни разу в зоне военнопленных, но чужими руками нанес много вреда пленным. И, боясь фронта, как черт ладана, приказал Эндриксону оставить русских в покое, хотя за оперативную работу отвечал в первую очередь, а провал в работе он решил объяснить неумелым действием Эндриксона и наметил, в крайнем случае, бросить его в жертву, а спорить с директором и не выполнить его распоряжение посчитал опасным.

За то время, когда проходила борьба между Эндриксонем, который ежедневно порол военнопленных, а они отвечали решительным отпором, Баранов ни на минуту не сомкнул глаз и все время ожидал, что очередь может дойти до него.

Обстановка была напряженной, и Баранов понимал, что завязавшееся единоборство между пленными и охраной, не остановится до тех пор, пока кто-нибудь не признает себя побежденным. Если победит Эндриксон, десяток военнопленных пойдут на Голгофу, а если — военнопленные, а он желал этого, Эндриксон перестанет драться.

Военнопленные, не желая быть очередной жертвой Эндриксона, старались держаться незаметно, и как только стемнеет, забирались на нары и ложились спать или делали вид, что спят. А утром никто из них не хотел идти первым в баню за водой, также в уборную или другое место, где не было дневального. А когда приходили, разводили руками и с боязнью заявляли: — Опять убит! — и сообщали коменданту Гаврилову об очередной жертве.

В тот денно, когда высекли плетью Кольку-ополченца, Баранов заметил, что Солдатов с нижних нар перебрался на верхние и спал рядом с ним. Укрывшись шинелью, он с тревогой и беспокойством прислушивался к малейшему шуму в бараке и внимательно следил за поведением Солдатова, но тот, завернув голову шинелью, — все знали странную привычку Солдатова спать не укрываясь, какой бы ни была температура в бараке, крепко закутывать голову, — спал. И пока Солдатов также незаметно, как и пришел, ушел на свое место, Баранова не покидало беспокойство за свою судьбу. Стоило задремать на минуту, как ему казалось, что на него навалилось грузное тело Николая, а руки приближаются к горлу. Баранов силился крикнуть и никак не мог. Просыпаясь, он с испугом сбрасывал с себя шинель, но в бараке по-прежнему была тишина, нарушаемая мерным храпом.

Выкурив подряд несколько папирос, Баранов ложился и через пят минут с новой тревогой просыпался. Вздыхал облегченно только перед утром, когда гроза миновала его.

Наступила трудная минута в его жизни, когда он должен объясниться с Маевским, признать свои ошибки и встать на правильный путь. И Баранов повсюду преследовал Маевского, чтобы поговорить с ним.

Около Леонида постоянно находился Солдатов, которого Баранов не любил и побаивался, поэтому не решался заговорить. Выбрав удобный момент, когда около Леонида не было товарищей, он подошел к нему, но пронырливый Солдатов заметил это и, боясь за судьбу друга, не замедлил появиться между ними.

— Прости товарищ — виноватым голосом начал Баранов.

— Заблудшая овца пришла с покаянием и повинною! —

ехидно заметил Солдатов.

Леонид дружески щелкнул ему в нос, и Николай понял, что его вмешательства не требуется. Семен искоса посмотрел на него и продолжал: — Обо мне сложилась дурная слава, я это знаю. Мне трудно поверить — игра зашла слишком далеко. Баранов — бывший жулик, это правда, но то, что он сдался добровольно в плен, — ложь! Я здесь, как и многие сотни других. Если в пересыльном пункте я занимался неприятными делами, то в этом повинны условия, в каких мы находились: каждый боролся за свою жизнь, но Семен Баранов, не выдал ни одного товарища. Угрозой и шантажом, игрой на моем прошлом, они заставили следить меня за тобой и попытаться узнать, знаешь ли ты тайну аппарата, а «развязать» язык тебе они собрались сами. Вина моя — у меня не хватило мужества отказаться от гнусной работы. И вот в душе у бывшего жулика, которого ненавидят многие и боятся только потому, что у него еще крепкие кулаки, заговорила совесть. А почему? Вот почему. Мне стало известно о существовании вредительской группы в лагере. Вскоре я узнал всех ее членов и то, чем они занимается. Баранов ни одним словом не обмолвился, что ему откровенно рассказал Тульский

— группа под руководством Леонида Маевского, как у нас раньше — подлые троцкисты, занимается вредительством.

Леонид улыбнулся от такого сравнения, а Солдатов не выдержал и со злобой в голосе ответил:

— Ты не сравнивай нас с троцкистами, а то как закатаю в лоб — заскучаешь. Мигом память выбью, сволочь!

Но скучать пришлось Солдатову. Леонид ногою отодвинул его с нар, и он пристроился подальше.

— И вот, — снова начал Баранов, — предо мною лежат два пути: идти с вами или выдать вас.

Семен минуту помолчал, тяжело вздохнул, посмотрел на Солдатова и спокойно стал продолжать:

— Я избрал первый. Почему? Все мои прошлые действия — картежная игра. Сегодня выиграл — завтра проиграл, в результате — при своих. Выдать вас, даже его, — он показал на Николая, — которого я ненавижу — измена, подлость, ниже чего на свете быть не может. Вот мои чистосердечные слова. Он замолчал и исподлобья посмотрел, какое действие произвели его слова.

Леонид не показал вида, что слова Баранова взволновали его. В этом отношении он был хороший актер и с безразличным видом ответил:

— Поверить трудно, Семен. Надо доказать свою правоту на деле, чтобы видели все. Знаешь про нас, или нет — для меня

безразлично. Семен Баранов один не страшен: ты одинок, а нас — много. Страшнее те, кто действует исподтишка.

— Будь осторожен, матрос! — При первом удобном случае охрана избавится от тебя. Кацела — поляк, по-моему предположению предатель... Еще раз прошу, поверьте! На душе моей будет легче — сказал Баранов.

Леонид закрыл глаза и задумался. Он вспомнил все мелкие и подлые дела Баранова. Не ускользнуло и то, что Семен не имел друга в лагере, кроме Тульского, которого любил и порою поддерживал материально. Смерть Тульского он сильно переживал.

Если не провокация, то не иначе смерть Ивана Тульского подействовала не него, — сделал вывод Леонид и после некоторого молчания добавил: — Трудно верить раскаянию человека, так далеко зашедшего в преступных действиях.

К Кацеле стали относиться осторожно. Выяснить действительно ли он выдал Тульского не удалось, но факт его предательской работы стал ясен. Сосед Леонида по нарам, бывший сержант Васькин, который не был в группе Леонида и не знал о ее существовании, случайно подслушал разговор Кацелы с охранником в шахте, куда на аварию были направлены русские. Леонида он считал своим другом, и «вежливо» спустил Кацелу с пятого этажа на шестой (в шахте был счет этажей сверху вниз).

Морозное утро. На работу не пошли. В барак пришел следователь и поп — миссионер. Краткое божественное напутствие сменилось длинной речью следователя и закончилось словами переводчика Павлова и старшины лагеря Гаврилова. Все они призывали в ряды «русской добровольной армии», организуемой на территории Финляндии.

Комиссия ушла в общежитие переводчиков, и туда потянулись «добровольцы» — большинство из тех, кто слабо себя чувствовал. Записалась значительная часть лагеря. Многие записывались с мыслью, просто и откровенно высказанной дьячком Барашковым: «Знать, зачем я записался, я не знаю, но, возможно, оттуда легче будет убежать до дому».

Откровенное признание вызвало дружный смех.

Леонид молча лежал на нарах. Солдатов, свесив ноги с нар и раскачивая ими, встречает каждого злобными словами: — Вновь испеченные финские солдаты — подлецы! За кусок хлеба продались! Забыли Родину, иуды!

Каждого выходящего из барака останавливает и уговаривает. Васькин усердно точит кольцо, воспользовавшись моментом покоя. Громов у печки делает ящик.

— Николай, брось разговоры, иначе тебе всыпят по первое

число за агитацию, — предупреждает Солдатов Леонид: — Агитировать надо было раньше.

Прихрамывая и поддерживая спадающие брюки, проковылял Рогов. Леонид уважал его и, заметив, что Андрей идет в добровольцы, поднялся и произнес:

— Андрей, закажи себе костыли, а потом иди в армию. По дружбе я тебе их разрисую и выжгу.

Рогов удивил комиссию. Он пришел записываться не сам, а предложить Максимова. Его он органически не переваривал за вредную болтливость и агитацию и хотел избавиться от него, предполагая, что добровольцев скоро заберут из лагеря.

Следователь спросил фамилию у Рогова.

— Я отвоевался, — сказал Андрей, — против своих не пойду! А вот Иван Максимов еще в сорок первом году изъявил желание идти добровольцем. Пишите его! Даст бог, первая пуля его.

Рогова гонят, а он настойчиво требует записать Максимова в добровольцы и обязательно первым. Возбужденным вернулся Рогов, и резкий голос послышался при входе в барак: — Иван! А Иван! Где ты? Они не верят, что ты в сорок первом году хотел идти добровольцем. Пойди и скажи им, иначе пропадут два года стажа. Позднее будешь жалеть.

— Что вам нужно от меня? — недовольно ответил Максимов, — Пойду и запишусь. Вас не спрошу.

— Кто съел мою баланду, подлецы? — раздался голос на весь барак. — Вот здесь, на печи стояла, и котелка нет, закричал Максимов.

— Я, — отвечают ему равнодушно с другого конца, — думал, что вас будут кормить с финской кухни, и котелок будет не нужен.

— Подлец!

— От подлеца слышу! Изменник!

— Ты с ним поосторожнее, кричит Солдатов, — он завтра получит винтовку, — и будет тебе на орехи.

— Брось Николай, — проговорил раздраженно Леонид, — или убирайся в свой угол, чтобы тебя неслышно было. Без тебя голова кругом идет.

В полночь комиссия закончила работу и делала обход по баракам. Следователь встретил Баранова и поинтересовался причиной отказа служить в финской армии. Баранов не ответил, но наотрез отказался записаться. Солдатов предложил ему публично покаяться в прежней своей деятельности, чтобы реабилитировать себя в глазах военнопленных.

Леонид хотел воспрепятствовать этому, но было уже поздно. Баранов мгновенно оказался на верхних нарах и громко закричал:

— Товарищи! Враги моей Родины силой пытались заставить меня работать на них... Я дал согласие там, — он указал на окно, в котором виднелся силуэт барака охраны, — а сейчас публично отказываюсь от гнусной работы шпика!

В бараке наступила тишина. Пленные ожидали, что скажет дальше Баранов, и молчали. Многие знали его по пересыльному лагерю и его подлой работе. Откровенное признание Баранова и отказ от службы врагу, когда многие минуту тому назад открыто дали согласие служить неприятелю, ошеломило всех.

Следователь попал в неловкое положение, но, не теряя присутствия духа, равнодушно спросил: — Почему?

— Быть паразитом общества не желаю!

— Были ли вы, когда-нибудь полезным членом его?

— Да вы правы. По своему ремеслу я был отбросом советского общества, грязным пятном. Меня неоднократно направляли на настоящую жизнь, но я скатился в пропасть:...В моей путанной жизни я теперь разобрался и горд, что Семен Баранов нашел свое место в жизни, и меня с пути не столкнешь!

Осознанно ли он говорил, или это была случайная вспышка, но, в подтверждение своих слов, Баранов спрыгнул с нар и схватил следователя за горло.

Сотни любопытных глаз следили за борьбой — борьбой человека, запутавшегося в жизни, не нашедшего других выходов и форм борьбы, кроме гибели на глазах у всех в открытой борьбе с людьми, которые использовали его прошлое и толкнули его на путь предательства.

Солдатов бросился на помощь, Леонид вовремя остановил его. Следователю удалось вырваться. В тот же момент Семен схватил младшего сержанта, проводника служебно-розыскных собак, повалил на нижние нары. Борьба была не равная — десять против одного. Но Барановым владела та сила, которую он нашел в последнее время, отбросил темное прошлое, оставив в себе только то, что составляет чистоту и смысл человеческой жизни.

Ему ломали ноги. Кололи финками. Рвали волосы. Он мертвой хваткой ухватил врага и не выпустил своей жертвы и тогда, когда сержант был мертв.

Они действительно нашел свое место в жизни, — произнес Леонид, наблюдавший с нар за борьбой.

— Лучше погибнуть, как Баранов, чем поднять руку на своих, записавшись добровольцем.

— Я не обвиняю их, Николай Алексеевич, — Леонид всегда называл Солдатова по имени и отчеству, когда хотел возразить ему серьезно. — Я видел, как у нас в деревне, обучают и заставляют плясать медведя. Его ставят на плиту и подогревают

ее постепенно, приговаривая: «Пляши, Мишка! Пляши, Мишка! В это время музыкант играет на дудке или гармошке. Когда медведю начинает жечь ноги, он переступает с ноги на ногу. Чем сильнее нагревается плита, тем сильнее пляшет бедный Мишка. После нескольких тренировок плиту не подогревают, а только приговаривают. Медведь, понимая, что после слов будет жечь ему ноги, пляшет. Вот почему я не обвиняю их.

Николай неопределенно возразил.

— Слушай дальше. Так и нас. Пока финское радио кричит, машина лагеря обрабатывает: морят с голоду, избивают и пытками заставляют записываться. Поверь мне, что из тех, кто дал согласие служить в финской армии, семьдесят процентов записалось с мыслью убежать на Родину. Двадцать — ради куска хлеба, и только десять, возможно, сознательно.

— Почему же ты не пошел? Может быть, и нам пойти в добровольцы?!

— И сколько Мишку не учат, — продолжал Леонид, не замечая реплик Николая, — стоит ему сорваться с цепи, как он убегает в лес к своим лохматым братьям. Есть и такие, у которых инстинкт вольной жизни оказывается слабее, они всю жизнь останутся верными своему хозяину: пляшут за кусок сахара, но тоска по вольной жизни никогда не исчезает у них. Так и с нами. У кого сильнее характер, не побоится уйти к своим и рассказать всю правду. Другие постепенно запутаются и останутся верными своему новому хозяину. Они не найдут себе другой Родины и потеряют настоящую. Вот таково положение, Николай.

Ни тем, кто записался случайно, ни тем, кто шел сознательно, не пришлось служить под флагом с эмблемой льва на мече. Причина известна только тому, кто пытался организовать армию из военнопленных в Финляндии.

25. Смеяться можно над каждым человеком

Снова сменился начальник лагеря. Старый уехал — новый приехал. Военнопленные интересуются, как поведет себя новый начальник. Возможно, радость перемены напрасна, не придется ли вспоминать старого? Покойник всегда хорош. Когда надежды на нового не оправдываются, а о старом жалеют, приписывая ему всевозможные хорошие качества. «Он» стоит на пороге, высокий и стройный, полный, красивый, голова с черными, как смоль, волосами откинута назад, глаза немного навывкате, лицо строгое, но приятное.

— Вот вам и новый, — рекомендует Громов, — а как запоет — неизвестно!

— Хотите, я вам песню спою! — говорит начальник на русском языке. Громов поспешил скрыться с глаз. Военнопленные заметили, что начальник пьян. О том, что он говорит по-русски, никто не предполагал. Зазвучал бас: «Бывали дни веселые, гулял я молодец»... После окончания он снял шапку и, протягивая руку к военнопленным, проговорил: — Кладите, кто сколько может!

Русские ошеломлены встречей. Это не шутка. Перед ними стоит лейтенант финской армии с протянутой рукой и просит подаяния.

Солдатов полез в карман, но долго не мог найти подходящей бумажки — вытащил сотню.

Лейтенант с улыбкой посмотрел на него и спросил: — Сколько жертвуешь?

— Десять, — ответил Солдатов, — не надеясь получить сдачи, но лейтенант аккуратно отсчитал девяносто и отдал Николаю.

Посыпались в шапку монеты всех достоинств, а он продолжал стоять, понутив голову.

— Низко опустились, господин лейтенант, не подобает гордому финну! — сказал Леонид, бросая последние деньги в шапку.

— Вам следовало бы дать в морду, молодой человек, но вы правы: лейтенант Блинов пал низко и недостойно ведет себя. Выпить хочу — русская натура сидит в моей душе, — а денег нет. Водкой утоляю все страсти. Думаете, мне легко, офицеру, просить у нищих? Но все же легче, чем у финнов! Отец продал совесть финнам, эмигрировав в 1921 году, а нищий сын, сейчас

рассчитывается за грехи отца.

Блинов пересчитал деньги (их было достаточно на бутылку немецкой водки) и спешил уйти из барака, но уйти, не сказав военнопленным ничего, было неудобно. Поэтому он начал интересоваться жизнью в лагере, наконец, спросил: — Кто есть из Великих Лук? Земляком оказался Громов, хлопая его по плечу, он ободряюще проговорил: — Ничего. Скоро поедешь на родину! Родины нет только у меня. Отец продал — сын отвечай! — и попрощался со всеми.

На пороге остановился и еще раз обвел взглядом пленных и, как бы оправдываясь за свое поведение, сказал: — Я знаю, откуда у вас берутся деньги. Продавайте ... Тащите, воруйте — все разрешаю! У кого отберет охрана, обижайтесь на себя! Жалоб не принимаю! Доносчиков не люблю!

В поселке Ивало организовался госпиталь и штаб северных лагерей. На юг больше не направляют. Перевели в штаб Мецалу и Пуранковского. За переводчиков остались карелы. Блинову они не нужны. Сам он ведет разгульную и веселую жизнь. Милостыню больше не просит, зато старик — капрал появляется часто посланцем от него. Ему охотно дают.

Охрана не отбирает ничего, что выносится из барака и приносится в него. Начальник запретил охране появляться в бараках русских. Разрешено только дежурным и капралу. Часовые не пропускают капрала в зону, но он или прорывается нахально или перелезает через проволоку с другой стороны. Часто пьяный капрал ложится спать вместе с военнопленными.

Жизнь пошла веселее. За период пребывания начальником лагеря лейтенанта Блинова взаимоотношения пленных с финскими рабочими и торговля между ними достигли наивысшего расцвета, но продолжалось это недолго.

До штаба дошел слух, что Блинов питает симпатии к военнопленным. Его русская фамилия вызывала подозрение, и один неосторожный шаг ускорил отправку Блинова снова на фронт.

Привезли посылки Красного креста и раздали русским. Пустые коробки отнесли к санитару для обивки потолка. Блинов не пользовался услугами финского санитара Луйко, а приходил к русскому фельдшеру Жохову. Случайно Блинов увидел пустые коробки из-под посылок.

— Где десять коробок? — спросил он, подозревая воровство, о котором слышал. — Так и знал! — воскликнул он, когда услышал ответ, что их было девять, и распорядился позвать кладовщика.

— Снимай сапоги! — сказал начальник. В голосе слышались

нотки угрозы. Чувствуя это, сержант козырнул и принялся снимать с Блинова сапоги. Блинов осмотрел внимательно снятый сапог и, убедившись, что он совершенно целый, ударил им сержанта по голове. — Воров не люблю! Лучше попроси! — Подставил вторую ногу и повторил тоже, что и первым сапогом.

— Постой, постой, а кто тебе сержантские нашивки повесил? С каких пор ты стал сержантом? — он рванул за погоны и сорвал их: — Самозванец!

Обиженный кладовщик написал рапорт в штаб северных лагерей.

Последний раз Блинов зашел в барак русских. Вид у него был унылый. Снова фронт — сражаться за чужую родину — нет желания. Он зашел не столько проститься, как выпросить у пленных денег.

— Хочу напиться пьяным, — и, как в первый раз, снял шапку и протянул руку.

За период своей работы, для военнопленных он сделал многое. Во-первых, дал понять охране, что русские не так-то плохи, как трубит радио, и они заслуживают человеческого обращения, и что рано или поздно придется держать ответ за свои зверства; во-вторых, упразднил разницу между военнопленными, поставив в одинаковое положение и старшин и переводчиков, и запретил им бить пленных; в-третьих, выгнал на работу Максимова и Илью-рябого и пополнил недостающую рабочую силу за счет лагерных «придурков», ютившихся под теплым крылышком старшины лагеря Гаврилова; пришла очередь и для Максимова испытать на своей шкуре всю тяжесть подневольного труда. В-четвертых, запретил охране вмешиваться в производственные дела, что намного облегчило труд военнопленных.

К сожалению, Блинов был недолго начальником лагеря. Он уехал, все пошло по старому.

Новый начальник — барон Пуронен — очень маленький и смешной. Очки сидят на самом кончике горбатого носа. Близорукими глазами осматривает лагерь. Видит все — каждую мелочь. На территории зоны навели порядок. Вынесли мусор. Барон требователен и придирчив. Подолгу стоит в лагере, заложив руки назад, и никто не смеет пройти мимо его, не спросив разрешения и не взяв под козырек — будь это пленный или солдат. Охрана ходит в столовую строем, несмотря на то, что до нее не более десяти метров от барака. Каждое воскресенье они занимаются строевыми занятиями под наблюдением начальника. Ходить в бараки или иметь какие-либо связи с русскими военнопленными категорически запрещено. Маленький и

невзрачный на вид, спокойно, без всяких криков и суеты, он прибрал к рукам и охрану и пленных и вместе с ними мастеров и рабочих. Его боятся, как огня, ослушаться никто не смеет.

Лейтенант, барон Пуронен, впервые отменил официально телесные наказания для военнопленных и ввел новую меру наказания — ставить с мешком за плечами, в котором тридцать два килограмма песка, или по команде «смирно» с вытянутыми руками. От первого наказания не избавлена и охрана. Максимальное наказание — восемь часов с ежедневным отстаиванием по два часа после работы. Легче перенести плети, чем стоять два часа с тридцатью двумя килограммами песка за спиной. Самое мучительное наказание стоять с вытянутыми руками, держа полено навесу. Руки клонятся вниз. Наблюдающий подставляет финку под локти, чтобы пленный не опускал руки вниз. Когда получишь укол в локоть, невольно поднимаешь руки на уровне плеч.

Пронос хлеба в лагерь считается преступлением. Найденный кусок хлеба, изделие для продажи — неизбежно влекут за собой наказание — мешок.

В системе лагерей военнопленных барон Пуронен — лицо не новое. До Никеля работал в Выборге.

Прекратились подсобные работы и стройки в поселке. Завод заработал. Пленные работают в три смены. Бригады переформированы, и большинство пошло в шахту. Предусмотрительный начальник склонных к побегу, отобранных Гавриловым, направил в лес. Постепенное ослабление и потеря сил — неизбежная судьба лесных бригад. Когда ослабеет человек, его направляют в другую бригаду, уже несклонного в смысле побега.

Леонид, Громов, Гаврила Быков и Васькин составляли ядро бригады. Избавлен только Солдатов: он снова работает кузнецом при шахте.

В лесной бригаде не разживешься ни табаком, ни хлебом, и не продашь ничего. От работы не увильнешь и не простоишь, каждому дана определенная норма. Единственным утешением друзей было то, что попал с ними хороший охранник. Фронтовик, раненый в ногу, он и сейчас продолжает прихрамывать. Арва, так зовут солдата, но военнопленные обычно называют его «красными петлицами», по цвету петлиц на френче.

Арва не молод, ему свыше трех десятков лет. Чистое и симпатичное лицо, стройная фигура, гладко зачесанные набок светлые волосы, равнодушное выражение глаз, делают его молодым и изумительно красивым. К его красоте идет и его кроткая натура. Он делает вид, что не замечает, когда русские

пилят не заклеенные деревья. После окончания нормы позволяет пленным прекрасно выспаться или заниматься своими делами.

Лесная бригада никогда не имеет табаку — Арва не курит, зато избавлены от обысков при входе в зону, побоев и ненужных оскорблений и унижений.

Леонид принялся за старое — менять хлеб на табак. Друзья удивлены его поведением. Он не может побороть дурной привычки, влияющей на его здоровье. Это видит Арва. Всегда чистоплотный и аккуратный, он не постеснялся пойти на немецкую свалку и насобирать окурков для русских. Не обращая внимания на насмешки фрицев, он стал делать так каждый день. Часто они предлагали ему закурить, он отказывался. Военнопленные с каждым днем проникались чувством уважения к своему конвоиру.

— Сколько плохих и хороших охранников пришлось видеть русским за все время, но таких, как Арва, не встречалось. В нем есть что-то отличительное от других, — заметил Леонид. — Не будучи в силах помочь материально русским, он водит их на свалку собирать отбросы.

Вежливое человеческое обращение у солдата не только к своей рабочей бригаде, но и ко всем пленным.

Каждый выходной день приезжают немцы на машинах за русскими, которых продает охрана за водку на день для уборки мусора и других работ.

И тот, кто попадает к ним на работу, оказывается счастливцем. Двойная выгода: во-первых, у них легче достать хлеба и табаку, продать кольца, портсигары, ящики, и они кормят три раза в день; во-вторых, сохраняется своя пайка, привезенный хлеб не отбирается. Выехать к ним можно только по «милосердию» старшины лагеря. Раньше лесные бригады ездили в первую очередь, а при бароне путь для них был закрыт. Унижаться перед Гавриловым лесники не желали, и когда многочисленная толпа старалась прорваться к немцам, выглядывали в окно. Партия за партией уезжает на машинах. Желающих много. Подошла еще машина. Туда нужно только десять человек.

В барак пришел Арва и предложил своей бригаде ехать. Лежит только Леонид, остальные мгновенно на машине. Старшина пытается запротестовать, пообещав поездку, он с вечера взял у некоторых взятки; усилия его напрасны. И так, все выходные: девять мест лесной бригаде обеспечены.

— Я не желаю работать на немцев, для меня достаточно того, что приходится подневольно работать на финнов, — сказал

Леонид и никогда не ездил к немцам.

На работе Арва по-прежнему хорошо относится к русским. Вскоре Арву перевели конвоировать другую бригаду, благодаря неосторожности со стороны Гаврилы Быкова. Гаврила ухитрился схватить ободранную лису, валявшуюся в мусоре, когда работали в поселке. Приложив ее к животу, он крепко подпоясался. Возвращались домой. «Рыжая голова» указал Арве на ноги, видневшиеся из-под шинели большого мужика. Солдат не обратил внимания на замечание. В лесу спросил у Гаврилы: «Что несешь? Быков боялся, что лисицу могут выбросить, хотел сказать, что это заяц, но не знал, как он называется по-фински. Показывая руками, как он прыгает, повторял: — Стрыбает, стрыбает!

Арва засмеялся, но лису не выбросил, а велел спрятать подальше. Никто из русских не предполагал, что последствия будут плохие, и они расстанутся с хорошим человеком. Рыжий донес. Арву и Гаврилу начальник наказал. Гаврилу из-под мешка на десять минут раньше срока освободил Арва. Ему стоять тяжело: упор приходится делать на одну ногу. Помочь из русских никто не мог. С лесной бригадой на работу он больше не вышел, но по-прежнему остался хорошим для всех.

Его заменил — «Конская голова». Леонид заболел. Шаров договорился с санитаром, чтобы ему дали освобождение. Он чувствовал себя плохо, но все время держался на ногах, стараясь побороть болезнь. Изредка ходил на кухню чистить картофель. Тот, кто работал на кухне, получал за труды лишнюю порцию супа и конские мослы. Получив кость, Леонид вышел из кухни и остановился напротив ворот, что-то насвистывая. Бригада возвращалась с работы. Звуки то затихают, то снова усиливаются. Когда не слышно свиста, он грызет кость. Бригада стояла у ворот и дожидалась, когда придет вахтер и откроет ворота. Солдат заинтересовался русским и стал наблюдать. Приложив губы к кости и на минуту задумавшись, Леонид продолжал свистеть. Лицо его бледное, взор устремлен в одну точку. Он не видит, что друзья прибыли с работы, и охранник показывает на него пальцем, говорит Громову: — Русский одинаково собака!

Менялось начальство лагеря. Каждый из них по-своему относился к русским. Одни запрещали охране иметь взаимоотношения с пленными, другие не обращали на это внимания. Будь то хороший или плохой начальник, строгий или мягкосердечен, никто из них не мог запретить солдатам смеяться над пленными. И они смеялись по всякому поводу. Пленный подбирал на ходу недокуренную сигарету — солдаты смеялись и били их, а потом, собравшись между собою, копировали

поведение пленных.

Пленные рылись в мусорном ящике, в котором вывозились нечистоты из поселка — солдаты отворачивались в сторону и плевались. Гордые, они говорили военнопленным, что лучше повеситься, чем рыться по помойным ямам. Но к удивлению охраны, никто из пленных не лез в петлю. Чем труднее становилось жизнь в плену, тем ярче и прекраснее она рисовалась в будущем на родине, и они всякими способами боролись за жизнь.

Над пленными смеялись — не оставались в долгу и они. На шутку отвечали шуткой, на издевательство издевательством.

Когда финский повар заметил русского, который осмелился взять из корыта свиньи одну картошку, он под реплики и издеательства охраны заставил русского стать на колени и есть вместе со свиньей. Повару не обошлось это даром. Утром, перед разводом пленных на работу, повар выпустил свиней на прогулку. Одна из них пролезла в подворотню и зашла в зону. Охрана выходила из барakov; русские начинали строиться. Повар не волновался и не беспокоился, так как рассчитывал, после развода выгнать свиней из зоны. О случае, когда пленный ел вместе со свиньей он успел уже забыть, но не забыли и не могли простить ему русские. Пленные ушли на работу — повар не мог разыскать пятипудовой свиньи в зоне военнопленных и обратился к начальнику: — Перед разводом наша свинья зашла в зону пленных, но я не мог ее найти.

— Поищи лучше! Если не найдешь, то непременно она зарезана русскими. Сделайте обыск — мясо изъять!

Перерыв весь лагерь, повар и охрана не обнаружили ни живой свиньи, ни куска мяса.

— Подлец! — сказал барон. — Свинья не иголка, если бы она зашла в зону к русским, то какие-нибудь следы остались бы. Ты свинью продал немцам — деньги пропил, а сейчас сваливаешь вину на русских. На восемь часов под мешок! Стоимость свиньи будет удержана из вашей зарплаты.

Когда повар отстаивал последние часы, стоя между столбами турника, из зоны пленных ему показали настоящие свиные уши. Повар от злости затрясся и пошевелился, за что два часа не были засчитаны, и ему пришлось простоять лишних два часа под мешком.

Не кто иной, как Громов, когда его обманул финн на две буханки хлеба, украл у него шахтерский костюм и продал ему же. За костюм он мог получить пятьдесят, шестьдесят буханок хлеба и по крайней мере не одну тысячу марок, но Громов не сделал этого — он только проучил финна и получил причитающиеся ему.

И когда Громов услышал реплику рыжего солдата, в его памяти мгновенно воскресла вся унижительная и трудная жизнь плена. Ему стало обидно за себя, но вдвойне за друга, которого так презрительно оскорбил солдат, не зная того, что этот голодный русский обладает громадной духовной силой, перед которой уже преклоняются половина солдат охраны, большинство шахтеров, и скажи он слово военнопленным, они разорвут рыжего солдата на части. Но Громов знал, что если бы даже и Маевский слышал оскорбление в свой адрес, он не ответил бы грубостью, лишь бы только усмехнулся и, отвернувшись, презрительно сморщил лицо. Михаил знал, что Маевский не одобрит его поведения, но такая уж была натура у Громова, что он не мог простить солдату. Воспользовавшись незнанием русского языка солдата, он прочитал ему мораль: — Тебе смешно — голодный русский грызет кость? Мне печально и обидно видеть русского с обглоданной костью в руках, но не смешно: я испытал голод сам! Но запомни, рыжая голова, что этой костью я сделаю посмешище из тебя! Ты будешь плакать — над тобой будут смеяться! Обглоданную кость не раз увидишь во сне!

И, приблизившись к рыжему охраннику, Громов сказал: — Слышишь, как русский играет на свистульке, сделанной из лошадиной кости? А ты, дурак, думаешь, что он грызет.

У глуховатого рыжего солдата, не имевшего слуха и музыкальных способностей, разгорелась страсть к музыке. Он решил, что русский в самом деле сделал свистульку и весело играет на ней. За кусок хлеба ее можно купить. Они быстро сошлись в цене: двадцать марок, пачка папирос и буханка хлеба. Леонид слег в постель. Шаров не отходил от больного, помогая ему чем мог.

Громов не отдал кости охраннику, объяснив, что она еще не готова: мастер болеет, а ему нет времени. Рыжий оставил его в бараке для окончания работ со свистулькой, не взяв на работу, а сам распространил слух среди охраны, что ему удалось приобрести чудесную вещь русского мастера. Любопытные под всякими предлогами приходили в барак. Громов прятал кость от посетителей и заявлял, что она продана, а делать другие — нет материала и времени.

Он старательно прожег на кости несколько дырочек, немного обточив, завернул в бумагу. Охранник схватил сверток и побежал в барак. За ним устремилось десятка два любопытных солдат. Раздался дружный хохот охраны, когда рыжий развернул бумагу. Все увидели обыкновенный лошадиный мосол. Удивлен и рыжий. Он давно мечтал посмотреть сверхъестественную свистульку.

— Пусть она не красива, но послушайте, как чудно играет! —

успокаивал не столько других, сколько себя рыжий солдат.

Он приложил губы к кости и усердно принялся дуть. Чудного свиста не получилось. Охрана смеялась. Рыжий понял, что его обманул русский. Сделать что-либо пленному он не мог: боялся барона. Сконфуженный, он вышел из барака и забросил кость. Ее разыскали, и на разводе под дружный хохот всей охраны дежурный вручил ему.

— Возьми в тундру! Будешь играть!

— Возьми! Возьми! Веселее будет! — поддакивали другие.

Пока кость не затерялась, он был жертвой веселой шутки русского. Над ним смеялись и доводили его до истерики, вдобавок рыжий простоял два часа под мешком.

— Вы убедились, господа, — сказал Громов, — смеяться можно над каждым.

26. Разгром

Много друзей потерял Какко Олави на фронте. Одни погибли, другие, искалеченные, направлены в госпиталь, а там не на радость семье — на иждивение. Среди них были и его единомышленники, которые не хотели войны, был и рьяные заступники ее. Всех их сближала обстановка, бои наступление, а главное — шинели стального цвета — расходились лишь в убеждениях, но снаряды и пули не щадили никого. Жалко было и тех и других: одних как людей, преждевременно переставших жить; других, как своих единомышленников, которые упорно протестовали против войны, а после гибели их Олави с еще большим упорством вселял в солдатские головы мысль о прекращении войны, так как знал, что не исключена возможность и его смерти, но то что для него было жизненной правдой — не погибнет: оставшиеся в живых друзья понесут ее дальше.

О погибших скорбели, вспоминали, затем их заменяли новым пополнением, преимущественно стариками и молодежью, едва успевшей достичь призывного возраста. Роты оставались ротами, полки полками, и по-прежнему существовал фронт, раскинувшийся от Финского залива до Баренцева моря. На карте он выглядел просто: красная линия, извивающаяся змейкой с юга на север, образует всевозможные зигзаги, на которых условными обозначениями помечены люди, сведенные в подразделения, и стрелки, куда они должны устремляться, оставляя на своем пути тысячи человеческих жизней, не помеченные ни на одной карте генерального штаба.

Рота лейтенанта Блинова также пополнялась несколько раз. Сам он по-прежнему пьянствовал, поэтому не жалел о завещаниях отца, мирно покоившихся в полевой сумке фельдфебеля Кукушкина. Очнувшись от беспробудного пьянства, он писал отцу, требуя все новых предсмертных завещаний: «Все то, что тебе когда-либо принадлежало, все то, что никогда не было твоим, пусть это даже будут медведи Северного полюса, на бумаге, заверенной нотариально, они сослужат мне большую пользу»..., писал он отцу.

И умирающий отец, насколько позволяла память и фантазия, писал и писал ...

Все это попадало в надежные руки Кукушкина, который неведомо откуда и каким путем ухитрялся доставать водку. Прозвище стяжателя-крохобора не угнетало Кукушкино, так как он знал, что получит десятую долю от завещаний Блинова и будет

миллионером.

Лейтенант Блинов был умным и способным офицером. Нельзя было отнять у него и храбрость. Для продвижения по службе мешала русская фамилия и зависть офицеров, не обладавших его способностями, но имевших известные фамилии и протезе в штабах. Оставаясь все время ротным командиром, он ощущал на себе недоверие офицеров и высшего начальства, находил утешение в водке. Пьяный, он был очень буйный. Офицеры, зная его решительный характер, боялись подходить к нему. С солдатами был очень добр. Напившись, орал во все горло русские песни, плясал, играл на гитаре.

Узнав от денщика Тойно, что Какко Олави понимает по-русски, Блинов пригласил его к себе. И скоро Какко стал невольным соучастником его пьяных оргий. С одной стороны это позволяло Олави узнавать все новости, настроение офицеров и солдат и использовать в своей работе, учиться русскому языку, с другой стороны, отражалось вредно, вызывая недоверие товарищей.

В один из таких вечеров, когда пьяный Блинов бил в ладоши и, притопывая ногой, кричал, что было у него духа: — Гоп мои гричаники! Гоп...! ^[4]— а до смерти напуганный Кукушкин плясал в присядку, в землянку вошел Арва.

Олави обрадовался, узнав Арву, с которым вместе служили в учебном батальоне.

Почитав направление Арвы в роту, Блинов дико засмеялся: Не вышел из тебя хороший жандарм. Не оправдал доверия. — Затем налил стакан водки, выпил половину, остальную протянул Арве и сказал: — Но и черт с ним — жандарм не профессия. — И обратился к фельдфебелю: — Кукушкин, пару бутылок! Живо прохвост! Пора бы догадаться самому — гостей надо встречать по-русски.

А утром Блинов, не жалея глотки, поднимал солдат в наступление, гнал их в атаку, и, как выражались все в роте, сам лез к черту на рога. Вот почему начальство не запрещало его пьянки, а, наоборот, поощряло буйства Блинова, так как после них он делался зол, искал смерти и не жалел солдат.

Когда Блинов отдыхал от плясок и настойчиво требовал от Кукушкина завещания, что в случае победы, он должен взять его в кучера, а в случае смерти гроб Кукушкина должен быть оклеен завещаниями, Арва рассказывал:

— Был я начальником лесного лагеря. Русские произвели на меня самое хорошее впечатление, но обращение с ними варварское, питание отвратительное. Если они еще живут, то это объясняется присущей выносливостью русского народа. Тверже и

выносливее людей я ни кого и нигде не встречал.

— Не встречал ли ты военнопленного по фамилии Маевский, Леонид Маевский? — спросил Олави.

Арва задумался, потом закивал головой и сказал: — Нет! Что-то не припомню. Хорошо знаю я только Рогова — «покупатель табака», так звали его все. Его хотели расстрелять за то, он хотел есть. Я заступился и спас ему жизнь. Вот почему я здесь.

Когда они пришли в землянку, где размещалась рота лейтенанта Блинова, солдаты уже проснулись. Многие занимались физзарядкой, а старый капрал Кивимяки стоял спиной к двери и громко говорил. На скрип двери он повернулся и, делая жест рукой, как лихой казак вынимает шашку из ножен, и страшно вращая белками глаз, сказал: — Не секрет, что маршал Маннергейм был противником войны. Однако это не помешало ему заявить: «Я не вложу меч в ножны, пока Восточная Карелия не будет присоединена к Суоми.

— Что мы будем от это иметь? — спросил Арва.

Капрал быстрым жестом взъерошил свои непослушные волосы, водрузил очки на лоб, чтобы лучше разглядеть вошедшего, указал пальцем левой руки на Арву и повысив голос до предела, закричал: — Благодаря таким солдатам, которые много рассуждают, приостановилось победоносное наступление. Наш долг — беспрекословно выполнить пророческие слова маршала Маннергейма. Выполнив их, мы получим сотни тысяч гектар земли...

— Простите меня, капрал, — перебил Арва — я только что прибыл на фронт, чтобы помочь будущему наступлению. Вы же незаслуженно оскорбили меня.

— Чей долг, наш или социал-демократов, бороться за присоединение Восточной Карелии? — спросил солдат, на минуту отстраняя товарища, брившего его. — Мне лично — не тесно на своей земле.

— Внутренние враги — только они будут виновники, если Суоми не будет Великой! — ревел на всю землянку старый капрал.

— Я не видел до сих пор, чтобы мы бегали от своих внутренних врагов, а от русских приходилось не раз. Вот ты, капрал, все время ссылаешься на свой преклонный возраст, а на прошлой неделе так смазывал пятки, что я, молодой, не мог догнать тебя.

— Сиди, сиди, а то отхвачу пол губы, — перебил говорившего солдат, — а капрала все равно не переговорить. Это начало вместо физзарядки! Основную речь он произнесет после кофе.

— Нет! Не правда — капрал Кивимяки бежал не от русских.

Он спешил к Кукушкину заменить кальсоны, — сказал молодой солдат.

Дружный смех заглушил слова капрала, метавшего гром и молнии в адрес внутренних врагов, осмелившихся критиковать его — старого социал-демократа.

Когда стих смех, Арва прошел по узкому проходу между нар, поздоровался за руку с теми, кого знал по учебному батальону, снова вышел на середину, поднял руку кверху и сказал: — Новое пополнение в роте, солдат Арва! — Затем подал руку капралу. — Будем и с вами знакомы, капрал.

Какко Олави, после отъезда Арви из учебного батальона на Север, узнал, что Арва, служивший предметом насмешек в батальоне, как главный ассенизатор, был той жизненной силой, которая открыто вела пропаганду против войны. Смертный приговор не сломил его и не изменил убеждений. Во имя своих идей он потерял карьеру, материальные блага и вынужден был жить в разлуке с семьей. Олави знал так же, что в 1940 году Маннергейм лично вручил офицеру Арве «Белую розу», которая спасла его от виселицы. Его только разжаловали в рядовые.

Поэтому Олави, встретившись со старым знакомым, в первую очередь постарался объяснить положение в роте.

— После того, — говорил Олави — как я вступил в партию, был простым пропагандистом в роте. После смерти товарищей на меня возложили всю работу в ней. И надо же было случиться, что в ту пору в роту прибыл старый социал-демократ Кивимяки. Воз оказался мне не под силу. В полковом комитете сложившейся обстановке не придали значения.

— Тяжелый воз трудно столкнуть с места, — сказал Арва, — потом он пойдет равномерно, без больших усилий. Правда, приходится туго, когда нужно везти его на гору. Напрягая все силы, мускулы, вези вперед, не дай ему скатиться назад. В редких случаях, когда нужно, не бойся, но умело сдавай назад, чтобы взять разбег. Когда достигнешь вершины, под гору он пойдет сам — умей только направлять по правильной дороге. Так и у вас Кивимяки оказался тем препятствием, которое мешает идти вперед и мы постараемся в ближайшее время очистить нам путь.

И Арва взялся за работу. В первую очередь раскритиковал полковой подпольный партийный комитет, где ему объяснили, что мало оказывают помощи Олави потому, что рота лейтенанта Блинова служит ударной группой, и командование в нее специально подбирает головорезов — шюцкоровцев и социал-демократов, которые плохо поддаются агитации.

Но Арва был не из тех людей, кто останавливается на полпути, кто не умеет найти выход из положения и он направляет

Олави на батарею, расположенную поблизости, который без особого труда разыскал указанного Арвой артиллериста. Вздернутый нос на круглом лице с резко выступающими челюстями и большие карие глаза, а главное жесткие черные волосы капрала, ключьями торчавшие во все стороны, показались Олави знакомыми.

Капрал внимательно выслушал Какко, сразу переменялся в лице, но спокойным голосом сказал: — Да, старик с характером.

— Главное, у капрала Кивимяки, — спешил посвятить сразу во все тайны Олави товарища, — он умеет овладевать слушателями. Имея большой жизненный опыт и обладая красноречием Цицерона, он своими словами просто гипнотизирует солдат, и они зачастую верят ему больше, чем офицерам.

— Знаю! Знаю, — перебил капрал, — отец за словом в карман не полезет, а дури у него в голове много. А в общем он не плохой человек.

Только сейчас Олави догадался, где видел его: капрал был сыном капрала Кивимяки и по внешнему виду многим напоминал отца.

— Так вот, — ласковым голосом продолжал капрал, — особенно старика не бойся. Смелее вступай с ним в бой. Кроме своего красноречия, у него нет почвы под ногами. Тем временем я оформлю перевод в роту. Из батареи в роту переводят неохотно, только провинившихся, но служить вместе с отцом — веская причина.

И после пятнадцатилетней разлуки отец и сын встретились в одинаковых солдатских шинелях, но врагами по убеждению. Ссора их произошла давно. Тем не менее, сын аккуратно помогал отцу материально и не давал разориться. Злопамятный отец не писал сыну писем, но от помощи не отказывался. Только мать ежегодно навещала старшего сына, не напоминая ему о двухлетнем нахождении в тюрьме за участие в забастовке, и сколько слез она пролила за это время. Отец менее всего ожидал встречи со своим упрямым сыном, который охотнее пошел в тюрьму, чем отказался от своих убеждений.

Послушай он отца, тот бы использовал свое положение старого социал-демократа, и сын по-прежнему пахал бы землю. Но этого не случилось. И когда он увидел пришедшего в роту сына, понял, что он будет его страшный враг, и душевное состояние старого капрала Кивимяки пошатнулось. Он впервые испугался сына не потому, что это был уже не восемнадцатилетний мальчик, а мужчина средних лет — коммунист, а потому, что у него почему-то не зародилась мысль

пойти и доложить начальству. А молчать он, как старый социал-демократ, не мог.

Началась борьба отца с сыном.

Речи старого капрала стали злее, ядовитее, а острие жала было направлено на сына, который все время проводил с солдатами, с отцом лишь заговаривал редко и то о доме, матери, семье. Многие солдаты покидали старого капрала и ради любопытства примыкали к молодому.

— Надоело нам слушать тебя, пойдем послушаем сынка — говорили они старому капралу в глаза. От чего старый капрал злился пуще прежнего. Но когда ему кто-то сказал: — Папаша, а не мешало бы твоему сынку петлю на шею да вздернуть на сук. — Он на миг представил висевшего на сосне сына, вокруг которого вьются вороны стаями, и сердце старика дрогнуло.

И если бы ему в то время предложили: сын или великая Суоми, он не нашел бы слов.

На передовой позиции они ночью оказались вместе на посту. Из леса постоянно грозило вырваться пламя смерти. Отец впервые почувствовал боязнь за судьбу сына. Было очень темно. Холодный ветер старался сорвать шапку с головы и пробирался под шинель. Сердце старого капрала заныло.

Землянки были прижаты к пригорку, а дальше — сплошной лес. Сын выбрал себе пост ближе к нему.

Сейчас не зима, — все время думал отец, — враг может спрятаться за каждым кустом. Не ровен час, не успеешь прийти на помощь, как задушат. Он боялся не столько за себя, сколько за сына. Временами они сходились вместе, останавливались и, не сказав ни слова, шли в разные стороны. Сын, миновав землянки, спускался в ложбину — к лесу, отец взбирался на пригорок и с тревогой наблюдал за ним. Хотя ветер больно стегал лицо, отец не поднимал воротника шинели и не подвязывал уши шапки, боясь, как бы ему не прослушать тревожного шороха. Страх совсем обуял его. Встретившись снова, отец не выдержал. Чтобы задержать сына хоть на минуту возле себя, сказал: — Давай, закурим...

Услышав отрицательный ответ, испугался. Сын снова пошел по своему маршруту. Отец решительно зашагал за ним к лесу. В это время он не думал, что сын коммунист, а отец его противник, зная то, что там было наиболее опасно. Всю ночь дул ильный ветер. Сосны шумели и поскрипывали. Порою, не выдержав сильного ветра, падали, и при своем падении ломали ветви других деревьев, подминая под себя мелкие. При каждом шорохе Кивимяки вздрагивал, вскидывал винтовку на руку и тревожно прислушивался. Сын по-прежнему с винтовкой за спиной

равномерно прохаживался по своему маршруту. Отец успокоился только тогда, когда их сменили, но и здесь его ожидало разочарование — рота готовилась в наступление.

— Возьми, прочти, отец, — сказал сын, — да не мешало бы тебе съездить в отпуск. Наступление и без тебя не сорвется.

Капрал Кивимяки, не раздеваясь, принялся за чтение письма. По почерку узнал, что пишет жена. Бегло пробежав глазами, где шли поклоны и пожелания, он остановился на строчках, отмеченных карандашом и догадался, что сын, по-видимому, это сделал нарочно. Мать писала сыну:

«И вселили ему непутевые в голову мысль о Великой Суоми. Он все время бредит о присоединении Восточной Карелии к Финляндии. Доживем ли мы до этих дней?...

А хозяйство наше идет к упадку. Собрали урожай, которого едва ли хватит до посева, а на семена придется занимать у барона Пуронена. То, что собрали, за это спасибо военнопленным, иначе неубранная пшеница осталась бы зимовать на поле. Мы всем семейством отработывали у барона за прошлогодние семена. Сколько пришлось пережить, когда пленные барона украдкой косили наш хлеб. Если узнает управляющий, убьет. Еще сообщаю: недавно пленные привезли нам два мешка зерна, украденного у барона. Дай бог им здоровья, и не приведи бог, чтобы узнал управляющий. За это, дорогой сын, не осуди свою мать: жить больше нельзя».

— Дура! — сказал вслух капрал, — Разве можно писать такие вещи в письме. Но, убедившись, что печати «проверено военной цензурой» нет, успокоился. — А что привезли пленные два мешка пшеницы, не велика беда. Их то, может быть, я своими руками взял в плен. Барон — то не нюхал пороха!

К вечеру его взяло сомнение: вдруг узнает управляющий, имущество опишут и конфискуют, тогда — куда семье деваться? Барон хоть и не нюхал пороха, а правда на его стороне.

Он получил разрешение начальства, сел на попутную машину и уехал в отпуск на две недели.

Дома в деревне, он увидел унылые, голодные лица. Война разоряла крестьян. Наступал голод. Отпуск прошел незаметно в хлопотах по хозяйству. Снова фронт.

В землянке, где раньше была расположена рота лейтенанта Блинова, он застал незнакомых солдат. Земля возле нее была изрыта снарядами. Большая сосна, на которой солдаты вешали свои продуктовые сумки, с корнем выворочена и вершиной своей прикрывала вход в землянку. Дым расстилался над лесом, и чувствовался запах гари.

Разыскав офицера, капрал поинтересовался, где в настоящее

время может быть рота русского офицера финской армии. Офицер не сказал ничего и отмахнулся рукой. Проходивший мимо солдат показал пальцем на землю и сказал: — Там!

— Разгром! — невольно вырвалось у капрала.

— И сколько еще будет таких разгромов, если мы не заключим мира, — сказал снова солдат и пошел. Кивимяки последовал за ним. В землянке велся откровенный разговор. Солдаты обсуждали неудавшееся наступление и печальный его исход.

— Видели бы вы, как русский офицер доказывал полковнику, что наступление провалится, — с жаром в голосе говорил белокрысый солдат. — Он предвидел разгром. Он напился пьяным. Когда его не послушались, так страшно ругался, что к нему боялись подойти.

— Где можно разыскать кого-либо из роты Блинова? — спросил его Кивимяки.

— Зачем она тебе? Оставайся у нас, — ответил тот.

— Там сын у меня! — едва сдерживая слезы, вымолвил Кивимяки.

Толком никто ему ничего не мог сказать. Одни уверяли, что ее вообще больше не существует, другие говорили, — она целиком попала в плен.

— Папаша, не прими это за обиду. Я помогу тебе разыскать сына, — сказал незнакомый солдат. Они вышли из землянки. — Вон видишь дым от костра — там жгут трупы, чтобы скрыть от других ужасный разгром. Вопреки нашим обычаям мертвых не хоронят. Они боятся морального разложения, если солдаты увидят последствие нашего наступления.

Капрал поблагодарил солдата и напрямик, по лесу, пошел к месту сжигания трупов, так как тот его предупредил, что местность оцеплена солдатами и по дороге пройти нельзя.

За несколько сот метров от костра он уже почувствовал запах горевшего человеческого мяса. Солдаты в кожаных фартуках укладывали трупы штабелями по несколько десятков человек, обливали их керосином, закладывали валежником и поджигали. Недалеко от костра на пне сидел ротный писарь и в тетрадь записывал имена погибших. Возле него толпились несколько солдат. Они интересовались, нет ли в списках фамилий убитых родственников. Среди них капрал заметил несколько знакомых солдат и подумал, что, по-видимому, не такой уж разгром, как ходит слух. Он подошел к писарю, когда тот говорил: — Да, убит! Можете написать родственникам: похоронен с воинскими почестями на высоте № 111. Другого сообщения цензура не пропустит, да и вам будет неприятность. Мы пошлем извещения

немного позднее.

— Посмотри! — крикнул Кивимяки писарю, — капрала Кивимяки, рота лейтенанта Блинова ...

— Что-то не припомню! — ответил писарь, равнодушно перелистывая тетрадные листы, где велась запись убитых роты лейтенанта Блинова.

— В списках не значится!

— Слава богу! — сказал капрал, уступая место другому.

— Ты смотрел в неопознанных трупах? — спросил солдат, у которого знакомый оказался убитым.

— Нет!

— Посмотри. Из роты Блинова в живых осталось очень мало.

И Кивимяки направился разыскивать трупы. Нашел несколько убитых солдат, на которых не оказалось медальонов с адресами. Его тошнило от неприятного запаха, но он не закрыл нос платком, как делали другие. Чтобы не осквернить прах убитых. В нескольких шагах от неопознанных трупов Кивимяки столкнулся с санитарями, несшими на носилках раненого. Лицо его было бледное, губы сжаты. Руками он держался за живот.

— Больно, сынок? — спросил Кивимяки.

Солдат хотел что-то сказать, но вместо слов у него вырвался стон. Его, не останавливаясь перед костром, понесли в санитарную часть.

— В живот ранен, — пояснил санитар, — нашли между трупами. На вторых носилках несли мертвого.

— А этот... Это капрал Кивимяки. Отец у него в отпуску, — услышал старый капрал слова солдата, опознавшего труп своего товарища.

— Запишите фамилию, — распорядился санитар. — Адрес узнаешь в списках роты русского офицера. А сейчас в огонь.

— Стойте! Стойте! — закричал капрал. — Я здесь!

— Это отец — приехал из отпуска, — пояснил солдат офицеру, стоящему поодаль от костра.

— Отнесите в сторону — пусть простится с сыном.

Двое солдат подняли труп и понесли. Солдат, опознавший убитого, помог Кивимяки подняться и, поддерживая его, пошел за ним, на ходу утешая горем убитого отца: — Слов нет — тяжелая утрата! Утешение одно — погиб за Родину!

— Нет! — крикнул капрал, — Он не признавал такой родины, которая гонит солдат на убой.

— Убили его первым, — продолжал солдат. Только мы поднялись, русские открыли минометный и пулеметный огонь. Он бежал немного правее меня, чуть впереди. За ним офицер — взводный. Солдат повернул голову в сторону офицера,

руководившего уничтожением трупов.

— Смотрю, капрал упал. Я хотел посмотреть, может быть, он ранен, но офицер закричал на меня, и я побежал дальше.

Кивимяки не слушал его. Когда солдаты хотели положить убитого на хвою срубленных сосен, капрал сказал: — Не надо. Я предам труп земле.

— Нельзя! — Вы должны проститься, потом возьмем его, — сказал солдат.

— Уйдите прочь! Вы возьмете его только через мой труп. Я похороню его.

Капрал взял сына и понес. В землянке ему уступили место. Кто-то принес свечу и поставил в головах покойника. Незнакомые солдаты из досок собственных нар сделали гроб. Капрал всю ночь просидел над сыном. Утром сам выкопал могилу на горе, напротив землянки, где перед наступлением жил сын.

Хоронить пришли солдаты, кто был свободен от наряда.

— Тебя убили твои враги, — сказал старый капрал — Среди них был и я. Убили предательски, подло, за то, что ты был против войны и не хотел чужой земли.

Сына похоронили, поставили деревянный крест. Отец поклонился свежей могиле, утер слезы и пошел к землянке. Перед ним в тумане плыл бегущий сын во время боя и кровавая рана от пули в левой лопатке... и злобное лицо офицера, стреляющего в спину сына ... да тоска и боль.

...Олави весь день полз. Изредка останавливался и жадно вдыхал воздух. На пути часто встречались трупы. Первое время он старался запомнить имена погибших, чтобы сообщить родным. К вечеру выполз на пригорок; на самой вершине его, страшно оскалив зубы, лежал убитый фельдфебель Кукушкин. Когда солнце опустилось низко, и сквозь густую чащу не проникал ни один луч, Олави слышал шаги. Низко опустив голову, не заботясь о том, что его увидят, грузно ступая, мимо него прошел Блинов.

Увидев труп Кукушкина, он брезгливо отвернулся, затем поборов отвращение, подошел к нему, достал из полевой сумки какие-то бумажки и бросил их. Подхваченные порывами ветра, они разлетелись в разные стороны.

— Блинов! — по-русски крикнул Олави. Но тот даже не повернулся и так же не спеша, стал спускаться под гору...

Превозмогая боль в животе, собрав все силы, Олави пополз за ним. Под утро его подобрала своя. Вопреки приказу начальства отказался ехать в полевой госпиталь, а поддерживаемый солдатами, пошел на похороны коммуниста капрала Кивимяки. Когда в воздухе прозвучал прощальный троекратный залп, Олави

подняли на руки, и он, напрягая последние силы сказал: — Финское правительство, в угоду немецкому фашизму продолжает проливать кровь! Довольно проливать кровь за чужие интересы! Прекращение войны и заключение мира! Создание народного правительства и предание суду виновников войны — вот наше требование!

Напрасно офицеры старались разогнать солдат, угрожая оружием, объявляя тревогу. Толпа все росла и росла, а слова солдата Какко Олави разносились ветром и как иглы врезались в сердца людей, одетых в серые шинели.

27. Неудавшаяся затея

Газета «Северное слово» сообщила о «победоносном» шествии фельдмаршала фон-Паулюса на Сталинград, а по Финляндии распространился зловеющий слух о разгроме немецких полчищ.

Газеты не публиковали комментариев — радио выключено, а слух с невероятной быстротой заползал во все уголки; для него не было преград. Ни пограничные кордоны, ни строгие указания из Хельсинок о сохранении тайны, ни полицейские дубинки, не могли удержать его! Слово Сталинград не сходило с уст финнов. Куда ни пойдешь, везде слышно: Сталинград! Сталинград! Сталинград!

Не опубликовав ничего о Сталинградской битве, газета начала проповедь «эластичной обороны», заменив слова «молниеносное наступление» и вынуждена была сообщать о падении одного города за другим.

- Сколько радости за родину! За храбрость воинов и ее вождя, под чьим руководством разгромили немцев под Сталинградом, под чьим руководством началось победоносное шествие на Берлин! Слава воинам- победителям! — говорил Шаров, собравшимся около него товарищам.

— Сколько душевных мук и переживаний, тоски и злобы от своего бессилия помочь родине, — гневно воскликнул Громов.

После Сталинградской битвы даже у самых малодушных военнопленных появилась надежда возвращения на родину.

Радостная весть не дошла до Леонида: он лежал в горячке и в бреду говорил о победе. Радость за него разделяли друзья и по очереди дежурили у постели больного. Санитар Жохов был доволен, что около умирающего находятся люди. Барон Пуронен вызвал из штаба финского доктора и военнопленного врача 3 ранга Мухина. В это время Илья Поляков лежал на соседней койке с Леонидом с зашибленной ногой. Военврач 3 ранга остался в Никеле и внимательно следил за больным. Только Илья с нетерпением ждал смерти больного. Он думал, что она унесет его тайну, когда он живого матроса выбросил на мороз, и сотни раз ругал себя, что не отравил его в Янискосках — тайна была бы погребена навсегда. Военврач Мухин до организации штаба северных лагерей работал на общих работах в Янискосках, затем в Никеле. С организацией госпиталя военнопленных в городе Ивало он был назначен главным врачом.

Он питал к Полякову отвращение за то, что ему, военврачу, приходилось обращаться к Илье за помощью, и вместо нее он

получал зуботычины и оскорбления. Тем не менее, он лечил Полякова добросовестно.

Ночью он делал перевязку, и Солдатов рассказал ему происшествие с Леонидом. Военврач закрыл глаза, и ему ясно представилось, как санитары по указанию Ильи больного выбрасывают на мороз с циничными словами: «Молчи, Илья Иванович лучше знает!»

Он открыл глаза — перед ним на койке лежал Поляков и хищными глазами смотрел на него, в них были презрение и злость. Дай снова ему власть, он без малейшей жалости уничтожить и тяжело больного и врача. Мухин снова представил себе умирающего на снегу военнопленного, который кричит: «Товарищи, я еще жив!»

После долгих колебаний, зная, что это преступление, но под впечатлением рассказа Солдатова, военврач сознательно пошел на преступление.

Когда Поляков очнулся от хлороформа, он ощутил неловкое положение в теле. Руки его забегали по одеялу. Сделав гримасу, он заплакал от злости.

— Что вы сделали с моими ногами, доктор? — спросил он дрожащим голосом.

— Отрезал, — равнодушно ответил врач.

— Так будешь безопаснее, иуда, — добавил Солдатов, — пойди пожалуйся, может быть, и потеряешь голову!

Каждый раз, как только Леонид впадал в забытие, перед ним проносились картины его прошлой жизни. Впечатления менялись, и не успевало одно дойти до конца, как на смену ему являлось другое. Здесь был и фронт, и школьная жизнь, и азартная игра в футбол, и события последних ужасных дней, и ряд других, которых запомнить не мог. Больной организм воспринимал их равнодушно. Дольше и отчетливее других видений держалось море. Он в бреду метался, выкрикивал успокаивающие фразы, крепко хватался за койку.

Напрасно Поляков ожидал смерти. У Маевского оказался крепкий организм, и он поборол смерть. Когда ему становилось легче, он интересовался событиями на заводе, спрашивал, чем занимаются друзья и с чувством боли выслушивал сообщения о нормальной работе завода.

Вскоре его перевели в барак. Громов рассказал о неудачной попытке бегства.

— Судьба смеется над нами! — начал он. — Несмотря на то, что здоровье наше и силы сильно пошатнулись в лесной бригаде, мы собрались бежать. Тебя оставляли на попечение военврача, которому ты обязан жизнью. Единственное место, где можно было

подлезть под проволокой, — это за баней. Все было подготовлено к побегу. Солдатов выглянул из-за угла бани, схватился за голову, отпрянул назад и, не сказав нам ни слова, ушел в барак.

— Что было там? — прервал Леонид.

— Собака, — ответил Громов, и с укоризною неизвестно для кого прибавил: — Они как будто предполагали о нашем побеге и в ту ночь выставили за баней собаку.

— Переговорив между собою, мы пришли к выводу, что бежать можно только с работы, — произнес Солдатов, поймав пристальный взгляд Леонида на себе, и хотел что-то еще добавить в свое оправдание, но Шаров всех без лишней церемонии прогнал от больного. Старика Шарова побаивались все и возражать ему не стали, хотя Леонид просил оставить их. Он жаждал действий и борьбы, а болезнь приковала его к постели. Но с его болезнью работа группы не остановилась. С каждым днем становилось все больше членов. Военнопленные сплывались вокруг товарищей Маевского. Действие группы ощущалось на заводе и в шахте, и никакая сила не могла приостановить работы, начатой Леонидом. Шаров вечером принимал сведения о проделанной работе за день.

Для успокоения больного друзья решились на опасный шаг. Громов работал в шахте, но часто нанимался за других на завод. Он проникал во все закоулки завода. Его можно было увидеть с пустыми ведрами или с железом в руке, прохаживающимся по двору с таким видом, что он занимается настоящей работой, то с портсигаром в руке для продажи.

Портсигара у него никто не покупал. Он был грязный и замаранный, даже охрана не отбирала его и предлагала забросить подальше. Портсигар служил ему предметом маскировки, чтобы выпутываться из трудных положений.

Энергичный и находчивый, вместе с тем наблюдательный, Громов был смелым и решительным человеком. Он своими немного косоватыми глазами заметил, что место соединения желобов, по которым выливается раскаленный шлак из печи, на выходе, около стены, стыкуется с другим. Рядом с заводом барак — контора, где ведется учет отправляемого полуфабриката. Возле него валяются неубранные стружки. Если немного раздвинуть желоба, то жидкость потечет вниз по стене завода, вызовет пожар, и загорится барак. Пожар не причинит большого вреда заводу, но они будут вынуждены приостановить электропечь. Маевский одобрил план Громова.

Громов за сходную цену поменялся местом работы на ночь, объяснив бригадиру, что ему на заводе необходимо разыскать финна-должника. Кто и за что ему должен, об этом не спрашивают, когда заключают сделку, и тот, кто пошел за него в

шахту, не интересовался причиной обмена.

Ночью Леонид несколько раз подходил к окну. Он переживает за товарища, пошедшего на риск. Пламени не видно.

— Не случилось ли с ним неприятная история? Место многолюдное ... Только бы не попасть ему в беду!

Солдатов не менее его переживает. Они договорились, что в 2.00, когда финны будут пить кофе, Громов сделает свое дело. Пошел 4-й час следующих суток, а пожара не видно, но Солдатов продолжал успокаивать Леонида.

— Громов достаточно осторожен и хитер, наверное, не может выбрать подходящего момента.

Чтобы не привлекать внимания — они слишком часто подходили к окну, — решили лечь спать. Николай быстро заснул. Леонид выспался днем и не мог заснуть. В голове бродили тревожные мысли. Он старался их отогнать, пытаясь думать о другом, но никак не мог избавиться от них. Много раз передумывал сначала и до конца: правильно ли поступил Громов, что пошел сам, и пришел к выводу: правильно, и не все делается так быстро, как намечается.

Меньше всего думал Громов. Избегав весь завод, показываясь всем на глаза, так и не нашел должника: на самом деле у него не было его, он только присматривался, ушли ли финны из конторы, и выжидал удобного момента. Он правильно поступил, изменив первоначальный план. В обеденный перерыв финны выходили из литейного цеха, чтобы подышать свежим воздухом и могли заметить раньше, чем пламя охватит барак. Осторожно раздвинув стык и выждав немного, поставил его в прежнее положение, спустился вниз по лестнице и в литейном цехе лег спать на теплые плиты никеля.

Началась паника: финны бежали тушить пожар, русские отдыхали.

Солдатов спал крепко, но когда услышал крики: «Горит! На заводе пожар!» — соскочил с нар и побежал к окну, около которого собрались военнопленные. Растолкав всех, он прислонился к окну и увидел, как над лесом, с той стороны, где был завод, краснело огромное зарево.

Леонид не поднялся. Ему было достаточно услышать долгожданные слова — и на душе стало легче. Беспокоила судьба Громова. Успокоился только тогда, когда на пороге появился Громов со словами: — Не нашел должника! Такой маленький финн, вы все знаете его. Взял ящик — ни хлеба, ни денег не несет и сам не показывается на глаза! Все равно разыщу подлеца!

Леонид хотел спросить Громова, но в это время старшина лагеря Гаврилов дал команду дневным сменам строиться на

работу, а Шаров принес завтрак и сообщил новость, что украинцы на работу не пошли и их собирают в помещении переводчиков на тайное совещание.

Шарову было тут же поручено во чтобы то не стало проникнуть на совещание и узнать всю подноготную. Шарова пропустили без особых возражений, так как он пользовался авторитетом среди пленных как самый честный из поваров, к тому же, его побаивались: о нем сложилось хорошее мнение у охраны, и несколько неудачных попыток старшины Гаврилова убрать его с кухни закрепили за ним репутацию проверенного и незаменимого повара.

Тайное совещание военнопленных-украинцев, к тому же, с разрешения начальства, а главное под руководством Пономаренко, сильно беспокоило Маевского. С ним он познакомился впервые дни прибытия его в лагерь Пономаренко приехал в Петсамо-Никелевый лагерь с юга Финляндии, где он работал у крестьян. Своей солидной фигурой, красотой, и то, что он в плену научился свободно говорить по-фински, выделяло его из среды военнопленных. Первое время он работал переводчиком в производственной бригаде, потом был назначен заместителем коменданта лагеря. Общего языка они не нашли, а от помощи Пономаренко Маевский отказался. С тех пор они больше не встречались.

А сейчас, сидя за столом в помещении переводчиков, Пономаренко излагал «свои» планы на будущее. Голос был его спокоен, он чувствовал за собой силу и поддержку со стороны.

— Наша задача создать армию из военнопленных под руководством германского командования за тем, чтобы бороться за независимую Украину! С окончанием войны мы провозгласим самостоятельное государство...

— И превратимся в колонию Германии!

Пономаренко не смутился, чувствовалось, что к проведению данного мероприятия он готовился давно.

Яков Филин, бросивший реплику Пономаренко, встал и направился к выходу со словами:

— Нам не по пути. — За ним последовало несколько человек. Совещание продолжалось целый день.

Когда Маевскому доложили о намерениях Пономаренко, он сказал: — Мы бессильны помешать правительству Финляндии передать военнопленных украинцев для создания армии, но должны сделать все, что возможно, чтобы военнопленных, изъявивших желание служить фашистам, было как можно меньше: они возьмут только добровольцев!

Вечером было собрано совещание значительной группы

членов сопротивления. Шаров под видом чистки картофеля пригласил всех на кухню.

Леонид по состоянию здоровья присутствовать не мог, и поэтому дал Шарову некоторые указания по дальнейшему действию группы и отношению к украинскому контингенту военнопленных.

Когда собрались все, Шаров раздал ножи для чистки картофеля, принес несколько мешков и, высыпав на пол, начал разговор: — Военнопленный Пономаренко под руководством сверху объявил себя лидером борьбы за независимую Украину и повел агитацию за создание армии из украинцев с целью переброски ее в Германию.

— Набить ему морду немедленно! — прервал Шарова Солдатов. Его одернули другие и просили не мешать.

Сказанное Шаровым слова воскресили память о неудавшейся попытке организации добровольческой армии на территории Финляндии. Это подлило масла в огонь, и со всех сторон посыпался поток ругани на украинцев и их лидера.

Шаров выждал, когда стихнет шум, и продолжал дальше: — Вы не выслушали до конца и наносите незаслуженное оскорбленные всем украинцам.

— Правильно, — подтвердил Яшку Филин. — Не лезь вперед бабки в пекло!

— Дело в том, что его поддерживает незначительное число украинцев, но Пономаренко, чувствуя помощь начальника лагеря, действует смело и решительно и угрожает остальным. Мы собрались сюда за тем, чтобы обсудить, какую позицию должны мы занять по отношению к Пономаренко.

Посыпались разные предложения. Одни предлагали немедленно и публично избить лидера, другие — просто уничтожить изменника. Нашлись и такие, которые вызвались привести приговор в исполнение.

— Позвольте мне высказаться, — сказал Яшка Филин, поднимаясь с места. Он обвел взглядом всех присутствующих, почесал давно небритую щеку левой рукой, откашлялся, и не спеша произнес:

— Разрешите нам украинцам решить спор самим?

— Нашелся мне еще один националист, — зло произнес Солдатов.

Яшку поддержал Шаров с Громовым и большинство украинцев, присутствовавших на совещании. Вопрос был поставлен на голосование. За предложение — предоставить право решить украинский вопрос самим украинцам — голосовало меньше.

— Но все же будет так, — сказал Шаров, закончив подсчет голов.

— Нарушение демократии, — огрызнулся кто-то в углу.

— Цыц, салаги, — произнес Шаров. — Вопрос решен окончательно и согласован с Леонидом. Принимайте, как хотите, или за совет, или за приказ, а мы не будем вмешиваться в дело наций, предоставив им право решить спор самим. А сейчас принимайтесь за картошку: время закладывать в котел.

Группа изменников написала письменные заявления о зачислении в армию. Пленные украинской национальности раскололись на два лагеря. Первый без руководителя, но наиболее стойкий. Чувствуя за собой правоту дела, они держались упорно и не уступали Пономаренко ни в чем. Пономаренко чувствовал себя на верху блаженства и не замечал, что у него из-под ног уплывает почва. Сторонников его с каждым днем становилось меньше. Это он испытал вскоре, когда начальник лагеря задумал развлечься.

Военнопленных выстроили по национальностям в три группы: русские, украинцы и «черные» (так презрительно финны называли всех остальных), но получилось четыре группы. Украинцы разбились на две партии.

— С коммунистами не хотим рядом стоять! — говорили одни.

— От фашистской нечестии подальше! — отвечали другие.

Начальник мариновал строй около часа и в завершение всего предложил спеть песню на родных языках.

Он не услышал песни на русском языке. Русских поддержало большинство украинцев и часть из третьей группы. Пономаренко со своими людьми спели любимую: «Запрягайте, хлопцы, кони...»

Две трети всего лагеря остались без ужина: лишены за отказ петь песню. «Черные» переговорили между собой и отказались есть ужин своих товарищей. Пономаренко изъявил желание забрать все. Каждый из группы вооружился несколькими котелками и весело направились на кухню. Их встречали в обоих бараках и отбирали котелки с супом, а кто выражал неудовольствие, тех без всякой церемонии «приводили к порядку». Не миновали и лидера, его постигла участь всех. После процедуры с супом разгорелся спор, перешедший в драку. Не упустил случая почесать кулаки и Солдатов. Группа Пономаренко была избита. Коммунистов-украинцев, всех, кто был против Пономаренко, переселили в баню. Ссоры продолжались. Спорили в бараке и на работе. Пономаренко ухитрился сделать желтое знамя. Здесь вмешались все и предупредили его, что никто не желает видеть никаких знамен, кроме красного, и если он не забросит его, то будет повешен.

Споры и разногласия решил Пуранковский, прибывший из штаба северных лагерей. Он возвратил заявления о приеме в армию. Финны не хотели отдавать немцам свою рабочую силу. Только немногие были обменены на карелов и финнов, находившихся в плену у немцев. Заявления попали в руки Солдатова. Он забрался на верхние нары и кричал, искажая фамилии.

— Грицко Козолуп! Получай обратно — не подошел: голова клином, и нос не на том месте... Остап Зозуля! Ноги не по циркулю! Гаврило Вертихвост! Мордой не подошел. Тарас Перешибивертинос! Арийской крови нет... — И каждому «добровольцу» давал прозвища.

Еще некоторое время продолжались споры. Постепенно все стихло. Жизнь потекла по-старому.

Так закончилась вторая попытка немцев организовать армию из военнопленных.

28. В шахте

Около десяти километров по горам движется машина, чтобы доставить русских к месту работы, где люлька, установленная на наклонных рельсах, развезет пленных по горизонтальному стволу шахты на все этажи. Финны садятся в вагоны на территории завода, и маленький мотовоз по тоннелю доставляет их к месту соединения тоннеля с горизонтальным стволом. На расстоянии трехсот метров от горизонтального ствола имеется вертикальный, но клеть подъемника еще не работает. Шахта имеет шесть этажей. Никель выходит прямо на поверхность, и там идет разработка; бурят вертикальные скважины и взрывают. Руду машинами и вручную сгребают в яму, где имеется решетка. Поверхность соединена с первым этажом, на нем руду из люков перегружают в вагонетки и опускают на третий, минуя второй, который соединен ходом сообщения непосредственно с шестым. С шестого этажа руда увозится на завод. Разработка в забоях ведется на третьем и пятом этажах. На остальных идут подготовительные работы и пробивается тоннель: соединяют горизонтальный и вертикальные стволы под землей. Соединение между ними имеется только на третьем этаже. На нем, пятом и первом, бегают маленькие мотовозы. Ведется спешная работа, чтобы сделать один наклонный ход с поверхности и до шестого этажа, для устранения задержек во время перегрузок руды на этажах; ход рассчитан так, что проходит через все этажи, и в случае необходимости может перекрываться на любом этаже.

Территория поверхностной разработки и горизонтального подъемника с кузницей огорожена колючей проволокой. Вертикальный подъемник не попал в зону проволочного ограждения. В двадцати метрах от него — караульное помещение и вход в зону. Вход в шахту с поверхности и машинное отделение охраняют немцы. Подступы к спускам в шахту укреплены бетонными и земляными дотами. Охрана довозит русских до подъемника и наблюдает только за теми, кто остается наверху. Солдаты в шахту спускаются редко — и то ради любопытства.

Мастер Кола, долговязый детина, с громадным носом и веснушчатым лицом, длинными, как у орангутанга, руками, руководит поверхностными работами. Кола — откупщик от службы — при всяком удобном случае рассказывает военнопленным, как он в сороковом году на Мурманском направлении зарезал красноармейца. Мастер бьет русских,

многие не хотят с ним работать и уходят в шахту, хотя на поверхности гораздо легче.

Распределение рабочей силы — военнопленных — производил Кола. Наиболее физически здоровых русских он оставлял на поверхности. Не миновал рук Колы и Леонид. Мастер осмотрел Маевского с ног до головы, ощупал мускулы, и остался недоволен.

— В рот загляни — просчитай все ли зубы? — сказал переводчик Алексей на финском языке.

— Кола оставил Леонида в покое и подошел вплотную к переводчику.

— Вы говорите хорошо по-фински? — спросил он.

— Нет, я говорю на родном языке! — ответил Алексей.

— Вы финн? Очень хорошо — останетесь на поверхности, а он — в шахту, на пятый этаж.

Причина, по которой переводчик был отправлен в шахту на общие работы, была следующая: пленный, больной дизентерией, отказался выйти на работу; его начал избивать и насильно выгонять старшина Гаврилов. Первый, кто осмелился не только возразить Гаврилову, но оказать физическое сопротивление, был переводчик Алексей. Он заступился за больного, и сам пошел на его место.

Нападение на старшину лагеря вызвало недовольство со стороны начальства. Перед строем всего лагеря сержант Эндриксон упрекнул Алексея в том, что он, финн, отказался идти в финскую армию добровольцем и заступился за русских.

— Я финн, но не изменник, — ответил сержанту на русском, а потом на финском языке Алексей, за что получил удар в лицо. Спокойный и выдержанный переводчик ответил тем же. Его быстро связали и волоком вытащили за зону с намерением расстрелять. Барон Пуронен не согласился: он был все же финн, а не русский. Алексей отстоял восемь часов под мешком, ушел из барака переводчиков, поселился в общем бараке вместе с русскими и так оказался в шахте.

На пятый этаж опускались в последнюю очередь, поэтому Леонид отошел в сторону и стал наблюдать за товарищами. Они давно уже освоились с шахтой, знали свои работы, наиболее плохие места, куда нежелательно попадать и вслух обсуждали, как бы на сегодняшний день увильнуть от плохой работы.

Леонид внимательно слушал и старался вникнуть в их разговор.

— В прошлую смену мы работали «правильно», — говорил пискливым голосом невысокий военнопленный, одетый в шахтерский костюм, — я пришел в забой раньше финна и вижу:

машины не установлены и бурить надо под самым потолком. Плохи дела, — сказал я себе, — семь потов прольешь пока перетащишь машины и стойки, не легче и тянуть шланги, особенно воздушный.

И стал я думать, как избавиться от работы. Машину разбить — опасно, стойку испортить — хуже для себя сделаешь: придется все время буровую машину держать на руках...

— Ты расписал все как по маслу, — прервал его рядом стоящий с ним военнопленный, — у бурильщика всего три вещи: остается перерезать шланги, не правда ли?

— Перерезать, — продолжал первый, — принесут из мастерской конус и соединят — дело пятиминутное! Я придумал другое: свернул шланг, заложил камнями и сел сверху. Приходит мой финн: — «Почему не работаешь?» Шлангов нет, — отвечаю я. — И давай мы с ним искать по забою, где лежат они. Походим — походим, сядем покурим и снова искать. Так полсмены и проискали. Пришел мастер и взял нас в шоры: «Если нет шлангов — другую работу делайте. Разбейте большие куски никеля, чтобы не застряли в люке». Мой финн не особо трудолюбив. Когда ушел мастер, он говорит: — Пусть разбивает сам, а мы их в люк столкнем — дальше не наше дело». Ну, думаю, пропажа найдется, а сам едва сдерживаю смех. Финн отвернул большой кусок руды и заметил шланг. Почесал затылок и говорит мне: «Дураки, искали полдня, а сами сели на них». Время было обеда, и мы ушли в мастерскую. После обеда немного пришлось пошевелиться.

— Это хорошо, что так обошлось, — сказал Громов, — вы спросите Яшку Филина, как они вагонетку с пути столкнули. Расскажи, не стесняйся.

— Про какую вагонетку ты говоришь? — спросил Финн.

— Про ту, которую вы столкнули с пути, когда чистили между рельс, потом нагрузили ее и сидели с важным видом, оживая помощи, мол она сошла груженная! Пришел мастер, а ты и говоришь: — «Господин, мастер, надо бы мотовоз — двоим не поднять!» Он ответил: «Хорошо! Сейчас подам!» Ушел и тотчас вернулся с палкой и заставил вас поднимать груженую вагонетку на рельсы. Так, что ли? — обратился Громов к напарнику Филина.

— Было дело, — подтвердил он, — но откуда тебе об этом известно?

— Кто-кто, а Мишка Громов все знает, — сказал Гаврила Быков.

— Когда пришел мастер, я сидел в динамитном складе. Заметив его, перебрался в уборную. Другого выхода не было — выйти нельзя: мастер не дурак, поймет, что с шестого этажа на

третий в уборную не ходят.

— Так ты, друг, был не в лучшем положении, чем мы, — перебил Громова Филин, — просидеть полчаса в шахтерской отхожей не большое удовольствие!

— Наша очередь пришла, — сказал Громов, обращаясь к Леониду, не обращая внимания на насмешки и колкие замечания в его адрес. — Садись, да не поднимай голову высоко: в одном месте имеется выступ — можно задеть головой.

Людлька плавно заскользила по рельсам и не останавливаясь на промежуточных этажах быстро достигла своего назначения. Военнопленные вышли, заправили карбидные лампы и разошлись по своим местам. Леонид остался один. Электролампочка тускло освещала место, где он стоял. В полумраке Леонид заметил несколько столов, не которых стояли шахтерские продуктовые металлические ящики, а дальше была непроглядная тьма, проглотившая его товарищей. На верху Леонида предупредили, что около столов он должен дожидаться человека, который выдаст ему лампу и укажет место работы. Маевский нерешительно подошел к столу и хотел сесть на скамейку, но сильный свет электрической лампочки неожиданно ослепил его глаза. В темноте Леонид не заметил сидящего человека за столом, который давно наблюдал за его поведением.

Незнакомый человек встал, зажег карбидную лампу, подал пленному и сделал знак рукой следовать за ним. Он шел быстро по главному штреку, как человек, хорошо знавший местность. Леонид едва поспевал за ним, не махая лампой, боясь, как бы она не потухла, и часто спотыкался о валявшиеся куски руды. Они минули несколько люков, из которых нагружается руда в вагонетки, и свернули в боковой штрек, в конце которого стояла лестница, по которой поднялись в забой. В нем было совершенно темно, только в дальнем углу еле заметно мерцала лампа, крючком зацепленная за выступ стены.

Спутник Леонида крикнул шахтеру и полез обратно. Леонид подошел к рабочему и поздоровался. Шахтер, не поворачиваясь к пленному, кивнул головой и продолжал заниматься своим делом. Леонид понял, что он спешит зарядить пробуренные шпуры, сел в сторонке и стал наблюдать, как рабочий круглым шестом утрамбовывает динамит. В предпоследнюю палочку динамита вставляет детонатор и осторожно придавливает. Закончив заряжать, надрезал шнуры, убрал машину и шланги, снял лампу и показал Леониду как поджигать. Шнуры с шипеньем загорелись, рабочий побежал в сторону — включил воздух, чтобы после взрыва проветрить забой, и начал быстро спускаться по лестнице. Леонид побежал за ним, запнулся и упал. Лампа потухла.

Маевский растерялся и в темноте на ощупь начал искать лампу. Он ползал долго, порезал руку и расшиб колено, но найти никак не мог. Вспомнив, что вот-вот последуют взрывы, пошел в ту сторону, где по его предположению, был спуск в штрек.

Заметив шахтера внизу на лестнице, Леонид подумал: — «Сейчас он спросит, где лампа? А потом будут смеяться надо мной, как я в первый день своей работы в шахте потерял лампу и самообладание. Они будут говорить, что все русские трусы и бестолковый народ и ставить меня в пример. Не упустят случая пошутить товарищи, которые может быть, в первый день чувствовали себя гораздо хуже, чем я, но не показывали вида!»

Под впечатлением этих мыслей Маевский решительно повернул обратно и тут только вспомнил, что в кармане у него есть спички. С помощью их он быстро разыскал лампу, не было только капсюля, и спустился в штрек, где его поджидал финн. Рабочий закурил, затем порывлся в кармане и достал несколько капсюлей, осмотрел их, и один подал Леониду, потом не спеша пошел на обед. Один за другим следовали взрывы.

Вскоре собрались все шахтеры. Они вешали лампы на стену и садились за стол. Пили кофе молча, сосредоточенно прожевывая хлеб. Собирая все крошки. Пленные собирались в кучу и разговаривали, курили, ожидая, когда закончится обед. Некоторые шахтеры отламывали куски хлеба от своей порции и давали тем русским, с которыми они работали.

Военнопленные замечали — шахтеры делились хлебом с большой неохотой не потому, что им было жаль его, а потому, что они не имели лишнего и недоедали сами ежедневно.

К концу обеда пришел невысокого роста с круглым и румяным лицом шахтер. Его внешний вид во многом отличался от остальных шахтеров, и Леонид сразу понял, что это не иначе, как сам мастер смены и узнал в нем своего недавнего спутника.

С приходом мастера завязался разговор.

— Матушка есть? — обратился он к Леониду певучим приятным голосом.

— Я не женат, — ответил Леонид, зная, что под словом матушка мастер подразумевает жену.

— Плохо! Плохо! — продолжал мастер. — У всех русских есть «матушка», а у тебя нет! А где работал до плена?

— Учился в институте, а потом служил во флоте, — ответил Леонид. С первого взгляда мастер произвел неплохое впечатление на Маевского.

— Ого, матрос! Учился в институте! — Он покачал головой и, обращаясь уже к рабочим, сказал: — Ему не место в шахте, катать вагонетки мог бы и другой!

— Мастер разговорчив, любопытен и пока неплохо относится к нам, — сказал Филин.

Через неделю Леонид освоился в шахте и самостоятельно работал бурильщиком.

Николай Солдатов работает в кузнице — закаляет буры, делает шплинты и выполняет всевозможные работы. В свободное время кует финские ножи на продажу. Ручки делает наборные или выливает из алюминия. Ножи в ходу. Их охотно приобретают немцы и финны.

Громов собирает отработанные буры. Он ходит свободно, по всем этажам и появляется на поверхности.

Как только Леонид осмотрелся и изучил шахту, пришел к убеждению, что самым уязвимым местом в шахте является воздушные шланги. Собирать товарищей и говорить по поводу этого он счел ненужным, лишь вызвал Громова и дал инструкции.

— Михаил, — сказал Маевский, — ты будешь связным с остальными членами группы. В ближайшее время передай всем товарищам, что мы будем портить и уничтожать воздушные резиновые шланги — их меньше, и они представляют наибольшую ценность. Для всех должно быть понятно, что без них не могут работать буровые машины, лебедки, а подводить трубы к местам бурения не практично и слишком дорого. Шланги резать на куски, они пойдут на подошвы для финский сапог, а что нельзя пронести, зарывайте. Там, где нельзя резать, прокалывайте — финны будут ремонтировать сами. Один прокол — шланг уже неполноценный. Твоя задача сообщить по всем этажам, кроме пятого, здесь я займусь сам.

Дальше Громов не стал слушать и поспешил передать сообщение товарищам. Он привык понимать с полуслова и когда его спрашивали, каким образом лучше сделать то или другое дело, Михаил сердился и ворчал: — Как тебе удобнее, так и действуй, важен результат! Смотри, перед нами шланг, в десяти метрах шахтер! Резать ножом на глазах у всех опасно. Я пойду к шахтеру и попрошу закурить, и ровно через пятнадцать минут он пойдет в мастерскую за конусом для соединения шлангов.

Громов подходит к бурильщику, ставит около него принесенные буры, собирает отработанные и уходит. Через несколько минут бурильщик замечает, что воздух слабо вращает бур, и находит в нескольких шагах от себя место, где просачивается из шланга воздух. Шахтер долго не думает, выключает воздух и обрезает шланг — завтра его необходимо надставить, но рабочего это не интересует.

— Попробуй, догадайся, как я сделал это? — спрашивает Громов собеседника и не дождавшись ответа показывает

деревянную подошву своих ботинок. На ней чуть заметно торчит заостренный гвоздь.

Скоро стал ощущаться острый недостаток в воздушных шлангах. В деле уничтожения их отличался Громов. Солдатов бездействовал. Правда, он изготовлял недоброкачественные шплинты, что вызвало недовольство начальства, и ему дали соответствующий инструктаж.

Вскоре для Леонида наступили черные дни. Мастеру Коле кто-то сообщил, что Леонид был коммунистом. Он спустился на пятый этаж посмотреть на русского коммуниста и рассказать всем.

В забое появился перед обеденным перерывом и, отозвав в сторону шахтера, сообщил ему: — С тобой работает нехороший человек!

Сказанных слов мастером Колой было достаточно, чтобы изменилось отношение рабочего к военнопленному. Он ударил Леонида бумом по спине и выгнал из забоя. Во время обеденного перерыва шахтер ни разу не посмотрел в сторону Маевского и хлеб, принесенный ему, демонстративно отдал другому русскому, что не могло ускользнуть от внимания шахтеров и пленных.

Когда закончился обед, Кола взял Леонида за ворот гимнастерки и вывел на середину площадки. Показывая пальцем на пленного, он сказал: — Смотрите! Русский коммунист! — и размахнувшись, ударил в лицо Леонида. Маевский отпрянул назад, стена помешала ему упасть, и он спиной прислонился к ней.

— Теперь понятно, за что выгнали из забоя, — сказал Леонид, и посмотрел в сторону шахтеров. Военнопленные затихли. Финны заспорили между собой. Из-за стола поднялся пожилой шахтер, не спеша подошел к Маевскому и пристально посмотрел в глаза. Он был на две головы выше пленного и, одетый в шахтерский костюм, казался великаном. Совершенно седые волосы прядями свисали на лицо. Из-под густых бровей смотрели впалые, совершенно бесцветные глаза. Леонид с трудом удержался, чтобы не отвести взор. Затем старый шахтер подошел и положил свою громадную руку на его плечо. Мастер поверхностных разработок, размахивая руками, прищелкивая языком и тяжело сопя, стал доказывать ему что-то. Их разговор для пленных был непонятен, но они решил, что старый рабочий не одобряет поведение мастера.

Другие шахтеры продолжали спорить между собой, негодующие сжимали кулаки, готовые наброситься друг на друга. Напарник Леонида взял лампу и удалился.

— Оказывается не все подлецы! — сказал Филин и, выбрав

момент, когда на русских не обращали внимания, бросил в Колу лампу. Удар пришелся по каске, лампа раскрылась, и карбид залепил лицо мастеру.

Поведение русских вызвало негодование мастера. Он схватил двухметровый бур и поочередно подбегал к каждому военнопленному спрашивал: — Кто ударил?

Несколько шахтеров поднялись со своих мест и намеревались пойти на помощь мастеру, но старый рабочий прикрикнул на них, и они поспешили удалиться на работу.

— Я не выпущу вас живыми отсюда, пока не узнаю, кто бросил в меня лампу! — сказал Кола, угрожающе поднимая вверх бур.

— Не быть в живых и тебе, если на то дело пошло, — сказал Гаврила Быков, подступая к мастеру.

В это время остановилась люлька, и из нее вышел мастер смены. Он сразу понял, что случилось что-то неладное и спросил:

— В чем дело?

Кола бросил бур и начал объяснять мастеру:

— Кто-то из русских ударил меня по голове лампой...

— Как это так, ни с того, ни с сего взяли и ударили? — перебил Колу мастер.

— Я все время нахожусь среди пленных и меня никто не бьет! А потом не понятно — почему ты здесь? Место твое на поверхности!

— Они первый ударил русского, вот и получилось недоразумение, — сказал пожилой шахтер.

Мастер посмотрел на часы. Шахтеры поспешно стали удаляться на работу.

— Поедем наверх, — сказал мастер Коле, — я сегодня там не был. Он дал сигнал, и люлька тронулась с места. — Я вижу жить тебе надоело, Кола! Сегодня ударили лампой, завтра — буром, и крикнуть не успеешь! Пора понять — сорок первый год миновал...

После обеда никто из шахтеров не взял Леонида с собой. Он часто стал получать зуботычины и пинки от некоторых шахтеров, и все смены ходил с лопаткой, прочищал пути и под люками. Некоторые украдкой совали ему куски хлеба, но взять совместно работать боялись. Мастер Кола ежедневно бил его. Если в начале смены при спуске в шахту не ударит, то изобьет после смены или во время обеденного перерыва. Леонид постоянно ходил в синяках. Наконец Кола отправил его на второй этаж катать вагонетки, где попарно работали специалисты-немцы. Их четверо: Франц Форстер с Августом; Тео Скрупчак, говоривший на русском языке, с косым маленьким Вилли Ротермандом.

Франц — жуткий человек, всегда подгоняет в работе. Тео

ненавидит русских. Хотя он и говорит по-русски, но спросить его ни о чем нельзя. Вилли, выживший из ума старик, добр, когда его хвалишь и соглашаешься с ним. Только у Августа есть человеческие чувства.

Леонид с равнодушным видом работает, но сам внимательно прислушивается к их разговору — они этого не подозревают. Август настолько откровенен и чистосердечен в своих разговорах, что от него можно узнать многое. Через них Леонид подробно узнал о Сталинграде. Сталинград — постоянная тема их разговоров. Более всех горячился Август — участник Сталинградской битвы — за провинность отправленный в шахту. Он недоволен и резок в отношении Гитлера, не верит и в победу. Победоносно и патриотически настроен один Вилли — друг мастера Колы, который выменивает у него табак и сигареты.

29. Переводчик Алексей

Громов не прощал никому своих обид. На попытку ударить его, давал отпор, не заботясь о будущем. Леонид запретил ему рисковать жизнью: она нужна была для борьбы; тогда он мстил исподтишка, порою выкидывал такие номера, о которых знали все рабочие и охрана. За «лошадиной головой» сохранилась кличка «музыкант» — не только среди солдат и рабочих завода и шахты — история со злополучной костью дошла до штаба и распространилась по всем лагерям.

Громов, слесарь по специальности, последнее время работал в Энсо, откуда был призван в армию. Он имел за плечами около четырех десятков лет. Несмотря на свой возраст, он не мог сидеть без дела и движения. В шахте на его долю выпала трудная работа бурноса, но свойственная его характеру. Мастер и шахтеры были довольны работой Громова: во всех забоях всегда был нужный набор буров и во время доставлены отработанные на шестой этаж для отправки в механическую мастерскую. Доволен был и Громов: каждый предмет, попадавший ему на глаза, который мог причинить вред родине, им уничтожался. Лампа, случайно забытая шахтером, летела в люк. Под руководством Леонида он делал замыкания проводов, пробивал вентиляционные трубы — останавливались машины электрического и воздушного действия.

Громов не мог смириться с мыслью, чтобы не отомстить мастеру Коле за плохое отношение к пленным и Леониду. Когда стал чувствоваться острый недостаток в шлангах, их излишки забрали в шахту с поверхности.

Остальные мастер стал прятать в камнях или руде, так как на поверхности работы велись в одну смену: ночью без освещения работать нельзя, а нарушать светомаскировку было категорически запрещено.

Шланги продолжали теряться и укорачиваться. Солдатов из кузницы видел, куда прятал их Кола, а часто и сам помогал и в бараке передавал друзьям, где они зарыты. Кола спокойно спал — Громов вылезал из шахты и портил шланги. Утром Кола разводил руками и не мог понять, куда они исчезают. Солдатов намекнул ему на немцев: резина нужна им для всякой цели. Кола стал наблюдать за ними. В последний день ночной смены Громов изрезал все шланги и спрятал в руду.

Не обнаружив ни одного шланга на прежнем месте, Кола позвонил мастеру смены: — Предыдущая смена забрала у меня все воздушные шланги в шахту — работа по бурению срывается!

Прошу ваших указаний!

— Приступите к подготовительным работам, приготовьте место для бурения и примите меры к отысканию пропавших шлангов. В шахте их нет, — ответил мастер. — Один шланг высылаю с русским.

Громов привез шланг, когда Кола всю свою злость выместил на русских и сидел на краю обрыва, наблюдая за работой.

Военнопленные вручную сгребали руду в люки. Михаил сел рядом с ним, по-приятельски похлопал ладонью мастера по плечу, и сказал: — Шланг привез — давай закурим!

— Курить, — ответил Кола, — курить можно!

— Не поворачиваясь к пленному, он протянул кисет и, заметив внизу русского, который стоял, оперевшись в мотыгу, закричал во все горло: — Эй, русса, работамо!

Громов со всей силы ткнул его в бок. Кола вздрогнул от неожиданности и прикусил язык.

— Сатана! Сатана! — заругался мастер.

— Смотри! — сказал Громов, показывая пальцем.

Мимо них проходил немецкий часовой, сменившийся с поста. В руках он держал кусок шланга, подобранного у машинного отделения.

— Так вот кто ворует шланги, — закричал мастер, — я думал, что русские! Оказывается, комрады — воры!

Он вырвал из рук немца шланг и со злостью ударил солдата по спине. Немец ответил тем же. Завязалась драка. Кола оказался сильнее и сбил солдата с ног. Винтовка покатилась вниз, на нее Громов «услужливо» бросил большой кусок никеля. Драка вызвала скандал. Приехал главный инженер шахты и немецкое командование. Побитый немец показал на кучу кусков шланга, и Кола понял все. Но кто именно из русских портит их, установить финнам не удалось. Чтобы сгладить свою вину, Кола обрушился на Громова. Схватив попавшую под руку цепь, замахнулся на него, но тот успел увернуться от удара. Громов поднял бур и выждал, подготовившись к защите, и если бы не Арва, ставший между ними, убил бы Колу прежде, чем тот успел бы замахнуться на него.

Арве приказали доложить начальнику лагеря о недостойном поведении военнопленного, открыто оказавшего сопротивление мастеру. Он не выполнил распоряжение, и поведение Громова осталось безнаказанным, но его сняли с подносчиков буров и отправили катать вагонетки на второй этаж.

— «Перестарался недотяпа!» — такими словами встретил Громова Леонид.

Мелкое вредительство на других этажах не удовлетворяло

его, и отстранение Громова от должности бурноноса сводило на нет всю вредительскую работу.

— Мне нет возможности работать: всю смену приходится катать вагонетки, другие бездействуют и он, извольте радоваться, проявил ненужную инициативу! — ворчал недовольный Леонид. Громов стоял перед ним с видом провинившегося школьника, но Маевский знал, что в душе он не раскаивается за своей поступок, а, наоборот, думает над тем, как отомстить Коле.

— Принимайся за работу, не в гости пришел! Нет, обожди! Еще не все рабочие знают, что тебе дали отставку, сходи на третий этаж и узнай, в каком забое больше руды и где не работают финны.

Громов моментально скрылся. Все забои третьего этажа имели отверстия, который выходили на второй. Когда в забое выбирался никель, потолок нельзя было бурить, он засыпался породой со второго этажа; на нее настилали доски, чтобы не смешивать руду с камнем, и продолжали работу над потолком. Леонид с товарищами всю смену катал вагонетки с камнем, и засыпали шестнадцатый забой на третьем этаже.

Скоро вернулся Громов и сообщил: — Больше всего руды находится в пятнадцатом забое. Шахтеров нет, — можно свободно действовать!

— Откуда это известно, что я тебя посылал с целью узнать, где можно действовать, а где нет? — спросил Леонид. — Может быть, для прогулки!

— Хороша прогулка в мои года...

— Насчет возраста помолчи, — перебил Громова Леонид, — детства у тебя хватает!

Остаток смены он с пятью товарищами без отдыха и устали катал вагонетки и высыпал в пятнадцатый забой, полный никеля. Точно так делать передали и следующей смене. Мастера обнаружили это только тогда, когда сотни тонн камня были смешаны с драгоценной рудой. Все это явления объяснялись глупостью русских и незнанием языка.

На второй этаж доставили карликовый аккумуляторный электровоз. Немцы с видом знатоков рассматривали его и в один голос говорили:

— Машина прима!

— На этой приме будет работать русский, — сказал мастер и указал на Леонида.

Желающих работать на электровозе было много финнов и немцев. У финнов — полная анархия на производстве: сегодня машинист, завтра — бурильщик, после завтра — смазчик, а на следующий день — чернорабочий. Все это вредно отражалось на

производстве и техническом оборудовании. Выйдет из строя мотовоз — его угоняют в мастерскую завода, где работает единственный специалист.

Мастер, назначая русского работать на первом немецком мотовозе в шахте, преследовал свою цель.

Когда стало известно о прибытии немецкого оборудования в шахту, немцы-шахтеры заявляли, что они имеют полное право претендовать на лучшие условия в шахте и большую оплату. Чтобы задеть их самолюбие, мастер назначил русского военнопленного, а не кого-либо из них.

Так Леонид стал машинистом на электровозе, и каждое утро мастер в присутствии немцев говорил: — Русский, на прежнюю работу!

Немцы чувствовали, что мастер явно над ними издевается, и заявили протест. По распоряжению главного инженера шахты Леонида отправили на прежнюю работу. Когда инженер давал указание мастеру по поводу русского, подошел Арва с переводчиком Алексеем.

— Ваша фамилия Маевский? — спросил он через переводчика.

— Да! — ответил Леонид. — Чем могу служить?

Солдат обратился к инженеру: — Русский мне нужен на полчаса, не больше! Могу ли я на это время оторвать его от работы?

— Если нужен, пожалуйста, — ответил инженер.

— Что ему нужно от меня, Алексей? — поинтересовался Леонид.

— Не знаю! Два дня назад он попросил меня узнать, где работает военнопленный Маевский. Получилось довольно интересно: скоро будет три года, как мы с тобой вместе, а признаться — фамилии твоей я не знал.

— Не удивительно, — ответил Леонид, — охрана знает нас по номерам, а товарищи больше обращаются по имени.

Когда они остались втроем, Арва попросил переводчика обождать немного, а сам с Леонидом пошел по тоннелю. За поворотом не стало видно Алексея, он протянул Леониду маленький клочок желтой сигаретной бумажки: «На товарища можно положиться, Владимир» — прочел Маевский вслух.

— «Сомнений нет, — подумал Леонид, — писал Пуранковский, — и внимательно посмотрел на солдата, тот не выдержал испытующего взгляда, опустил взор. — Мои предположения оказались правильными. Арва не только хорошо относится к пленным — он коммунист, который поможет нам».

Леонид дружески пожал руку солдата. Они стояли долго,

говорили между собой, пожимали руки друг другу, но единственным словом, которое для них было понятно, которое связывало и роднило их — это «коммунист»!

Леонид вспомнил о переводчике и крикнул: — Алексей, иди сюда! Передай Арве — стоять здесь неудобно, поедem на третий этаж в динамитный склад.

Алексей перевел. Солдат утвердительно кивнул головой. В клетки Маевский предупредил переводчика: — Пойдешь первым, если кто из наших будет на складе, скажешь им: солдат идет сюда, пусть немедленно уйдут.

В складе было тепло, удобно и скрытно от постороннего глаза. Леонид сел около двери на динамитный ящик, чтобы было видно главный штрек, и заговорил:

— Алексей, я доверяю тебе священную тайну и не спрашиваю твоего согласия. Только незнание финского языка вынудило меня к этому: мне нужно поговорить с солдатом! Если разговор будет известен кому-либо другому, кроме нас, ненависть всех русских и винтовка солдата будут направлены на тебя.

— Товарищ! — крикнул Алексей, поднимаясь со своего места, и судорожно сжимал пальцы рук. В темноте он был похож на молящегося грешника, который раскаивается в своих поступках и умоляет бога простить его. — Переводчик Алексей, как и все военнопленные, любит свою родину — Советский Союз! Положение мое затруднялось тем, что я по национальности финн, и в плену меня выделили из общей массы и заставили ненавидеть своих товарищей. Находясь совместно с Ивановым и Павловым, я испытывал на себе негодующие взгляды военнопленных, которые не могли перерасти в прямую угрозу потому, что за нашей спиной был закон и вооруженная сила! Алексей чуждался своего происхождения и не раз сожалел, что родители мои были финны. Никто не знает, при каких обстоятельствах я попал в плен, однако, Алексей-переводчик не запачкал своих рук в грубом обращении с военнопленными, и совесть моя чиста! Тем не менее, ко мне относились осторожно и пренебрежительно, что ежедневно замечал я. Та ненависть, которая была у пленных по отношению к изменникам-переводчикам, камнем давила мою душу. Я старался помочь русским — от меня отворачивались и говорили в глаза, что я лицемерю! Я помогал в работе — меня упрекали за ненужную услугу. Я заступался за пленных, когда били их, надо мной смеялись, что я замазываю глаза. При всех этих обстоятельствах я все же предпочитал держаться ближе к русским, чем к переводчикам и финнам. Не сумев порвать связи с остальными переводчиками мирным путем, так как поведение их было прямой изменой, Алексей открыто выразил сопротивление

закону и сделал первый шаг для сближения с общей массой военнопленных!

— Тайна, которую вы собираетесь мне доверить, делает меня полноправным членом вашей тайной организации. С этой минуты, знание финского языка, моя жизнь, мои силы принадлежат вам! Пусть эти стены раздавят меня в лепешку, миллионы тонн никеля и камня обрушатся на меня, если я не сдержу слова.

— Сообщая тайну, я доверяю тебе. А сейчас поговорим, — сказал Леонид. — Спроси солдата, Алексей, может ли он связать нас с надежными товарищами в шахте.

— Да! — ответил Арва.

— Вся связь будет осуществляться через Алексея.

Арва в знак согласия кивнул головой.

— А чем думает заняться он сам? — задал Маевский вопрос.

— Я прибыл сюда для работы среди шахтеров и рабочих завода...

— Охрану лагеря забыли? — спросил Леонид

— Разумеется, и это входит в мои функции!

— Охарактеризуйте обстановку в шахте и на заводе.

— В шахте дела обстоят лучше, — начал Арва, — шахтеры — постоянные рабочие, у них нет выбора в работе — шахта их жизнь. Главное, среди них много наших товарищей, и профсоюз шахтеров целиком и полностью поддерживает наши взгляды.

На заводе дело обстоит иначе, — Арва на минуту замолк, потом продолжал. — Там большая текучесть рабочей силы и большинство их — сезонники, из зажиточной крестьянской среды, мобилизованные во время войны... В профсоюзе засели социал-демократы, а инженерно-технический персонал — шведская национальная партия, которая идет рука об руку с социал-демократами.

— Понятно, — сказал Леонид. — Ваша задача завод и охрана. Шахту беру на себя. Алексей свяжет тебя с надежными товарищами на заводе. Связь держим через Алексея, в отсутствии его — Солдатов — кузнец шахты, он сравнительно неплохо говорит на финском языке. Прежде чем идти по своим местам, я задам один нескромный вопрос: каким образом вы узнали мою фамилию?

— На фронте я служил в одной роте с солдатом, по фамилии, Какко Олави. Вы, наверное, помните его? — спросил Арва.

— Конечно! Разве я могу забыть этого курного мальчика.

— Сейчас вы его не узнаете: он возмужал и окреп физически, закалился духовно и стал на правильный путь.

— Я горжусь своим учеником! — торжественно произнес

Леонид.

— Он много говорил в вас, ваших беседах у костра в Янискосках. Когда я ехал сюда, лагеря в Янискосках уже не было. Мне сообщили, что пленные переведены в Никель. Я решил, если вы не умерли с голода, то непременно здесь.

В штабе я справился о вашей фамилии у переводчика Пуранковского. Он ответил сначала отрицательно, но позднее, когда узнал из сообщений полиции начальнику северных лагерей, что я принадлежу к числу неблагонадежных людей, рассказал мне все и написал вам записку.

— На сегодня довольно — поговорим позднее. Теперь мы будем поддерживать постоянную связь. Пошли.

Они разошлись в разные стороны. Леонид направился к вертикальному подъемнику, а Арва с Алексеем — к горизонтальному. Люлька развозила буры по этажам, подниматься по лестнице на поверхность не хотелось, поэтому они сели, закурили и стали беседовать.

— Я ожидал встретить иного русского, — сказал Арва. О нем говорили мне с восхищением, как о сильном, умном и мужественном человеке. Внешностью я не интересовался, но мое воображение рисовало Маевского подобно Гавриле — большого мужика, который одним видом внушал страх, или бурноса — хитрого, пронырливого, верткого и мстительного.

— Вы не доверяете ему? — поинтересовался Алексей. Переводчик был еще под впечатлением той беседы, которая порвала последнюю нить недоверия к нему, и он приготовился защищать Маевского, с которым встретился первый раз, приписывая ему только положительные качества. Алексей знал, что не может быть в лагере такого положения, чтобы в нем не действовала подпольная группа патриотов, так как большинство военнопленных оказались в плену не по своей воле. Они желали победы своей родине, поэтому не имели права сидеть без дела. Есть организация, значить есть человек, который возглавляет ее. Кто он? Большой и сильный, красивый или нет, понравилась его внешность солдату или нет? Алексей обязан всеми силами поддерживать его авторитет потому, что он настоящий патриот родины, который взял на себя тяжелое бремя в трудной обстановке.

— У меня нет оснований не доверять ему! — обнадежил Алексея своим ответом солдат. — Напротив, первая встреча произвела на меня хорошее впечатление. Я хотел сказать о другом, у многих из нас выработалась мания думать, что большие люди должны бросаться в глаза другим своей внешностью. Маевский работал у меня в бригаде. И производил впечатление

интеллигентного человека. Приятное лицо, белые руки, на которых отчетливо заметны вены, веселая улыбка на лице, больше присуще музыканту, чем человеку, которого я искал

— Да! — согласился Алексей. — Это у него не отберешь! Вы не нашли в нем ничего такого, чтобы бросилось вам в глаза?

— Именно! — произнес Арва.

— Мне кажется, он немного похож на вас.

— Да, я об этом думал...

— Русские, собирайтесь к подъемникам! Авария на шестом этаже! — раздался сначала громкий голос, затем не замедлил появиться из темноты Громов.

— Мы же финны, — пошутил Алексей, вставая навстречу Громову и вынимая папиросы. Михаил не понял шутки, отстранил руку Алексея и насмешливо сказал: — Извините, господин переводчик.

— И пошел по штреку продолжая кричать: — На шестом авария... Мастер приказал бросать работу и идти на шестой...

Спешка, с какой собрали пленный и финнов на шестой этаж, вызвана аварией в люке. Под напором и давлением большой массы породы поломалась шпала, придерживающая руду, и засыпала путь, отрезав мотовоз от завода. Когда авария была ликвидирована, появился Громов. Послышались реплики и насмешки со стороны финнов и пленных: — Кричал больше всех — пришел позднее!

— Громов знает дело: горлом кричи — руки в кармане держи, — огрызнулся Михаил и присоединился к группе Леонида. Сигнал известил о спуске клетки; шахтеры подошли к месту посадки; русские не спешили подниматься: их очередь последняя. Клеть с финнами, а затем с русскими, исчезла, только небольшая группа пленных дожидается очереди, когда подъемник доставит их на место работы, и начнется ненужное для них катание вагонеток.

Раздался телефонный звонок. Слушать некому. Пленные переглянулись. Громов снял трубку.

— Алло!

— «Мотовоз идет в шахту» — услышал он голос диспетчера и показал Леониду на мотовоз, который стоял невдалеке и оглушительно ревел. Леонид не понял. Тогда Громов крикнул: — Заглуши его к черту, все равно машинист еще на третьем! Мешает слушать.

Леонид исполнил просьбу.

— Хорошо! — И Громов под смех товарищей вешает трубку. — Мотовоз идет сюда, — говорит он, — едет немецкое начальство осматривать шахту.

Никто не поверил ему. Снова опустилась клеть. Из нее вышел мастер смены. Пленные бросились в клеть, чтобы занять места поудобнее.

— Матрос, — обратился мастер к Леониду, — ты поведешь мотовоз до завода, возьмешь буры, я схожу в контору шахты, и мы вернемся назад. Машинист останется на третьем этаже и тем временем поможет отремонтировать второй мотовоз.

Когда по какой-либо причине мастеру необходимо было ехать на завод, чтобы не отвлекать машиниста от погрузки вагонеток, он брал с собой Леонида.

Леонид молча сел на сиденье и завел мотовоз; мастер встал на подножку. Громов бросился к ним, но мотовоз, проворачивая колесами, рванулся вперед. Леонид укоризненно посмотрел на Громова. Выражение его лица говорило: все понимаю прекрасно и прошу не вмешиваться. Леонид не сомневался больше в верности слов Громова. Не знал только мастер и равнодушно поглядывал на русского, подставляя спину встречному ветру. Мотовоз был прицеплен в хвосте состава и постепенно набирал скорость. Столкновение должно было произойти вскоре: это чувствовалось по времени.

— Прыгать ли самому, — жить еще хочется, — или остаться сидеть, чтобы не вызвать подозрения у мастера. Хорошо, что я успел сообщить Николаю об Алексее, — думал Леонид.

Мастер по-прежнему смотрел на пленного. Он единственный из мастеров в шахте по-человечески относился к русским, а Леонида уважал. Он был настолько опытным шахтером, что среди шума мотовоза, на котором ехал, слышал посторонние звуки приближавшейся встречной машины по тоннелю прежде, чем Леонид. Мастер заволновался и, убедившись в правильности своих предположений, что-то крикнул русскому и спрыгнул с подножки. Леонид не расслышал слов. Произошло столкновение. Задние вагонетки лезли на передние и под напором сваливались с рельс. Леонида сильно толкнуло. Он упал в сторону и головой ударился о выступ стены, потеряв сознание. Очнулся в финской больнице, куда распорядился положить его мастер, зная, что в лагере к больным относятся очень плохо.

Пользуясь репутацией проверенного человека, Михаил Шаров, ежедневно под конвоем Арвы, навещал Леонида, — приносил продукты на завтрашний день. Первые минуты для больного тянулись медленно и были неприятны: Шаров, с присущим ему упорством журил за не продуманный поступок. Он говорил медленно, с трудом выдавливая слова, но они были настолько убедительны и верны, что Маевский не мог возразить.

— Второй Халтурин — пошел на самопожертвование ради

того, чтобы в дребезги разбить вагон с тремя паршивыми немцами. Не подумал над тем, что на твоей совести сотни людей, ожидающих указания ... а еще ругал Громова! И в какой момент? Когда два человека, незаменимых в нашей обстановке — солдат-коммунист и переводчик-военнопленный влились в нашу группу...

Лицо Шарова было каменное, ни малейшей жалости к другу, хотя ему было известно, что обдумать свое поведение Маевскому не было времени. Шаров, будучи медлителен в своих действиях, осторожен и точен, хорошо знал Маевского как выдержанного и рассудительного человека, поэтому никак не хотел ему простить.

Затем начинался разговор, с нетерпением которого ожидал Леонид, молча выслушивая нотацию друга. Он оживлялся, задавал вопросы, давал указания, касающиеся Арвы, остальная работа была возложена на Шарова.

Прощаясь, крепко жал руку Михаила, ласковым взором провожал солдата, и ожидал следующего дня.

Вышел на работу через три недели. Мастер определил его прочищать решетку от камней над ходом сообщения третьего этажа с шестым. Работа не трудная, но опасная: можно поскользнуться и упасть в пропасть.

Пока Леонид лежал в больнице, военнопленных одного за другим вызывали на допрос, но те, кто слышал разговор Громова по телефону, были надежные, и все как один твердили, что никто не поднимал телефонной трубки и финского языка не понимают.

Громов рассказал им несколько анекдотов и смешных рассказов о своей жизни; на том бы дело и кончилось, но начальство вспомнило Алексея-переводчика. Когда переводчик отказался выполнять гнусные работы охраны, его наказывали за каждую мелочь. Редкий день он не стоял под мешком. Улик за аварию против него не было, все шахтеры подтверждали абсолютную его невиновность, все же его часто вызывали в полицию на допрос и били. Финны вычеркнули его из списков переводчиков, а пленные стали называть его товарищем.

30. Разговор в мастерской

Ремонтная мастерская на третьем этаже служила местом обеда финнов и немцев. Русским вход запрещен. Военнопленные приспособились отдыхать в динамитном складе, около уборной, где было тепло незаметно. В других сменах склад так и остался местом отдыха для русских. В смене мастера-шведа русским разрешалось оставаться в мастерской на положении ненужных и непрошенных посетителей. Финны стеснялись его майорского звания и не выгоняли военнопленных из мастерской. Мастер не обращал внимания на присутствующих русских. Леонид редко заходил в мастерскую, большее время проводил на складе. Бывали дни, когда сильно уставал, Леонид не ходил на склад, а усаживался на камень, на решетке, и весь обеденный перерыв просиживал над пропастью — ямой, глубиной в двести метров, сверху прикрытой несколькими рельсами.

Сегодня он раньше обычного бросил работу и, пристроившись на верстаке в мастерской, курит одну сигарету за другой. Все в сборе. После кофе начинается оживленная беседа на родных языках: финском, шведском, немецком, русском, украинском и других. Все шведы говорят по-фински, но между собой — на родном языке. Мастер с ними объясняется исключительно по-шведски. Немецкий язык знает мастер и один из рабочих.

Он принес шведский журнал. На первой странице портреты виднейших государственных деятелей всех стран и полководцы. Они вызвали общую беседу: мастер переводит с немецкого на финский язык, его с трудом понимают русские. Франц смеется: «Интернациональная беседа».

На переднем плане маршал Советского Союза тов. Сталин, за ним президент Рузвельт, премьер министр Черчилль, Гитлер, Муссолини и т. п.

Разговор с участием русских велся впервые. Тема — обсуждение государственных деятелей. Военнопленным предоставлен один голос. Защищать интересы России поручили Громову. Его назначил мастер, а переводил Алексей.

Мастер был посредником. Громов не стеснялся называть смешными и оскорбительными словами Гитлера и Муссолини, строя всевозможные гримасы, что раздражало Франца и Вилли. Август смеялся от души.

— Что сделает русский, если в его руки попадет Гитлер? — переводит мастер вопрос Франца.

— Он попадет в руки правосудия, — отвечает Громов, — но

паче чаяния, если бы случилось так, то Мишка Громов сделал бы с ним веселую шутку!

Он берет полуметровый бур в руки и засучивает рукава гимнастерки. — Я накаливаю один конец бура до белого каления и холодным концом вставляю Гитлеру в «доброе место»...

— Неслыханная наглость со стороны пленного! — вскрикнул Франц, поднимаясь с места. Его остановил мастер.

— Почему, именно холодным? — спросил Август.

— Чтобы союзники не могли ухватиться за горячий конец и вытащить! — спокойно пояснил Громов.

Под дружный смех присутствующих Франц вынужден ретироваться на место.

Чтобы сгладить неприятное положение, в какое русский поставил немцев, мастер обратился к ним с вопросом: — Каковы перспективы немцев на дальнейшие успехи, когда молниеносная война провалилась?

Об этом говорили все откровенно. Никто уже не старался оправдать разгрома немцев в России: это был исторически случившийся факт, даже за откровенные разговоры не применяли репрессий к финским рабочим.

Вилли указал на слова Гитлера о каком-то секретном, новом оружии, которое сможет повернуть колесо истории. Франц напомнил о германской технике и мощи немецкого оружия, о крепком духе немецкого солдата.

Лицо Леонида на мгновение озарилось лукавой улыбкой.

Франц в разговоре с финнами держал себя нагло и к ним относился пренебрежительно, гордился тем, что принадлежит к чистокровной арийской расе, господство которой, по его мнению, должно было поддерживать дух немецкой армии и воодушевлять ее на подвиги.

Вилли плохо разбирался в политических событиях, но патриотически настроенный, выставлял в защиту своих доводов немецкие танки: его сын был танкистом.

Леонид за весь перерыв не проронил ни одного слова и сидел в углу, никем незамеченный.

Когда спор о военных талантах и способностях отдельных личностей принял острый характер, из угла раздался голос на немецком языке:

— В истории и событиях отдельные личности играют большую роль, но все же историю делают и определяют судьбу событий не личности, а народы. Не лучше ли переменить тему разговора и посмотреть на моральный облик борющихся народов. Кто из них сражается за правое дело и верит в победу? Девяносто девять из ста русских, находящихся в плену, верят в победу

Советского Союза! Из четырех немцев, которые сидят в мастерской, не верит ни один в победу Германии, хотя с пеной у рта кричат сейчас о победе в присутствии всех, чтобы показать патриотизм! Выйдут из мастерской на работу — у них услышишь: — «Германия капут! Не надо было фюреру нападать на Россию!» Правильно ли я говорю, Август?

Из всех финнов никто и никогда не верил в победу! Если кричали в «Великой Суоми» и показывали военнопленным ножом на горло из-за патриотических чувств публично, то, отойдя на два метра в сторону, спрашивали друг друга: — «Скоро ли будет мир?»

Леонид поднялся с места, обвел присутствующих пытливым взглядом и спросил:

— Я ожидаю возражений, господа!

Мастер пожалел, что перевел речь пленного финнам, но было уже поздно. Наступившее замешательство в беседе ясно говорило, что русский, на которого мало обращали внимания, за длительное время пребывания в плену все время был в курсе событий, внимательно следил и изучал отношение финнов к войне, их настроение, взаимоотношение с немцами, и выбрав время, сказал им в глаза то, что они думали, но боялись говорить публично.

Мастер вынул часы — время обеденного перерыва еще не истекло, но все зашевелились и стали собираться на работу.

Леонид направился к двери. Мастер и рабочий, говоривший по-немецки, не только с любопытством смотрели на него, но были удивлены его свободной речью. С тех пор мастер стал обращаться к нему по-немецки и через него давать указания русским. Немцы, кроме Августа, недовольны: русский длительное время работал с ними, слушал разговоры и не подавал вида, что знает их слабые стороны. Открыто выразить недовольство у них нет основания: право разговаривать с ними, или нет — дело русского. В дальнейшем они избегали говорить при Леониде.

Финны стали присматриваться к нему, замечая, что тихий и спокойный русский, пользуется большим авторитетом среди других русских. К нему изменилось отношение.

Капрал Кивимяки, всегда со взъерошенными черными волосами, по возвращении в барак, небрежно поставил винтовку в пирамиду и, сняв большие очки в роговой оправе, каким-то торжественным голосом заявил: - Сегодня русский матрос посадил в галошу финнов и немцев!

— Как это можно — в одну галошу посадить столько людей? — спросил Арва.

— Вот так и можно... — ответил капрал и стал подробно

объяснять разговор в мастерской.

Если бы барону Пуронену вздумалось поинтересоваться настроением охраны, он бы заметил, что ее подменили. Вместо обычной картежной игры и пьянки, солдаты все вечера спорили о войне, доме и русских. Отношение к пленным стало постоянной темой и не разрешенным пока еще вопросом. Многие солдаты, ранее жестоко относившиеся к пленным, изменили свое отношение. Некоторые даже вступали с ними в разговоры и спрашивали об окончании войны. — «Пленные лучше знают, когда и чем закончится война!» — говорили солдаты.

Приход капрала Кивимяки прервал их беседу. Когда он рассказал все, даже то, что не говорил Маевский, а о чем думал он, солдат по кличке «конская голова» (его и солдаты так звали), сказал: — Арва продолжай.

— Вы говорите, — начал Арва, обращаясь к рыжему солдату, — плохой тот солдат, кто вежливо обращается с русскими? Это неправда! Я постараюсь вам доказать.

— Среди нас имеются люди различных партий: социал-демократической, шведской, члены «спортивной организации — шюцкор» и ряд других. Мы не будем говорить как представители этих партий потому, что у нас сложилось различное мнение по отношению к русским. Два члена одной и той же партии имеют различные взгляды. Далеко ходить не будем: Мецала, член партии, которая наиболее враждебно относится к русским, но лично он противник грубого обращения с военнопленными. Обвинить его, что он плохой солдат, вы не имеете права: своей храбростью на фронте он доказал любовь к родине. Подымите старые газеты — вы увидите — все страницы говорят о нем. Вот вам доказательство вашей неправоты. Так в чем же дело? Давайте отбросим свои политические убеждения и поговорим по-солдатски: в чем повинны военнопленные, что мы жестоко обращаемся с ними?

— Они враги, — сказал рыжий солдат. — Русские жестоко обращаются с нашими военнопленными.

— Вы это видели? — спросил Арва.

— Газеты пишут, — ответил солдат.

— Газета — оружие пропаганды. Наша печать рекламирует наилучшее положение в лагерях военнопленных, и многие читатели верят, но я лично и многие присутствующие здесь не могут согласиться с этим положением.

— Обождите ...! — послышался глухой голос. С верхних нар спустился пожилой солдат с изрезанным морщинами лицом и всегда чем-то недовольным видом. — Я хочу рассказать о себе. Газет я не читаю. Употребляю их только для курения потому, что

неграмотен. Ни в какой партии не состою. Живу сам по себе, но приказы начальства выполняю. Начальство есть начальство, спорить с этим не приходится. Но кому угодно из них, даже тем, кто пишет газеты, когда угодно, где угодно, скажу: я больше не верю, чтобы русские издевались над пленными. Нас из роты лейтенанта Блинова здесь трое: я, Арва, да капрал Кавимьяки. Мы с Арвой попали сюда по ранению, Кавимьяки по старости.

После разгрома, в котором погиб сын Кавимьяки, я был ранен. Сколько лежал без сознания — не помню. И только когда луна вышла из-за облаков, и ее бледный свет проник на землю, а в наступление мы пошли утром, я пришел в сознание. В груди была сильная боль — в голове мысль мести, и попадись мне в то время русский, я не замедлил бы убить его.

Первое, что я заметил — рядом стоял человек и внимательно прислушивался. Он стоял так близко около меня, что я заметил черты лица. Обрадовавшись присутствию человека, который может оказать мне помощь и в то же время испугавшись, как бы он не ушел, не заметив меня, я застонал.

Человек склонился надо мной, и могли бы вы слышать, какой страшны крик вырвался из моей груди! Это был русский! Я понял, что мне пришел конец, поэтому, преодолев страх и забыв боль в груди, пнул русского. От неожиданного удара он упал на спину, в то же время и навалился на него и кольнул ножом. Перед этим я видно долго лежал и много потерял крови — удар мой был слишком слаб, чтобы убить человека. Русский схватил меня за руку, приподнялся, коленом уперся мне в грудь, левой рукой прижал мою голову к земле и замахнулся отобранным ножом. По моему телу пробежал мороз. Чтобы не видеть, я закрыл лицо руками.

Солдат замолк, достал из кармана кисет и начал закуривать. В бараке стояло гробовое молчание, никто не решался спросить, что последовало дальше, поэтому солдат знал, что его ожидают, продолжал:

— Почувствовав прикосновение лезвия ножа к моей груди, я потерял сознание. Хотите верьте, хотите нет, с тех пор я не верю, что русские издеваются над пленными. Когда меня нашли свои, грудь моя была забинтована, а в руке моей лежал осколок гранаты, и я понял, что этот взмах ножом, которого я испугался, был поднят не за тем, чтобы убить меня, а затем, чтобы разрезать мой френч и оказать помощь раненому. Почему я не в плену у русских? Для меня это тоже загадка. Оказав мне помощь, русский ушел, по-видимому, он следовал с каким-то поручением.

— Ловко придумано, — сказал рыжий солдат — Долго ты молчал, наконец, высказался. Не иначе, как обработка Арвы.

Но солдат уже лез на свое место, не имея намерения вступать в спор, так как считал, что он свое мнение высказал чистосердечно, а как думают другие — ему безразлично.

— Наш молчун, отрицающий и не признающий никаких партий, высказал свое мнение. Каково мнение социал-демократов, шведской народной партии?

— Интересно бы узнать, в какой партии состоит Арва? — спросил из угла белобрысый капрал.

— Ты, что полицейский? — сказал Кивимяки, чинивший носки.

— Нет, просто интересно! — ответил тот.

— А я думаю так, — продолжал Кивимяки, — Арва говорит дело...

— В одну дудку играете, — прервал его рыжий солдат.

— Как ты, на свистульке военнопленного, — бросил реплику седой капрал.

— Молокосос! Кому ты говоришь? — Кивимяки ударил себя в грудь и отбросил носки в сторону. Очки подпрыгнули на носу, прядь черных волос закрыла глаза. Кивимяки своей наружностью резко выделялся среди охраны. Маленького роста, но широкоплечий и костлявый, он отличался подвижностью, не смотря на свои пятьдесят четыре года. За откровенность и прямоту рассуждений его полюбили солдаты.

— Не обращай внимания, — попросил Арва, — мы говорили по-товарищески.

— Нет, обожди, дорогой товарищ! Он молод учить меня. Кивимяки двадцать лет состоите в социал-демократической партии!

— И не прочь отдать билет обратно, чтобы получить членские взносы за двадцать лет назад!

Даже спокойный Арва не удержался, весело рассмеялся от реплики седого капрала, собиравшего для Блинова деньги.

Кивимяки не на шутку рассердился на своего друга, но от ответа воздержался, и еще с большей злостью продолжал прерванную речь: — Я третий раз в жизни вижу, как умирают на фронте люди. Два раза после войны был нищим и в поте лица своего восстанавливал хозяйство, теперь мне не под силу, года взяли свое.

— Нашелся мне еще один политикан, — сказал белобрысый капрал, — мы говорили про отношения к военнопленным, он заговорил о политике.

Старый капрал хотел рассказать, каких трудов ему стоило восстановить разоренное хозяйство, но когда его перебили, он забыл о направлении главной мысли своей речи, но не мог

забыть, что дома семья, без присмотру хозяйство, а виновником всему этому война, он с новым жаром заговорил: — Не было бы войны, не было бы пленных. Стало быть не сидел бы я здесь, а находился с семьей. Одним словом, политикой пусть занимаются министры — я желаю мира, и как можно быстрее.

— Вот это дело! Много ты говорил, но сейчас сказал правду. Лично для меня безразлично, будет ли Суоми Великой: — я хочу домой.

«Дом, семья, хозяйство — мечта каждого солдата», — подумал Арва и решил, что именно на этой почве нужно строить беседу.

Воспоминания капрала о доме подлило масла в огонь и даже те солдаты, которые раньше сидели в стороне и занимались своим делом, придвинулись к Арве и не замедлили ввязаться в разговор. Беседа приняла общий характер. Солдаты говорили наперебой, перебивали друг друга, но настроение было общее — скорее домой. Арва выбрал минуту, когда шум немного стих, и спросил: — Вы все говорите о доме, как будто окончилась война и завтра будет демобилизация. Не забываете, мы должны победить Россию и образовать Великую Суоми, тогда только возможен конец войны. — Арва посмотрел на товарищей, лица которых приняли оскорбленный вид и подумал: — «Два, три месяца и они побросают оружие и разбегутся по домам». В начале войны они рассчитывали победить Россию с помощью немцев, но в настоящее время даже финские газеты не скрывали разгром и бегство немцев под напором русских.

Седой капрал, приятель Кивимяки, встал со своего места, прошелся по комнате, затем резким движением сорвал с головы пилотку и бросил ее на пол.

— Мир! — сказал он громко. Мир с Россией — вот наше спасение. Пока мы не оказались на положении вот их, — он подошел к окну и показал на колючую проволоку, — мы должны заключить мир. С обнаженной головой, на коленях, мы должны просить мира, ради того, чтобы повидаться с семьей...

— Быть в плену и испытать судьбу русских я не желаю, — перебил капрала рыжий солдат. — Легче пустить пулю в лоб, чем оказаться в таком положении. Если великая Германия не сумеет оправиться от удара — выход один: просить Америку, чтобы она заняла нашу страну. Дипломатические отношения у нас с нею не прерваны.

— Хватит с нас и немцев, что хозяйничали в нашей стране три года, — сказал Кивимяки, который так и смог успокоится, что хозяйство его окончательно пришло в упадок.

— Америка будет не лучше немцев. Надежда на великодушные

России, в этом есть смысл! — крикнул седой капрал.

— Россия нам не простит. Мы попадем под кабалу русских, — настаивал на своем рыжий. Арва равнодушно слушал спор, но когда солдат заговорил о русской кабале. Он не удержался и, повысив голо, заговорил: — «После гражданской войны Ленин и Сталин нам дали самостоятельность. Мы забыли об этом и отгородились от Советского Союза линией Кирка-Мннергейма. В 1939 году она развалилась, и русским не составляло труда оккупировать Суоми. Они не пошли дальше и оставили нас в покое. А мы, как бандиты, из-за угла вонзили нож в спину России. Тем не менее, выход из обанкротившейся политики есть только в налаживании взаимоотношений с нашим настоящим Великим соседом. Советский Союз на протяжении своего существования не посягал на чужую территорию, и даже в трудную минуту, когда наши союзники топтали землю России, оставался верен своей политике, уважения других народов. Поэтому я присоединяюсь к мнению капрала.

— Арва не только присоединяется, но и агитирует против родины, — заметил цинично солдат.

— Это заметно с первого дня пребывания его в охране. К тому же он читает книги Ленина и Сталина.

— Неправда! Для родины я не пожалею жизни!

— Выходит, по-твоему, я тоже против родины, — перебил Арву старый социал-демократ, — если Арва согласился с моим мнением! Смотри! — он снял рубашку и повернулся кругом, — Эти шрамы я получил на фронте, а не тогда, когда лез кому-нибудь в карман. Видел! Ты оскорбил меня. Я прощаю тебе. Но одно плохое упоминание о Ленине и Сталине — ты будешь бит.

Солдат не дослушал угроз капрала и вышел из барака. Он хотел доложить начальству и полиции на преступную агитацию Арвы, но побоялся мести, за то счел своим долгом, как социал-демократ, поставить в известность руководство партии о недостойном поведении капрала Кивимяки.

И старый социал-демократ без жалости расстался со своим билетом.

31. Мастер смены

Швед-мастер раньше был работником оперативного отдела шведской армии, но политические разногласия во взглядах со своими коллегами заставили покинуть ее, несмотря на то, что в будущем для него карьера рисовалась блестящей. Затем он служил в финской армии в качестве консультанта, не сработался с финской военщиной по тем же причинам и навсегда покинул военную службу. Сняв майорские погоны, поступил в рудник на должность мастера. Он, как шарик, носился по шахте с веселой и добродушной улыбкой. Круглое лицо, маленький носик, белоснежные зубы — придавали его лицу женственное выражение, но за этим скрывался твердый и упрямый характер. Он был умен и злопамятен, не любил возражений и терпеть не мог подхалимства. Не разделяя мнений коммунистов, он был ярым противником войны против Советского Союза, презирал и ненавидел немцев, но в разговорах был осторожен и сдержан. Шахтерскую работу знал хорошо, относился к ней добросовестно и прекрасно разбирался в людях. Швед первый обратил внимание на Леонида. Финны называли его «плохим мужиком», но товарищи по работе относились к нему с большим уважением. Он оценил его и понял — Леонид является не только человеком, в котором не сломлены убеждения в победе своего народа над врагом, но и человеком умным, руководящим другими военнопленными.

После спора в обеденный перерыв мастер хотел поговорить с русским наедине, но Леонид с ожесточением принялся бить камень на решетке, который от частых ударов принял яйцевидную форму. Машинист Якобсон проезжал несколько раз мимо и видел, что русский никак не может избавиться от упорного камня. Якобсон-швед по национальности — громадного роста и большой физической силы, бывший боксер, испытывал свое счастье на рингах Америки, пользовался незаурядной репутацией первоклассного боксера, оставил большой палец правой руки в конвейере Форда и перед войной вернулся на родину. Он один, без посторонней помощи, поднимает сошедшую с рельс груженую вагонетку весом полторы тонны. Якобсон остановил мотовоз около решетки и взялся за молот, но быстро убедился — камень разбить нельзя.

— Алексей, — он всегда звал Леонида Алексеем, — возьми бурильный молоток и пробури, камень необходимо подорвать.

— Будет исполнено, — ответил Леонид и направился в

мастерскую за молотком.

Решетка находилась на уровне рельс под люком прямого сообщения с верхом и третьего этажа с шестым, поэтому на ней взрывали редко: боялись испортить автоматический механизм люка, на других это практиковалось часто. Леонид заранее прикинул в уме: если положить динамита больше, чем нужно, то взрывом разобьет люк и переломит рельсы на решетке, и никель, находящийся в пространстве от верха до третьего этажа, смешается с камнем, который сваливали в яму. Это остановит работу. Завод требовал руду. Спешно очищалось прямое сообщение от камня, чтобы увеличить пропуск руды с поверхностных разработок. На пути Леонид встретил рабочего Макконена и пригласил его принять участие в подготовке к взрыву, зная, что ему подобные работы не доверяются, но надо было на всякий случай застраховать себя. Грязный и оборванный, скупой до невозможности, Макконен выполнял только черновые работы и служил предметом насмешек финнов. До бурения и машин его также не допускали. Финны говорили, что он слаб на голову, а русские просто — дурак.

Принесли динамит и аммонит. Зарядили и начали совещаться.

— Как думаешь, Макконен, достаточно, или еще одну положить? — спросил Леонид. Тот с видом знатока посмотрел, хотя ничего не понимал, и, не задумываясь о последствиях, ожидая только эффекта от предстоящего взрыва, тоном, не терпящим никаких возражений, сказал: — Клади еще две палочки. Крепче ударит. В складе динамита много.

Леонид выполнил распоряжение рабочего и ушел, доверив сделать взрыв Макконену, но концы запальных шнуров укоротил. На крик Макконена: «Берегись! Взрывают!» — подошел мастер, хотел воспрепятствовать, но шнуры были подожжены. Не желая рисковать жизнью, мастер отошел в укрытие, заранее зная о последствиях. Раздался взрыв. Решетка рухнула. Внимательно наблюдая за русским, мастер убедился в правильности своих предположений. Взрыв предохранительного щита люка рассеял последние сомнения мастера о Леониде. Прежние страсти оперативной работы разгорелись в нем с новой силой, и он незаметно для себя втянулся в оперативную работу, желая разоблачить матроса в его деятельности.

«Я хотел только убедиться в правильности своих предположений: выдать пленного в мои планы не входило — для этой цели была полиция и многочисленная агентура, и роль добровольного шпиона я считал унижительной для себя», — заявил на допросе мастер, после бегства большой группы пленных

из его смены.

Когда руда потоком хлынула из люка, смешалась с камнем и завалила вход, отрезав мотовоз от забоя, откуда выводился камень, он стоял и думал не о том, как быстрее очистить решетку и дать путь мотовозу, а как поймать русского с поличным. В умышленном взрыве Леонидом решетки он не сомневался, так как тот неоднократно производил подобные взрывы и ошибиться не мог, заложив лишнюю дозу динамита, но это еще не доказательство.

«— С одной стороны, — думал он, — если матрос занимается вредительством в шахте, его удар рассчитан верно: авария сильно отразится на доставке руды на завод, а главное, сорвет плановость в работе по крайней мере на пять — шесть дней. Взрыв русский сделал не сам, а с помощью рук глупого человека, чтобы замести следы и свалить вину с больной головы на здоровую, и это подтверждает правильность моих взглядов. С другой стороны, если он действовал по ранее задуманному плану, взрыв сделан слишком рискованно. Взрыв в присутствии всех противоречит моим убеждениям: русский несомненно умен и знает о наблюдении за ним».

Дым рассеялся. Не стало чувствоваться запаха газа от взрыва. Леонид подошел полюбоваться на свою работу. Мастер присматривался к нему и думал: «- Если он сделал умышленно, то в нем должно быть что-то тревожное, а неумышленно — удивление, как могло это получиться».

Леонид был по-прежнему спокоен, в выражении не было ни тревоги, ни удивления. Мастер подошел к нему, осветил лицо лампой и в упор спросил: — Что последует дальше, молодой человек? Каковы ваши намерения и планы на будущее?

— Леонид смутился от неожиданного вопроса, но вида не подал и спокойно ответил: — Планы на будущее у меня одни: жить и работать на благо своей родины...

— А это во имя чего? — перебил мастер, освещая груды никеля и не дожидаясь ответа, пошел по линии, размахивая лампой. Леонид не оглянулся в его сторону, чтобы не выдать своего волнения, а в душе ругал себя за необдуманный шаг, так как понял, что мастер давно следил за ним.

«Обвинить человека в преступлении, не проверив фактов, не позволяет совесть. Чувства подсказывают — он виновен в аварии, а доказательств нет: одних убеждений еще мало» — рассуждал швед.

Из-за поворота выскочил мотовоз Якобсона. Мастер вспомнил, что Якобсон давно просился в отпуск. От внезапной мысли швед ударил себя по голове рукой и замахал лампой.

Мотовоз остановился.

— Завтра вы идете в отпуск! — крикнул мастер и пошел своим путем. Машинисту больше нечего не надо. Если бы ему сказали: «- Вы уволены, Якобсон!» — он не стал бы спрашивать почему и за что (так ведется в Финляндии), забрал бы свои немногочисленные пожитки и пошел по Суоми искать работу: жаловаться некому и бесполезно.

В следующую смену Леонид заводил мотовоз. Мастер писал в дневнике: «Если русский будет вывозить меньше руды, чем Якобсон, то один факт есть. Главное, русский будет лишен возможности свободного передвижения по шахте, и частые неполадки должны уменьшиться, а если они не сократятся — значит, существует организация».

Как обстоит дело в других сменах, мастер не знал. Спросить стеснялся. «Если русский действительно занимается вредительством, то должен непременно обрушиться на паровозное хозяйство шахты. Оно составляет жизненную силу шахты. Пока он на нем работает, уничтожить не решится». Предположения мастера были правильные. Леонид давно мечтал вывести из строя мотовозы, но не мог выбрать удобного случая. В настоящий момент уничтожить мотовоз нельзя, даже неумышленный вывод из строя вызовет подозрение, и вина будет доказана, так считал Леонид, в чем была его ошибка.

Маленький мотовоз работал безотказно и проносился, как метеор, из одного конца шахты в другой. Леонид внимательно следил за ним и принял все меры предосторожности. Мастер остался доволен. Неполадки в шахте не уменьшились; швед сделал заключение — русский не одинок.

«Мне осталось только одно — поймать русского на месте преступления и в моих мемуарах появиться новая глава».

Через две недели на работу вышел Якобсон. В первый день, когда он начал загружать вагонетки рудой, зашиб ногу. На место его стал другой. Когда Громов, Быков и Солдатов встретились в кузнице, Леонид сказал:

— Пора взяться за мотовозы: подземный транспорт является одним из узких звеньев в шахте и наиболее уязвимым. Вывод из строя их будет иметь решающее значение в нашей работе и наиболее ощутимо даст знать нашим врагам. В первую очередь подлежит уничтожению мотовоз третьего этажа, на котором, не считая поверхностных работ, дается 99 процентов всей добычи. Но главное заключается не в том, чтобы уничтожить мотовоз: другой могут доставить быстро, а в том, что вместе с выводом из строя мотовоза лишить финнов возможности скорой доставки другого.

Обстоятельства сложились как нельзя лучше. Задремавший финн затянул люльку горизонтального подъемника на крышу, к самому блоку и оборвал канат. Остался вертикальный. Значит необходимо уничтожить клеть вертикального подъемника. Но как? Мы с Шаровым пришли к такому убеждению. Гаврила подаст сигнал подъема вверх, делая вид, что кто-то сел в клеть и поднимается. Громов тем временем спустится по восемнадцатому забою на третий этаж и включит мотовоз на полный ход. Товарищи, возвращаясь с обеда, переведут все стрелки так, чтобы он не пошел в тупик, а двигался к вертикальному стволу. При своем падении он разрушит направляющие рельсы, между которыми скользит клеть. Восстановить их быстро не удастся. Мы тем временем зайдем финнов в мастерской и вызовем на спор.

— Неплохо придумано! — Воскликнул Громов. — Но мне кажется, что подозрение падет именно на нас — пленных второго этажа. Финны знают, что мы иногда спускаемся со второго этажа на третий не по лестнице наклонного ствола, а прямо по забою.

— Это не секрет! — перебил Громова Быков. — Мастер предупреждал, что собственноручно высечет пленного, если узнает о нарушении им правил безопасности.

— Пусть не сложится у вас мнение, что Громов струсил, я только хотел предложить, чтобы остальные товарищи ушли на обеденный перерыв в мастерскую третьего этажа.

— Согласиться с мнением Громова — равносильно подставить умышленно под удар, поэтому я беру свои слова обратно. Наша недоделка с Шаровым, что мы не побеспокоились о судьбе товарищей. Время у нас достаточно — необходимо продумать лучше — сказал Маевский.

На этом их разговор закончился. Солдатов принялся упорно стучать по наковальне. Маевский взял необходимое количество металлических клиньев и вышел из кузницы. Громов и Гаврила немного постояли, подышали свежим воздухом и спустились в шахту. Во время работы Громов все время ругал себя, считая, что он был виновником срыва плана, так как первый намекнул на возможную опасность. Он до сих пор не мог забыть и простить себе случая, когда его выгнали с подносчиков буров и сейчас представлялся случай исправить ее, но он не сумел воспользоваться.

Когда финны все чаще и чаще стали поглядывать на часы, ожидая обеденного перерыва, Громов вспомнил случай с Андреем Роговым. Это было впервые дни работы пленных в шахте, когда два шахтера катили вагонетку с отработанными бурами к вертикальному стволу, чтобы направить ее вниз для отправки в мастерскую и опрокинули в пространство, где двигалась клеть.

Боясь увольнения, уговорили Рогова принять вину на себя, заплатив ему пятьсот марок и сорок буханок хлеба. Рогов отделился от мастера тумачами, а в лагере плетью.

Громов поморщился от воспоминания, как будто березовые розги врезались в его тело, а не Рогова, но все же ухватился за эту мысль и спросил Гаврилу: — Как думаешь, Гаврила, если нам повторить случай Рогова? Правда, нанимать за себя, получать плети некого, да и не за что, отвечать придется своей шкурой, а подозрения на нас, по-моему, не будет: в одно и то же время совершить два преступления нельзя! Пока ты будешь катить вагонетку к вертикальному стволу, я успею спуститься на третий этаж и вернуться обратно.

Возражение со стороны Гаврилы не последовало, он только сказал: — Ты же знаешь, что Гаврила Быков согласен на все, что правильно.

Незадолго до перерыва мастер позвал Леонида, и они направились произвести взрыв руды, застрявшей в люке между первым и вторым этажом. Громов с товарищами отдыхал, когда проходили Маевский с мастером мимо них. Рядом стояла вагонетка, которую они катали до обеда.

Леонид привязал динамит к рейке, постепенно наставляя ее в длину и проталкивая вверх на расстоянии двадцати метров. Взрыв был удачен. Мастер в хорошем настроении пошел к месту остановки клетки. Когда подходили к вертикальному стволу, в темноте мелькнуло шесть сигналов. Клеть вызывали на шестой этаж. Ожидать придется не менее пяти минут, пока она вернется обратно. Мастер присел на рельс и принялся насвистывать, признак хорошего настроения у него. С другого конца штольни Громов толкнул вагонетку под уклон. Что случилось, мастер не понял, когда Леонид отбросил его в сторону. Он ударился головой о выступ стены. Не сделай этого — смерть была бы неизбежной. Ощупывая рукою голову, мастер успел заметить, как вагонетка оказалась передними колесами в пространстве, где двигалась клеть. Она постояла немного в таком положении, по инерции перевернулась, и, ударяясь о выступы, упала вниз. Канат подъемника заколебался, и снова заскользил вверх. «Выдержал», — с досадой подумал Леонид.

Не прошло и минуты, как он снова задрожал, напряжился и с визгом взлетел вверх без клетки, которая оторвалась. Внизу загрохотало, как будто произошел обвал шахты. Мастер бегом побежал к наклонному стволу, где по ступенькам трапа можно спуститься на третий этаж. Леонид едва поспевал за ним. Мастер негодовал. Авария вызвала тяжелые последствия, а ему не удалось поймать русского с поличным, даже заподозрить. Он

окончательно убедился, что это работа рук Леонида, но открыто сказать не хотел. «Что заставило спасти мне жизнь?» — не раз задавал себе вопрос мастер и сам отвечал: — Русский смеется надо мной, а в следующий раз убьет меня».

На шестом этаже валялась куча железа; это все, что осталось от мотовоза и вагонеток. Из-под обломков вытащили труп раздавленного шахтера. Машинист не мог толком рассказать и объяснить причины, почему мотовоз сошел с места, но заверил, когда шло следствие, что по прибытию его в мастерскую русские были все в сборе, и никто не выходил из мастерской. Единственный из русских, который работал на третьем этаже, Леонид, не был в мастерской, но он вне всяких подозрений. Громов с товарищами комиссией признан невиновным в умышленном спуске вагонетки на клеть подъемника, так как она следовала по назначению: в ней был финн.

Мастер смены остался при своем мнении.

32. Забастовка

Старый капрал метался из угла в угол. Он несколько раз заглянул под койку, где стояли его сапоги. Их не было. Кто-то второпях из солдат надел капраловы сапоги, а другие из-за большой его ноги не лезли.

Никогда охрана не собиралась с такой поспешностью, как сегодня. Но быстрее всех из барака выходили те, кто не брал из пирамиды винтовок, и скрывался в лесу. Когда послышался голос сержанта Эндриксона: — Но, ты, старая кляча, быстрее в строй! — капрал схватил полотенце, намочил его водой и на ходу завязывая его узлом на голове, застонал: — Проклятые зубы! Не дают покою!

— От больных зубов холодный компресс не делают.

Кaprал повернулся в сторону, откуда бросили реплику и, заметив рыжего солдата, догадался, что реплика исходит из его уст.

— Не твое дело, молокосос! Умей держать язык за зубами, иначе потеряешь их второй раз, — огрызнулся капрал.

Еще вчера, когда военнопленные подходили к месту посадки, Леонид, заложив руки за спину, уверенно шел впереди строя. Не успел мотовоз замедлить ход и остановиться, как из вагонов начали выпрыгивать финны. Они, как обычно, не побежали в раздевалку занимать место в умывальнике, а остановились и начали беседовать с шахтерами другой смены. Русские построились и направились к выходу. Финны обеих смен возбужденно говорили между собой, кому-то угрожали, кого-то ругали и загородили дорогу русским, направляющимся к вагонеткам.

— Финские шахтеры на работу не идут! Возвращайтесь в барак! — кричали они.

Леониду объяснили товарищи из другой смены, что началась забастовка шахтеров, вызванная снижением заработной платы.

Финны отдали русским хлеб и кофе, принесенное на обед, и отошли в сторону для составления коллективного требования.

Первая смена ушла в лагерь. Мастер внимательно следит за поведением второй, и о чем-то говорит с охраной. Пленные понимают, что он хочет заставить русских работать совместно с немцами и этим заполнить пробел, вызванный забастовкой. Охрана, угрожая винтовками, пыталась посадить русских в вагоны. Шахтеры смотрели и думали, что решат военнопленные. От поведения русских зависит успех финских рабочих. Многие из

тех, кто недружелюбно относился к военнопленным, с немой мольбой взирали на них. Сомнения их рассеял Маевский. Он вышел вперед. Мастер улыбнулся и сказал: — Наконец-то, матрос показывает свое истинное лицо.

— Военнопленные не забыли личных обид, унижений и оскорблений, испытанных ими в Никелевых рудниках, но общие интересы рабочего класса ставят выше своих и в знак солидарности с вами тоже объявляют забастовку. Мы не были предателями рабочих и не будем, запомните это господ! Ведите нас в барак!

Солдат замахнулся, но ударить не решился: со всех сторон слышались угрожающие возгласы шахтеров.

Русских увели в барак. Шахта остановилась. Все три смены военнопленных не вышли на работу. Директор завода приказал барону во что бы то ни стало вывести русских на работу, усилив шахтерские бригады за счет подсобных предприятий.

Начальник лагеря то уговаривал, то угрожал всевозможными карами, но военнопленные оставались неумолимы. Когда он предложил в последний раз, русские разделись и остались в одном нательном белье и не слазили с нар. Пленных, шахтеров поддерживали одиночки из других бригад и полностью отказалась выполнить распоряжение начальника бригада каменщиков. Всех, кто участвовал в забастовке и не вышел на работу, подвергли наказанию. В шесть часов вечера, когда бригады возвращались с работы и в семь утра, когда выходили на работу не принимавшие участия в забастовке, для устрашения их, бастующих выстраивали перед воротами в одном нательном белье. Они стояли с вытянутыми руками на уровне плеч и держали в них по кирпичу; перед строем с автоматами наготове прохаживались солдаты.

После объявления тревоги барон остался недоволен: больше половины солдат разбежались в лесу. Он видел своими глазами, как многие бежали босиком, неся сапоги в руках. Не трусость, а не желание стрелять в забастовавших шахтеров заставила их скрыться в лесу. При виде взъерошенного капрала, сдерживая зло, барон рассмеялся: — Вояка! На чучело похож! Ворон пугать, а не забастовщиков. — Затем строго добавил: — Пошел в барак! Остальные на машину!

Отказ солдат участвовать в подавлении забастовки, заставил барона крепко призадуматься. Пока ехали до завода, он старался припомнить поведение солдат за последние дни. На то, что за последнее время совершенно исчезла картежная игра, реже стали пьянки, он раньше не обратил внимания. Сейчас понял, за этом таилось другое, и пожалел, что мало уделял внимания политическому воспитанию солдат. Не знал он и того, что

начальник полиции послал донесение: «Под воздействием невидимой, но мощной силы, изменилось отношение к русским со стороны рабочих, а особенно солдат. Солдаты все больше стали вникать в политическую жизнь страны, и у многих появилось тенденция окончания войны. Из этого можно сделать вывод, что русские установили тесную связь с охраной и взяли под свое влияние профсоюз горняков...»

Арва вернулся из города и был удивлен отсутствием солдат в бараке. Только часовые были на месте, да около ворот по-прежнему стояли русские с вытянутыми руками. Когда капрал рассказал о случившемся, Арва переменился в лице и быстро покинул барак.

От лагеря военнопленных до завода двадцать минут езды. Когда машина с солдатами прибыла, шахтеры, собранные полицией, молча стояли около входа в тоннель. Впереди, на некотором расстоянии от толпы, стояли два двухметровых детины: машинист Якобсон и машинист подъемника. Оба угрюмые и неразговорчивые, результат тридцатилетней работы в рудниках. Неразлучные друзья, бывало, целыми часами просиживали рядом, не проронив ни одного слова. В вагоны перед отправкой они садились после всех. Все шахтеры были уже на месте, а они, не спеша, еще одевались в раздевалке. И когда шли вдоль состава, размахивая карбидными лампами, стройный и немного тучный Якобсон, сутулый и коренастый машинист подъемника, шахтеры выглядывали из вагонов и говорили: Ветераны прошли, значит, поехали.

И сейчас, во время развернувшихся событий, они вместе. Мастер смены — швед по поручению директора, вел переговоры с профсоюзом горняков. Седой шахтер, тот самый, который заступился за Маевского на пятом этаже, говорил громко, чтобы слышали все: — Уберите полицию! Уберите солдат! Потом будем говорить об условиях! Пока перед нами стоят вооруженные солдаты, никаких переговоров быть не может.

Толпа одобрительно шумела. Слышались возгласы: — Какие условия? Мы раньше выставили их. Никаких отступлений!

На пригорке, возле склада, который хотел поджечь Тульский, стоял начальник северных лагерей лейтенант Холм, директор завода и несколько немецких офицеров. Холм был в плохом настроении. Час назад на требование директора вооруженной силой заставить работать русских, он ответил резко: — Сначала заставьте работать финнов, потом разговор будет о русских.

Умный и грамотный офицер, обойденный в чинах за свой прямой и резкий характер, Холм понимал, что без кровопролития русские не пойдут на работу, пока к ней не приступят финны, и

он не хотел марать своих рук в убийстве.

Директор говорил без умолку. Но лейтенант по-прежнему хранил молчание. Его каменное лицо было спокойно; только чуть подрагивало веко, поврежденного глаза.

— К бою готовсь! — заглушая ропот шахтеров, подал команду барон. Щелкнули затворы. Солдаты сомкнули строй и, оцетинившись штыками, чеканя шаг, приблизились к толпе шахтеров, маленькая рука барона взлетела вверх.

— Именем закона приказываю приступить к работе!

— Кто дал тебе такие законы? — крикнул председатель союза горняков, выходя из строя. — Кто дал?

— Желающих нет! Солдаты! Огонь!

Недружный залп нарушил тишину и эхом откликнулся в горах. От неожиданности машинист подъемника выронил лампу. Якобсон достал кисет и начал закуривать. Толпа не трогалась с места. Снова щелкнули затворы. Полицейские обнажили пистолеты. А на верху стоял с каменным лицом сын шахтера — лейтенант Холм, рядом директор с разинутым ртом, с нетерпением ожидая нового залпа, но уже не над головами шахтеров, а прямо в цель. Барон медлил с подачей команды. При виде упорного сопротивления шахтеров, у него прошла прежняя воинственность.

— Остановитесь, убийцы!

Барон оглянулся и узнал Арву. Не успел он окликнуть, как Арва оказался перед строем. Солдаты дрогнули. Некоторые опустили штыки.

— Убийцы! — крикнул Арва. — На кого вы подняли руку! На Якобсона, — Арва показал пальцем на машиниста, — у которого на фронте погибло два сына, последняя надежда его в жизни, и вы хотите убить отца. Вас будут проклинать все честные люди! На вашей совести останутся сотни сирот, и никогда не высохнут слезы вдов!

Барон, не снимая перчатки, достал пистолет.

— Вон кто хочет шахтерской крови... — Арва показал на директора и немцев.

— Господа бароны И они!

Барон хотел выстрелить, но не успел, его остановил резкий голос Холма. Барон не расслышал, что кричал начальник, но понял — Холм против убийства солдата. Двое полицейских подбежали к солдату и заломили руки назад, крепко скрутив их ремнем. Шахтеры незаметно стали подбирать куски никелевой руды и камни. В это время из-за угла завода раздалась автоматная очередь. В толпе шахтеров кто-то крикнул и упал. Стрелял старик капрал. Увидев, как связывают Арву, он открыл

огонь по полицейским. Пуля ударилась в гранит тоннеля и рикошетом ранила шахтера.

Никто из полицейских, тем паче директор завода, не понял цели капрала. Барон недовольно посмотрел на солдат, которые больше чем положено пошли сопровождать связанного Арву, а директор закричал: — Кто стрелял?

— Капрал Кивимяки, господин директор! — ответил начальник лагеря, но капрал уже скрылся из вида.

— Учитесь, господин барон, как надо действовать! — крикнул директор, заметив, что от толпы отделился машинист Якобсон. — Храброго капрала представить к награде.

Один из немецких офицеров снял со своей груди железный крест и подал Холму со словами: — Вручите храброму солдату союзной армии.

Холм взял и небрежно сунул железный крест в карман. От злости барона бросило в краску. Он готов был не только стрелять, но своими руками душить шахтеров.

— В мастерскую за мотовозом, — небрежно произнес Якобсон.

Через пять минут шахтерские вагоны были поданы. Шахтеры недоумевали: они знали хорошо Якобсона. Хотя он во время совещания об объявлении забастовки не сказал ни одного слова, тем не менее, штрейкбрехера никто в нем не ожидал. Видя недовольные взгляды шахтеров, машинист подъемника, еще больше сутулясь, пошел вдоль состава. Впервые видели шахтеры как он сел первым в вагон. Кому, как не ему, лучше знать Якобсона? Хотя тот не сказал ему ничего, он не поверил в предательство друга. Председатель профсоюза горняков тоже разгадал маневр Якобсона, зажег карбидную лампу, затем обвел взглядом толпу и махнул рукой. По привычке, зажигая на ходу лампы, хотя мотовоз стоял не в тоннеле, шахтеры усаживались в вагоны.

Когда последний вагон скрылся в тоннеле, директор облегченно вздохнул. Лицо Холма по-прежнему было суровое, он не верил, что шахтеры так легко пошли на уступки. Не успели солдаты опустить винтовки, а барон снять перчатки, как набравший скорость в тоннеле мотовоз пробежал мимо них. Солдаты поняли — старик Якобсон обманул их. Он проехал метров двести по туннелю, остановился, а затем дал полный вперед.

Быстрее всех создавшуюся обстановку оценил директор завода.

— Надо предупредить на проходной, чтобы задержали, пока подспеют полицейские, — крикнул он и побежал наперерез

мотовозу. Он подбежал к последнему вагону и, выбрав удобный момент, прыгнул в узкую дверь. Одной ногой был в вагоне, другая на весу, и только он хотел ухватиться за поручни, как кто-то из шахтеров пнул ему в грудь. Потеряв равновесие, директор упал.

Мотовоз остановился около ремонтной мастерской в десяти метрах от ворот. Отстранив немецкого часового, а вахтер не препятствовал, шахтеры вышли с территории завода.

Боясь, чтобы забастовка не перекинулась на завод, директор не решился больше применять вооруженную силу.

Финны бастовали неделю, русские — две. Вышли на работу, когда убедились, что забастовка окончилась полной победой шахтеров.

Шахтеры сердечно благодарили военнопленных за поддержку, без которой не было бы полной победы, и никто больше не относился к ним с пренебрежением и ненавистью. Если находились такие, то их ругали шахтеры, напоминая им о борьбе русских за их интересы.

Самый старый шахтер, — машинист подъемника, — подарил Леониду на память кепку, как руководителю забастовки русских. Рабочие-финны преподнесли Громову никелированный портсигар, вместо старого грязного.

Если изменилось отношение шахтеров к Леониду в лучшую сторону, то со стороны отдельных солдат охраны над ним нависла угроза: никто уже не сомневался в том, что он руководитель.

33. Последний день в шахте

В шахте, после забастовки, прекратились неполадки — все шло гладко. Леонид сделался молчаливым и осторожным. Швед-мастер не упускал случая спросить Леонида: «Что последует дальше?»

Леонид пропускал мимо ушей, в разговоры не вступал и отвечал на вопросы неохотно, что сильно раздражало мастера. Временное затишье объяснялось подготовкой к большим событиям. Солдатов усиленно изготовлял финки — первое оружие при побеге. В свободное время изучал подробности и обстановку, в какой должно произойти бегство. Он был вне всяких подозрений: авторитет его среди мастеров и шахтеров был велик, расположенные поблизости немцы знали его как мастера финских ножей и веселого русского. От финнов и немцев он узнал о расположении немецких частей вблизи шахты и более вероятный путь побега.

Первоначально намечалось, что поодиночке и мелкими группами все соучастники оставят лагерь, но побег Кузнецова напомнил охране, что наступила пора возможных побегов, и это удвоило бдительность охраны; ожидать больше было нельзя — решили бежать все. Немецкие сторожевые охранения были предупреждены финнами, но, тем не менее, Кузнецов миновал их благополучно, поэтому охрана больше не надеялась на немцев. Солдатов уточнил, что около караульного помещения немцев нет часового. Один немец стоит на горе около горизонтального подъемника и охраняет спуск в шахту. Другой под горой, на дороге, при проходе в проволочное ограждение, по которому можно пройти от одного спуска в шахту до другого, одновременно он следит за вертикальным подъемником, который не попадает в зону проволочного ограждения, и караульным помещением. За подъемником начинается тропа в тундру через болото. Днем проход свободен: часовой пропускает русских беспрепятственно — ночью только с вертикального подъемника в зону проволочного ограждения. Обратно — только с охраной или в сопровождении рабочих.

Решено было разбиться на две группы. После смены часовых одна группа под руководством Шарова и Громова уничтожит часового около подъемника и через болото будет двигаться с левой стороны к видневшейся горе. Вторая группа, под руководством Леонида, займется часовым в проходе проволочного ограждения и только в крайнем случае, если к

этому вынудит обстановка, вступит в бой с караулом.

Два немецких карабина и два пистолета, переданных старым социал-демократом капралом Кивимяки, на первое время будет достаточно. Громов с Шаровым должны занять удобное положение около сторожевого охранения на горе: он прибудет туда раньше и, если обнаружит Леонида, т. к. подход его е труднее, чем у Маевского, поможет пробиться ему.

Если к восходу солнца группа Леонида не подойдет, двигаться самостоятельно. План уничтожения обоих часовых был единственно правильным, т. к. часовой на дороге прекрасно мог видеть передвижения Шарова.

В точно установленное время обе группы поднимаются на поверхность. Леонид следит, как Громов со своей группой уничтожает часового, а затем движется сам к другому солдату. Шаров первый должен уничтожить часового и дать сигнал потому, что ему с горы виден стоящий на дороге солдат, которому не видно, что делается на горе.

Последние приготовления к побегу закончились. Леонид с помощью Шарова заменил всем обувь с деревянными подошвами. Солдатов приготовил финки. Совместными усилиями сделали несколько примитивных гранат. В запаянные трубки набили динамита, выкраденного из склада, и вставили короткие шнуры с капсулями. Заготовили продукты и табак.

Шаров оставил за себя Васю Телкова на кухне, сделав ему указание: — Если спросят про меня, скажи, что пошел играть в карты. Приду закладывать продукты перед утром.

Чтобы не вызывать подозрения у охраны, он переоделся в грязную шахтерскую форму и стал в строй в первый ряд. В темноте не обратили внимания ни на него, ни на Николая.

В шахту прибыли благополучно. Перед обеденным перерывом сгруппировались. С хлебом за пазухой неудобно работать, но до обеда никто не выпускал из рук кирок, стараясь не думать о приближающихся минутах.

— Удивительно долго тянется время, — говорит Солдатов. Леонид молчит и думает о другом.

В другом конце шахты Громов говорит Шарову: — Мы поступили нечестно, забрав с кухни сахар и часть хлеба у товарищей.

— Нам это не поставят в укор: это не воровство! Каждый знает, что мы не могли их спрашивать, а спросили бы — они дали больше, — отвечает Шаров.

Финны идут в мастерскую на перерыве. Одновременно заскользили два подъемника вверх. Часовой, перегнувшись через перила, с интересом наблюдал, как подъемник, скользя по

рельсам, поднимался из глубины шахты. Из него вышли русские и подошли к нему. Громов ударил его карбидной лампой. Не успел он крикнуть и схватиться за винтовку, получил второй удар буром по голове. Шаров столкнул его, и он упал на глубину пятьсот метров.

Леонид заметил мелькнувший в темноте огонек лампы, сжал крепче рукоять ножа, и пошел вперед.

Часовой, прижав винтовку к себе, навалился на проволоку и смотрел в сторону караульного помещения. Заметив русских за зоной проволочного ограждения, он поднял винтовку, но убедившись, что они идут к нему, перестал волноваться.

— Холодно? — спросил немца Леонид.

Часовой отрицательно мотнул головой и подошел вплотную к русским. Он не боялся их: видел военнопленных ежедневно, многих знал в лицо, многих угощал сигаретами и покупал у них за бесценок разные безделушки.

— Какой пароль сегодня?

Вопрос солдату был неожиданным, он растерялся и испуганно глядел на пленных. Леонид взялся за винтовку и потянул ее к себе.

— Какой пароль! — переспросил Леонид.

Немец понял, что русские спрашивают не в шутку и попытался вырвать винтовку.

Солдатов по самую рукоятку вонзил в грудь ему нож. Он без крика повалился на землю.

Предположение, что часовой на дороге должен смениться первым, оказалось ошибочным, и в том момент, когда Солдатов забрал у убитого патроны и гранаты, перед ним выросла фигура нового часового.

Леонид вскинул винтовку и крикнул: — Брось винтовку! Ложись! Немец выстрелил. Падая, Леонид нажал на курок, и пуля угодила фрицу в живот. Дико крича, он катался по земле. Из караульного помещения бежали немцы. В воздухе вспыхнули ракеты.

— Быстро в шахту! Спасайтесь! Я погиб — вы должны жить и отомстить за меня! — говорил Леонид, делая усилия приподнять винтовку.

— Несите его в шахту, — распорядился Солдатов и бросил подожженную гранату. Она с шипеньем полетела к приближающимся немцам. — Я задержу их!

Немцы залегли. Началась стрельба. Солдатов пристрелил раненого немца, побежал к кузнице и засел в ней. Остальные спустились по ступенькам на второй этаж, прошли до вертикального подъемника, вызвали клеть и спустились на

третий этаж. Леонида положили в динамитный склад.

— Идите на работу. Моя песня спета. Подумайте о будущем!

Товарищи услышали не просьбу, а приказание.

Немцы не решились вступить в ограждение, думали, что совершенно нападение партизан, ожидали утра. Финская охрана не вышла из машинного отделения вертикального подъемника по тем же причинам.

Солдатов мог бы тоже уйти в шахту и скрыться, но в нем кипела жажда мести за друга. Он решил продать себя дорого, зная, что его обнаружат, так как он пришел на работу в ночную смену. Шаров благополучно прошел болото, услышал выстрелы, не задерживаясь, посмотрел последний раз туда, где остался его друг, и приказал следовать дальше.

Солнце выглянуло из-за гор. Немцы убедились, что никаких партизан не было, и направились к горизонтальному подъемнику. Ночная смена русских и финнов вышла из шахты. Как только немцы показались из-за горы, Солдатов начал стрелять из кузницы. Они отпрянули назад; Николай прекратил стрельбу. Стоило кому-либо высунуть голову, как он снова стрелял. По нему открыли пулеметный огонь. Солдатов поджег кузницу, перебежал к яме, в которую ссыпали никель, и начал отстреливаться. Патроны кончились. Чувствуя конец, Солдатов поднялся на ноги и стал лицом к немцам. Раздался залп, но он продолжал стоять. Немцы убедились, что опасность миновала, подошли к нему. Из машинного отделения вышли финны-охранники; во время перестрелки они отсиживались в безопасном месте.

Шахтеры и военнопленные наблюдали издалека. Сотни глаз были обращены на него, веселого кузнеца Николая. У многих к ремню пристегнуты финки его работы с подписью «Память Петсамо».

Офицер подошел к Солдатову вплотную.

— Да здравствует победа! Смерть палачам! Да здравствует Сталин! — крикнул Николай.

Офицер поднял руку с пистолетом, но выстрелить не успел. Николай собрал все силы и прыгнул в пропасть.

Леонид лежал на полу со смертельно бледным лицом, когда в склад забежал Гаврила Быков.

— Уйди, Гаврила, ты можешь погубить себя, — чуть слышно проговорил Леонид.

Размахивая руками, со слезами на глазах, Гаврила побежал к подъемнику. Он должен был следовать с группой Леонида, но его задержал мастер во время подготовки взрыва в забое.

Гаврила думал задушить шведа, но боязнь сорвать побег,

удержала его.

Немцы столпились перед пропастью, смотрели туда, куда бросился Солдатов.

Беспощадное мщение врагу — вот, что было в сознании Гаврилы Быкова. Он вспомнил, что о нем могут подумать нехорошее, когда товарищи погибали, он отсиживался в шахте.

В доказательство того, что он в шахте остался не по своей вине, Гаврила заграбастал своими длинными руками сколько мог немцев и толкнул их в яму. Его пытались схватить. Он отбивался. Перед ним оказался мастер Кола, который бросился к русскому, но просчитался, понадеясь на свою силу. Зная, сколько несчастий и обид нанес он русским, и больше всего Леониду, Гаврила схватил его и, приподняв над головой, как ребенка, бросил в пропасть и прыгнул туда сам.

Леонид долго лежал в забытьи и не знал, что произошло наверху. Когда открыл глаза, перед ним стоял мастер-швед.

— Вот то, что последовало дальше, — с трудом выговорил Леонид.

Мастер понял: половина бригады русских его смены ушла на родину.

— Борьба окончена, — сказал он, и распорядился отправить русского в барак.

34. Война окончена. Мир заключен.

Барон-лейтенант Пуронен отказался выдать Леонида немцам не потому, что был к нему расположен, а потому, что не хотел ввязываться в историю и брать на себя ответственность, ожидая нового начальника.

Восьмой лагерь в Петсамо — Никеле, как и другие лагеря Финляндии, не были похожи на немецкие лагеря смерти Освенцим, Майданек или Бухенвальд. Это были обыкновенные трудовые лагеря. Несмотря на это расстрелы военнопленных, издевательства, пытки и смертность людей были настолько велики, что финское правительство забило тревогу и начало спешно заменять начальников лагерей, отличавшихся жестокостью к русским, лицами, не причастными к лагерям военнопленных — фронтовиками.

Вновь прибывший начальник не знал, как поступать. Он был новым человеком, познакомиться с жизнью лагерей не успел, получив назначение сразу с фронта. Совета старый начальник ему не дал. Не зная, что предпринять с русскими, запросил штаб северных лагерей.

Начальник северных лагерей, лейтенант Холм, суровый на вид офицер, отличавшийся строгостью и требовательностью к пленным и подчиненным по службе, был справедлив и ненавидел немцев, хозяйствовавших на финской земле, ответил шифровкой: «Паасикиви в Москве. Ожидаются большие перемены. Измените отношение к военнопленным в лучшую сторону. Разъясните, примите меры к недопущению побегов и обеспечьте безопасность пленных. За каждого персонально ответственность несете вы».

Вечером пьяный начальник выступил перед русскими. Язык еле ворочался, но из несвязной речи можно было уловить один смысл — скоро окончание войны. Затем он пришел к раненному и предложил ему закурить. Леонид кивком головы отказался. Рана была не тяжелая: пуля прошла грудь навывлет, не задев легких, но отсутствие надлежащего медицинского ухода и лекарств, слабость истощенного организма приковали его к постели. Товарищи старались ему помочь, приносили папиросы и все лучшее, что доставали на производстве.

Перемена в событиях и жизни Финляндии больше всего ощущалась по изменившимся отношениям к военнопленным со стороны охраны, рабочих и мастеров. Солдаты перестали драться и бить русских, не обращали внимания на поведение военнопленных и занимались своими делами. Рабочие собирались в группы, беседовали между собою больше, чем

работали. Мастера (как было раньше) не подгоняли в работе, не угрожали, а заискивающе любезно предлагали приступить к своим обязанностям и виновато улыбались, когда в ответ слышали грубость со стороны рабочих. Немцы враждебно поглядывали, когда мимо них проходили колонны русских.

По утрам стали заморозки: лужи на дороге покрылись тонким слоем льда. Военнопленные, не сворачивая и не обходя их, идут прямо по льду. Он под давлением тяжести трескается и на гладкую его поверхность выступает грязная вода. Бригада, в которой раньше работал Леонид, подходила к заводским воротам. «Райские ворота», как прежде, не распахнулись перед русскими, а из проходной будки вышел главный инженер завода.

Он приподнял правую руку вверх и притворным голосом, выражающим любовь к русским, произнес:

— Больше русские работать не будут! Война окончена! Мир заключен!

И с неохотой вынимает портсигар и раздает все папиросы. Бесплатная рабочая сила, из которой выжимали все, что могли, постепенно уничтожая ее, не неся ответственности, выскользнула из рук. Инженер не был из тех людей, которые радовались окончанию войны, избавлению от тягот и лишений. Нажившись порядочно на войне, он еще вчера во всеуслышание кричал: «Война до победы!»

Военнопленные, солдаты, рабочие переживают с волнением и радостью эту минуту. Лагерь кипел, как улей. Жизнерадостные возгласы слышались повсюду. Настроение поднялось, пленные повеселели: горе позади. Впереди только счастье! Все почувствовали, что они снова имеют родину — снова станут в ряды борющихся за правое дело и упорным трудом будут работать на благо своей родины.

Леонид переживает всеобщую радость.

— Долго я жил мечтою о родине, думая только о ней, — говорит он, опершись о проволоку, — а сейчас эта минута настала. Жизнь начинается по-новому!

Рядом с ним стоит военнопленный Васькин. Он не хочет огорчить его возражением и той неприятной новостью, которую еще не знает Маевский, поэтому все время молчит и кивает головой в знак согласия.

«Совість его чиста, — думает Васькин, — Леонида нельзя обвинить в том, что он не сумел вырваться из позорного плена. Заслуга его в том, что он помог избавиться другим, а главное он сумел в трудное время объединить около себя товарище, взять руководство и направить деятельность в правильное русло. Человек, который не сидел сложа руки в плену, а работал на

благо родины, не имевший руководства сверху, движимый только патриотическими чувствами, заслуживает уважения: он сыграл большую роль в поднятии духа сопротивления у военнопленных и не допустил их скатиться к прямой измене родине».

Финские солдаты тащат ящики с галетами на продажу в барак. Они стараются распродать хлеб и галеты и получить марки, которые отбирали раньше. Пленным марки больше не нужны, они с охотой покупают хлеб и табак.

Лагерь со всех сторон окружен немцами, и военнопленные не уверены, что их выпустят из-за проволоки. Начальник заверяет, что он будет защищать русских до последнего своего солдата, но в этом успокоения мало. Что может сделать горсть плохо вооруженных финнов против многочисленных немецких войск. Пленные вторично могут оказаться в плену! Но выход один — ждать!

С томлением и тревогой ожидают прибытия машин и избавления — их все нет. Причину задержки знают немногие. Финские машины стали из-за отсутствия бензина. Недавние союзники отказали им. Изредка начальник разговаривает со штабом по телефону, результат разговоров пленным не сообщают. Они волнуются и переживают.

«— Как бы наши меты о возвращении на родину не стали напрасными, а нам не попасть бы в руки немцев»- думают все. Переживает и охрана. Среди них распространился слух, что немцы не выпустят военнопленных, а им быть в плену совместно с русскими. Они не хотят переживать того, что пережили военнопленные на глазах у них, а зачастую и от них.

Более решительные предлагают пробиваться напрямик в Ивало, где размещался штаб лагерей.

Начальник лагеря без согласия штаба северных лагерей не согласился на это.

Участились телефонные разговоры. Наконец, начальник получил указание подготовить больных к вывозке, остальные должны пешим путем продвигаться до Ивало. Заблаговременно роздали продукты на путь следования и заменили обувь. Начальник предупредил русских, что если немцы не будут выпускать пленных, он вооружит всех имеющимся у него в запасе оружием, и военнопленные будут пробиваться группами. Леонид еле двигает ногами, но очень рад и доволен решением начальника; с нетерпением ждет раздачи оружия.

— Зачем мне идти вглубь Финляндии, когда я могу остаться здесь, ожидать своих и начать партизанить, — говорит он с радостью. Многие разделяли его мнение.

Мечта о получении оружия заставила его отказаться от

поездки с больными на машине. Не прошла она и ста метров, как ее остановил на мосту немецкий патруль. Леонид поступил благоразумно, отказавшись от поездки, его могли взять немцы. Больных заставили слезть с машины, а кто не мог, того толкнули. Два часа простояла машина, два часа лежали около нее больные, два часа стояли военнопленные около проволоки, ожидая дальнейших событий. Надежда на избавление мирным путем рассеялась, как туман. Необходимо действовать самим — сделали заключение многие.

Начальник лагеря не отходил от телефона. Наконец немецкого офицера попросили к телефону. Он с неохотой пришел и взял трубку...

Машина тронулась — пленные облегченно вздохнули. Больные (кто не мог идти) вывезены.

Не один раз намечали время выступления и каждый раз откладывали. Сообщили опять: в четыре часа все должны быть готовы. В два роздали пищу и снова по непонятным причинам отложили выход.

Ровно три года назад военнопленные перешагнули за колючую проволоку Никелевого завода. Тех, кто первый сюда прибыл, остались единицы, да и те не помнили позорной даты. У всех одна мысль — скорее выбраться из лагеря. Они испытывают то, что переживает человек, когда его избавляют от смерти; не успеет он осознать, что ему уже не грозит опасность, как снова надвигается несчастье, но в другой форме. Легче ли ему? Конечно, нет!

И потянулись мучительные дни ожидания. Ждали пленные, изнуренные тоской по родине, ждала охрана, неуверенна в завтрашнем дне. Неутешительны были речи всевозможных представителей, приезжавших в лагерь. Все они поздравляли с окончанием войны и скором возвращении на родину. Генерал — командующий северным округом даже извинился за плохое обращение, но здесь же поспешил добавить, что он не причастен к лагерям военнопленных. Никто из них не обмолвился словом о создавшемся положении и не сообщил, каким образом думают пленных вывезти из немецкого окружения...

Только один следователь морского ведомства имел определенные убеждения. В отличие от своих предшественников он отказался выступить перед строем, а пришел в барак. Стоя, крепко упершись руками о край стола, он начал свою речь:

— Господа военнопленные! — Дальше переводил переводчик: — Поздравляю вас с окончанием войны, я должен вам сообщить неутешительную весть. Россия подходит к финишу еще более сильной, чем до войны! Конечно, из патриотических побуждений

это хорошо. С другой стороны — как это отразится на вас?

Военнопленные, слышавшие за последнее время много различных ораторов, слушали равнодушно. Перевод речи следователя заставил их насторожиться.

— Мы имеем сведения, вполне проверенные — военнопленных, вернувшихся в Россию, отправляют на каторгу в отдаленные места Советского Союза...

— Беляев! Довольно! — прервал речь переводчика грозный выкрик из среды военнопленных.

Переводчик, услышав свою фамилию, смутился и замолк.

— Мы уже не однократно слышали ваши проповеди! Идите отсюда прочь! — к столу подходит Маевский, придерживаясь за нары. Беляев узнал его. Протягивая руки вперед и устремив молящий взгляд на пленного, чуть слышно, дрожащим голосом сказал: — Вы живы?

— А я не думал погибать! — ответил Маевский и указал рукой на дверь. — Вон!

Беляев попятился, и когда руками нащупал дверь, повернулся и бегом из зоны. Следователь продолжал стоять. Лицо его от злости то багровело, то покрывалось пятнами. Когда шум немного утих, собрав в памяти весь своей запас русских слов, он продолжал свою речь: — Тому, кто не желает испытать второго плена, Финляндия предлагает свое убежище...

— Ах, гусь лапчатый! — недовольно сказал сержант Васькин.

— Три года насильно слушали клевету, а сейчас мы собрались домой, а он нам про каторгу говорит! Так дело не пойдет — каторга для нас закончилась! Уходи-ка, гусь лапчатый, отсюда подобиру-поздорову! Уходи! — закричал сержант. — Пока по-хорошему прошу — уходи!

Следователь продолжал стоять. Тогда Васькин взял его за ухо и как провинившегося мальчика повел из барака.

— Говорил тебе: уходи по-хорошему! — поучал Васькин следователя, шагая с ним рядом в ногу и крепко сжимая мочку левого уха. — Не слушался — сам виноват!

Не сдерживая смеха, вахтер открыл ворота, в тот же миг следователь получил сильный пинок под зад.

— Один ноль в нашу пользу! — крикнул Васькин под дружный смех военнопленных.

В кабинете начальника лагеря следователь разразился яростной бранью в адрес русских. Но ни ругань и проклятия без умолку срывавшиеся с уст недавнего хозяина судеб русских, ни вопли о бездеятельности начальника лагеря, распустившего военнопленных, не могли вывести из спокойного состояния лейтенанта Холма, сидевшего в переднем углу с каменным

лицом, а начальник вообще ничего не слышал — он был мертвецки пьян.

Только один лейтенант Холм по-настоящему волновался за судьбу вверенных ему русских. Как солдат верный своему долгу, он, потеряв сон, день и ночь сидел, придумывал всевозможные планы вывоза русских — и все напрасно. За все время никто не видел улыбающегося Холма, а сейчас, погруженный в свои думы он был угрюм и замкнут, лишь веко поврежденного глаза продолжало вздрагивать, как будто насмехаясь над его беспомощностью.

Беспечный сон пьяного начальника лагеря и мрачное настроение другого бесило следователя, который не находил повода к ссоре, а бесконечная ругань пленных вскоре надоела ему, но забыть о них он никак не мог: мочка левого уха горела от рук сержанта Васькина. Следователь искал повод переменить тему разговора, чтобы постепенно перейти к главной задаче приезда на север. Вспомнив о телеграмме министра внутренних дел, следователь нарочно вкрадчивым и спокойным голом спросил лейтенанта: — Министр сдержит свое слово и на петлицах лейтенанта Холма появятся майорские знаки различия, если вы выполните распоряжение и вывезете русских.

«Давно заслуженное, но не данное звание» — подумал Холм, и вслух, не поворачивая головы, как будто его слова касались следователя ответил:

— С большой благодарностью приму это звание.

— Тем паче, что исходит оно от министра-коммуниста! — бросил реплику следователю.

— Меня не интересует политическое убеждение министра, я вижу в этом здравый смысл, — ответил Холм, поднимаясь с кресла. Высокий и жилистый он стоял не моргнув глазом перед тучным начальником, как прежде преисполненной мыслью выполнить солдатский долг, но злая насмешка следователя задела его чистое, непорочное самолюбие.

— Собственно говоря, что вам нужно от меня, господин подполковник?

— Кроме выполнения требования о сдаче оружия, я не имею к вам никаких претензий!

— Выполнять распоряжение главного инспектора лагерей запрещено!

— Его подтвердил командующий северным округом!

— Я подчинен министру внутренних дел и оружие мне нужно для выполнения его распоряжения!

— Вы забыли одно, что пленные не побегут, зная о возвращении на родину. Интересы страны обязывают вас сдать

оружие для использования его в более важных целях, чем охрана военнопленных. К тому же, вы имеете его в большем количестве... если принять во внимание немецкий склад, находящийся в ваших руках. Не сегодня, так завтра, мы должны столкнуться с немцами, выполняя обязательства взятые условиями перемирия.

— Тем более требования ваши странны, что вы настаиваете на сдаче оружия именно здесь, а не в тылу... Использование оружия в интересах родины... Вами — вызывает сомнение.

Холм замолчал, прошелся по комнате взад и вперед, затем снова стал в прежнем положении — напротив своего бывшего начальника, и сказал: — Я принял решение — вооружить русских!

— Вы не имеете права! — закричал следователь так громко, что спавший начальник лагеря вздрогнул и проснулся. — Это преступление! Преступление! У вас нет на это разрешения! — продолжал кричать следователь...

— Но и нет запрещения, — прервал речь следователя начальник лагеря, понявший, о чем идет речь.

— Возможно это преступление перед законом, но оправдание перед моей совестью! — сказал Холм.

— Если сегодня я не получу разрешения на вывоз военнопленных, вопрос о вооружении их решен! Господа немцы пусть не забывают, что более двух тысяч русских, находящихся в моем распоряжении, еще не разучились воевать!

— Добавьте к этому три сотни финских солдат, которые бояться немецкого плена хуже, чем вашей угрозы о сдаче оружия, которое неизвестно кому и зачем нужно! — вставил начальник лагеря.

— Небольшие осложнения будут только здесь — Холм открыл окно. — Смотрите!

В окно была отчетливо видна дорога, узкой змейкой спускавшаяся с горы. Внизу, у реки, она расходилась на две стороны. Одна вела к немецким зенитным батареям, расположенным севернее лагеря, другая сворачивала к зоне проволочного ограждения.

На повороте возле моста прохаживался немецкий патруль

— Если хоть один немец перейдет мост, он будет трупом...

А русские уйдут в лес. В Ивало и на оловянном руднике ни одна машина немцев не пройдет. Дорога Рованиemi-Петсамо будет контролироваться нами! Части Советской армии быстро приближаются к Никелевому заводу, навстречу которым пойдут военнопленные Петсамо-Никелевого рудника.

Сердце следователя дрогнуло, он не сказал больше ни одного слова, а на следующий день немецкое командование знало о намерениях финского офицера, с которым оно в течение

длительного времени не могло найти общего языка, но и следователь не получил ни одной винтовки для организации тайного склада — цели его поездки на север.

В четырнадцать часов прибыла немецкая автоколонна, сопровождаемая множеством полевой полиции на мотоциклах. На каждую машину посадили по двадцать русских и по два финских солдата, и колонна тронулась. Останавливается возле каждого шлагбаума, каждый раз немецкий офицер звонит по телефону неизвестно кому. Машины движутся; никто не знает маршрута движения. Финны подозрительно переглядываются. На следующей остановке пришел переводчик и сообщил русским и охране, что если на повороте немцы свернут не в направлении Ивало, а к Петсамо, то всем прыгать с машин и разбежаться по лесу. На охрану возлагается борьба с полицией и сопровождение пленных до штаба.

По мере приближения к повороту все устремили взоры вперед, куда свернет передняя машина. Все облегченно вздохнули: передняя машина проскочила поворот... На повороте валялась разбитая машина, возле которой лежал труп шофера. Это был Порвари. Ему не удалось покинуть родину: смерть настигла его в тот момент, когда он свернул не туда, куда нужно было.

Прибыли в Ивало. Для русских был приготовлен ужин. Встречали скрепя сердце, но как гостей. Опять все тот же телефонный разговор. Вот и Рованиemi, откуда повезут военнопленных в вагонах, наверное, прямо на родину.

Что заставило немцев вывезти военнопленных из Петсамо-Никелевого завода? Никто из русских не знал. Строили догадки и предположения. От Петсамо до Рованиemi двигались по шоссе в одиночку и целыми семьями финны. Они стремились скорее добраться до станции, а там по железной дороге — вглубь страны. Все они были нагружены домашним имуществом, кто нес его на спине, кто катил тележку перед собою. Они стремились уйти от приближающегося фронта. Наступила очередь испытать ужасы войны и для них. В Рованиemi их ожидало горькое разочарование: на станции не было ни одного эшелона для них. Единственный, из которого выгружались немцы, предназначался для военнопленных. Открытые площадки вагонов зашивали досками, чтобы можно было укрыться от дождя и ветра. От работы военнопленных зависело отправление эшелона, поэтому никто не подгонял, работали на совесть.

Как только немцы освобождали площадку, русские дружно нагружали ее кухнями, продуктами и все другим. Никто из русских не обращал внимание на немцев. Им было не до них, но

как только военнопленные проходили мимо них, они отворачивались; только один не мог скрыть зависти. Может быть, он тоже вспомнил о родине? Откуда-то подвернулся дед, знакомый Леониду по Янискоски, и без всякого приглашения начал помогать русским подвозить доски, инструмент и галеты. Ему, по-видимому, надоело сидеть без дела, и он потерял надежду выехать из Рованиеми со своей кормилицей — лошадью.

Он сильно изменился, постарел и не мог признать Леонида. Вспомнил только тогда, когда Леонид вытащил из своего кармана фотокарточку, подаренную ему в Янискосках при совместной работе на лесопилке. От неожиданной встречи он расплакался, и Леониду с трудом удалось его успокоить. В это время подошел немец, все время внимательно наблюдавший за русскими, и спросил по-русски: — Вы куда уезжаете?

— У нас есть родина! — ответил Леонид.

На глазах у власовца выступили слезы. Леонид презрительно посмотрел на него и отвернулся. На власовца закричали пленные: — Уйди, бездомная собака, для тебя не будет на жалости, ни сострадания. Вы продали родину и дорога в жизнь для вас закрыта!

Тогда власовец обратился к деду за помощью. Они не могли завести легковую машину. Им необходимо было ее отвезти до гаража.

Дед слушал его внимательно, покачал отрицательно головой и попросил позвать переводчика.

— Я вас не приглашал на финскую землю! Вы изменили родине! Служили немцам, просите помощи у них, а я помогать вам не собираюсь!

Дед старческой рукой вынул финку, поцеловал в последний раз лошадь, вонзил нож ей прямо в сердце и горько заплакал. Ему было жалко ее, но он предпочел за лучшее убить лошадь собственной рукой, чем помогать тем, кого он ненавидел, кто был причиной смерти его сыновей.

Назавтра, ровно в двенадцать часов, военнопленные покинули Рованиеми. Через два часа прекратилось сообщение по железной дороге и началась война между двумя бывшими союзниками. Эшелон с военнопленными движется к родине. Охрана только для вида. На каждой станции русские выскакивают из вагонов, заходят в буфеты, прогуливаются по перрону.

Поезд замедлил ход, многие соскочили и бегут к станции. На пути к ней стоит состав, груженный песком и в клейменной одежде люди, как военнопленные, под охраной разгружают песок.

— Неужели до сих пор пленные продолжают работы? — спрашивают друг у друга военнопленные и показывают на

эшелон.

— Пойдемте, разгоним охрану! — предлагали другие. Русские гурьбой двинулись к составу.

— Бросай работать хлопцы! Надо спешить на родину!

Им отвечают на финском языке и показывают пальцами в рот, просят хлеб и табак.

— Что за чертовщина! — раздаются голоса.

— Осужденные финны, — догадываются многие, и ропот недовольства гудит среди русских.

Вскоре военнопленные перемешались с осужденными и завязалась беседа. Их угощают табаком, сигаретами, началась дележка хлеба, принесли каши. Охрана перед многочисленной толпой пасует.

Леонид, как другие, не мог спрыгивать на ходу, рана давала себя знать, и большее время он просиживал у окна. При виде братания военнопленных с финнами он не выдержал и в первый раз решился выйти из вагона. Финн, стоявший на площадке, спрыгнул и побежал к нему с возгласами: — Матрос!

В оборванном, заросшем колючей бородой, худом, как скелет человека, Леонид с трудом узнал красивого Арву. Они обнялись. Их окружила многочисленная толпа любопытных. Многие петсамовцы узнали Арву и рассказали историю его жизни другим. Остальные заключенные с вниманием смотрят на окружающую их собрата толпу. Кто-то предложил взять его в Советский Союз. Возможно, другие заключенные, на которых меньше обращали внимания, осуждены за аналогичный с Арвой проступок, но их не знают.

Леонид перевел ему предложение русских — ехать с ними.

— За предложение спасибо! Но я тоже люблю свою родину, как и вы, и останусь здесь, чтобы бороться с несправедливостью и злом, — ответил Арва.

— Правильно, Арва! — воскликнул Леонид и дружески пожал ему руку.

Когда расставались, заключенным отдали все продукты, имеющиеся в эшелоне.

Поезд набирает скорость. Военнопленные выглядывают из вагонов, заключенные машут фуражками. Арва стоит на площадке. Из глаз его от радости катятся слезы.

35. На родине.

Напрасно военнопленные ожидали скорого возвращения на родину. Финны постеснялись отправить военнопленных в таком виде, какой они имели в момент окончания войны.

На станции «Север» военнопленных высадили на поправку. Увеличили питание; многие ходили работать к крестьянам, набирались сил. Рядом с лагерем расположено имение барона, который нуждался в рабочей силе. Часть военнопленных занарядили к нему. Их встретил невысоко роста господин в цилиндре и низко раскланиваясь, пригласил к столу. Русские узнали бывшего начальника лагеря военнопленных в Петсамо-Никеле, барона-лейтенанта Пуронена, сменившего военную форму на цилиндр.

— «Ты хоть и в новой коже, да сердце у тебя тоже!» — сказал ему Васькин в глаза.

— «На баронов и князей мы отработали! Пошли отсюда подальше!» — заявили все и ушли от барона.

Больше никто к нему на работу не ходил.

Прошло то время, когда барон распоряжался военнопленными. Положение изменилось. Наступили дни, когда он по несколько часов простаивал у ворот и просил начальника лагеря послать ему на работу русских: с уборкой картофеля медлить было нельзя. Лейтенант разводил руками и отвечал: Военнопленные не идут к вам работать — силой не заставишь! Попросите сами русских!

Лейтенант знал недружелюбное отношение пленных к бывшему начальнику лагеря и явно издевался над ним, предлагая просить помощь у русских, зная, что никто из военнопленных с бароном разговаривать не будет. Воспользовавшись моментом, он тоже мстил барону за то пренебрежительное отношение, которое питал Пуронен к офицеру из бедной семьи.

В бараке установили радио. Военнопленные впервые слышали голос родины: «- Столица нашей родины — Москва, салютует доблестным героям, занявшим и освободившим исконно русскую землю — Петсамо-Печенга».

На следующий день военнопленный Максимов бесследно исчез из лагеря. Предатель забыл родину. Обсуждение поступка беглеца, воспоминание о пережитых кошмарных днях, и то, что среди военнопленных находились люди, которые способствовали врагам, толкнуло сержанта Васькина на месть. Злоба, накипевшая за длительное время вылилась наружу и остановить ее было нельзя, поэтому оказались напрасными усилия Маевского

приостановить самосуд. Зато он принял все меры к тому, чтобы не сводились личные счеты. Могло случиться так, что некоторые начнут сводить личные счеты, другие не поймут и человек окажется напрасной жертвой, так как виновников били безжалостно и без малейшего сострадания! К жертве он подходил серьезно и осторожно, взвешивая все факты, побудившие человека к совершению преступления. Били тех, у кого совесть была замарана: переводчика Павлова (не тронули Панова и Пекку), старшину лагеря, Пономаренко и других.

Тот, кто не принимал участия, не вмешивался и не препятствовал другим: это было справедливое возмездие за прошлое — забывать родину нельзя, где бы ты не находился и у каком бы положении ни оказался.

Илья-рябой, стоя на коленях просил:

— Пощадите меня, несчастного! Я нигде не мог найти себе счастья!

Усмехнувшись, Леонид сказал: — Счастье нигде не потеряно, и найти его нельзя! Счастье — это иметь родину, любить ее, жить вместе с нею, бороться за нее!

Вечером Поляков вылез за зону и, поднявшись на костылях, злобно прокричал: — Паразиты! Мало я вас отправил на тот свет.

Его поймали и притащили в барак. Он не просил прощения, лишь злобно ругался: — Я ненавижу всех вас! Вы оставили меня без ног! Пока я жив, я буду мстить вам, вредить, ненавидеть.

Андрей Рогов подполз к нему (он в плену потерял ноги) и замахнулся на Полякова палкой.

— Ты будешь отвечать перед советским народом, иуда! — злобно произнес Рогов и попросил поднять его к радиоприемнику, откуда слышались жизнерадостные слова.

У тех, против кого было много неопровержимых улик, конец был печален. Военнопленные приняли все меры, чтобы ни один предатель не убежал из лагеря.

Пришли с повинной финны. Рыжий стал на колени, но его выгнали из барака. Мецале и тем солдатам, кто относился по-человечески к военнопленным, по их просьбе, дали справки, подписавшись под ними.

Вскоре из Союзно-контрольной комиссии приехали советские офицеры. Их в новой форме видели первый раз, но не она интересовала военнопленных, а люди, советские люди, которые рассказывали о работе и жизни родины. Они отвечали на все интересующие вопросы, которых было очень много, всем хотелось узнать все сразу. После беседы, начинают заменять обмундирование. Подходят машины, и военнопленных везут к железнодорожной станции.

Утром 26 октября 1944 года военнопленные из Петсамо-Никелевого рудника вступили на родную землю. Приняли их пограничники. Военнопленные это предвидели раньше, иначе нельзя поступить. Кто знает, нет ли среди них человека, завербованного контрразведкой финнов или другими государством?

Когда выкрикнули фамилию Леонида он произнес:

— За три года слышу первый раз! Свои люди вернули мне снова потерянную фамилию. Нет больше человека с номером 2326!

После возвращения из плена Леонид попросился в штрафной батальон и, когда оправдал себя в боях, был переведен в часть, в которой начинал войну. Когда весь мир услышал, что советские войска штурмом взяли логово фашизма — Берлин, и фашистское правительство перестало существовать под неудержимым напором воинов страны победившего социализма, Леонид был тяжело ранен. Он смыл то пятно, которое было на нем, и удостоен высокой награды. Остальные прошли спецпроверку и разъехались по необъятным просторам родины.

На стройках Сталинской пятилетки они заняли место в общем строю: работали в шахтах, на заводах, на колхозных полях и самоотверженным трудом вносят свой вклад в дело построения коммунизма. Нет больше безымянных людей; есть люди с гордым названием — Советские люди Сталинской эпохи!

36. Суд идет

— Дедушка, мы едем в Москву!

Лицо Павла Беляева мгновенно приняло мрачный вид. Слова внука заделали больное место, и он отвернулся, сдерживая слезы. Затем достал бумажный носовой платок, протер глаза и, устремив взор в потолок, дрожащим голосом ответил: — Да! Да! Это хорошо!

— А ты, дедушка, поедешь с нами? — приставал с вопросами маленький Пуранковский и, не выслушав ответа, рассказывал прелести предстоящей поездки. Он был слишком мал, чтобы понять душевные муки деда, и что его беззаботный, детский лепет был неприятен старику.

— Александр, не приставай к деду, ты уже порядком надоел, — сердито говорил отец Пуранковский, аккуратно упаковывая чемоданы. — Лучше помогай матери собирать вещи.

Старик Беляев прижимал внука к себе и ласково гладил белокурую головку. Война окончательно подорвала здоровье Беляева и превратила его в дряхлого старика. Когда он говорил, голос его дрожал, руки тряслись, и он с трудом мог брать папиросу из портсигара. Глаза ввалились, из них постоянно текли слезы. При виде радостного лица зятя Владимира, сияющей улыбки внука, сдержанного нетерпения дочери, ему требовалось много душевных усилий, чтобы сдерживать себя и не разрыдаться. Поэтому он избегал разговоров с дочерью, и все свободное время отдавал внуку. Чем ближе была минута расставания, тем труднее становилось Беляеву. В душе он упрекал дочь, что она ни разу не заговорила с ним о предстоящей поездке, не поинтересовалась, как он будет жить в городе один, когда они уедут.

И вот, когда он с трудом поднимался по лестнице квартиры зятя, направляясь к дочери, чтобы проститься навсегда, услышал голос: — Владимир, я не могу ехать. На кого его оставляю? Ты видел сам, как папа плохо себя чувствует. Он не переживет разлуки. Поезжайте с Сашей, а я останусь здесь, чтобы похоронить его рядом с матерью — потом приеду...

Беляев, придерживаясь за перила, попытался назад и почувствовал, как ноги его подкашиваются. Он сел на ступеньку крыльца и горько заплакал.

— Бедное дитя! Моя дочь — единственная надежда в жизни — хочет пожертвовать своим благополучием ради меня... В моей жизни остались считанные дни и задержка дочери в чужой стране

слишком большая жертва.

Вечерняя прохлада придавала ему бодрости. Он постепенно успокоился и вспомнил, что пришел проститься.

— Зачем я сижу здесь? Мне пора домой. Я не имею права держать ее здесь. Если она останется, то вечно будет жить с думами о родине, и разлука с сыном подорвет ее здоровье... она умрет от туберкулеза, как мать.

Павел приподнялся, посмотрел на дом, в окне которого тускло светилась керосиновая лампа, и быстро пошел. Улица была пуста. Ни одного пешехода, ни одной машины, словно все вымерло. Вскоре поравнялся со зданием, где размещалась союзно-контрольная комиссия. Павел прошелся вдоль дома несколько раз взад и вперед, потом перешел улицу и остановился напротив.

— Вот от кого зависит моя судьба! — сказал Беляев, показывая пальцем на окно... — Пойду, расскажу...

Там меня поймут! Мои муки в изгнании разбудят их сердце. Мне разрешат вместе с дочерью вернуться на родину...

Но зайти Павел не решился по своей трусости из-за прошлого. Ушел к себе домой, быстро разделся, лег в постель и предался мечтам. Перед его глазами стоял дом, откуда сквозь большие окна лился на улицу теплый матовый свет и манил Беляева к себе. Когда проснулся, пред ним не было приятного видения, ни залитого светом большого зала, а были грязные стены своей комнаты, усеянные тараканами, да горькое разочарование на душе. Чтобы не думать о завтрашнем дне, дочери, будущем, Беляев оделся и вышел на улицу. Было не больше 4-х часов утра. С моря тянуло прохладой. Хмурые тучи нависли над городом и лениво плыли по небу. Павел приподнял воротник шинели, застегнулся на все пуговицы и, не спеша, пошел, думая о виденном приятном сне.

Весь день Беляев скитался по улицам, не решаясь зайти в союзно-контрольную комиссию, а стрелки часов упорно приближались к шести — времени отхода поезда, который навсегда увезет его дочь из чужой страны.

— Она не поедет, пока я жив, — вспомнил Беляев. — Через два часа объявят посадку. Она, не дождавшись меня, забеспокоится и отложит поездку...

Зачем? Кому это нужно? Убедить ее нельзя. Разве уехать самому? Но куда? В Америку? В Швецию? А разве там будет лучше, чем здесь?

Рассуждая и не находя выхода из создавшегося положения, Беляев дошел до базара. Там толпились люди. Одни продавали, другие покупали, третьи просто высматривали: нельзя ли воспользоваться трудным положением и свою тяжесть в жизни

переложить на другого, пусть для этого пришлось бы пойти на обман или воровство. Было там множество гадалок, которые на картах, на руке, на всевозможных побрякушках предвещали всем долго жить и хорошее будущее. Самой большой репутацией среди них пользовался инвалид с попугаем. Возле него вечно толпились люди.

— Пойду, возможно, куплю хлеба, а заодно и погадаю, — сказал Беляев, стараясь вспомнить, сколько у него осталось денег.

Около ворот сидело несколько нищих, прося милостыню. Они хватили за полы пальто прохожих и жалобно просили: — Пожертвуйте калеке, потерявшему здоровье на фронте!

Беляев вырвал полу шинели и быстро прошел в ворота.

— Я хуже нищего! Мне, если доведется, никто не подаст, — подумал Беляев. Тем не менее, заметив юношу без ног, который пристроился на урне для мусора, и держал на вытянутых костылях шапку, балансируя телом, чтобы не упасть. Беляев смягчился и бросил пятьдесят марок. Нищий костылями подбросил шапку вверх, и она ладно села на голову. Беляев удивился ловкости безногого и остановился.

— Дай еще бумажку — повторю! — сказал нищий, заметив, что прохожего это заинтересовало.

— Хватит, — ответил Беляев.

Безногий отвернулся и стал разговаривать со своими друзьями.

— Тойно, везет тебе сегодня, — сказал оборванный нищий, сидевший ближе всех к безногому юноше.

— Мне всю жизнь везло, — ответил тот, кого называли Тойно, — Вам оторвало по одной ноге, а мне сразу две.

Беляев подошел к месту, где обычно стоял продавец счастья с попугаем. Он был на своем месте и как обычно, держал клетку на перекинутом через плечо ремне, но попугая не было.

— Кто желает вытянуть счастье? Пять марок! — гнусавым голосом кричал продавец. — Планета счастья! Сушая правда... Только пять марок...

— Куда делся попугай? — ежеминутно спрашивали его мальчишки.

— Сегодня вместо попугая я. Сушая правда. Только пять марок...

— Человек врет — птица не способна на обман, — сказал пожилой мужчина в поношенном пальто.

— Ты видно на своем веку обманул не одного доброго человека, — огрызнулся продавец счастья. — Попугай подход с голоду... Сушая правда..

— На мое счастье или несчастье — сказал Беляев и вытащил

билетик.

В это время мимо него прошел человек похожий на цыгана.

— Сын Блинова — подумал Беляев и, расталкивая публику, побежал, крича на ходу: — Блинов! Блинов! — Но широкоплечий молодой человек не останавливался, уверенно шел вперед. Вскоре Беляев потерял его из виду.

— Надо разыскать! Поговорить! Чем занимается он?

В это время, заглушая шум базарных криков, послышался Беляеву хорошо знакомый бас: «Бывали дни веселые, гулял я молодец...»

— Не может быть, чтобы лейтенант финской армии пел на базаре за кусок хлеба! — закричал Беляев, пробираясь ближе к человеку, которого плотным кольцом окружила любопытная толпа. И увидел своими глазами, как Блинов, закатив глаза под лоб, пел, играя на гитаре, а рядом лежала шапка для подаяния.

— Вот она наша жизнь! — закричал Беляев и, закрыв уши, чтобы не слышать, побежал с базара.

— Чего же больше ожидать? Снова простаивать сутками на бирже труда, петь на базаре, а вечерами собираться и мечтать о лучшей жизни — несбыточной мечте, когда падет Советская власть! Снова видеть, как на твоих глазах будет угасать дочь, а ты должен успокаивать мечтами. Пора уступить ей место в жизни! Пусть она первое время погрузится, поплачет, но радостный день в счастливой стране заполнит ей пустоту преждевременной смерти грешного отца. Я уйду из жизни, тем приближу радостный день для нее.

Он спешил к дочери с твердым намерением сделать все, чтобы устранить причину, мешающую ей спокойно покинуть чужую страну. Он готов был пойти на крайность, вплоть до самопожертвования, лишь бы дочь и внук счастливо жили и не переживали угрызения совести.

— Сегодня суд! Суд идет! Военные преступники на скамье подсудимых! — услышал Беляев звонкий мальчишеский голос. Мальчик лет десяти, размахивая пачкой газет, подбежал к Беляеву. Павел купил газету. На первой странице большими буквами было написано: «Они не уйдут от справедливого наказания».

— А разве я не преступник? — задал себе вопрос Беляев. — Два раза поднять руку на свою родину — преступление.

Под впечатлением внезапно нахлынувших мыслей о его преступлении перед родиной, Беляев пришел окончательно к выводу, что путь на родину для него закрыт.

Он вышел на средину улицы и остановил первую попавшуюся машину.

— Быстро в порт, — попросил Павел, открывая дверцу машины и протягивая шоферу последние деньги. — Потом отвезешь записку по указанному на ней адресу.

В порту не было никого. Пароход закончил погрузку, и два катера отводили его от причала. Дым клубом валился из трубы и расстилался над морем. Волны лениво плескались о мол.

— Прах мой не будет покоиться в чужой стране. Волны прибьют труп к родному берегу, — сказал Беляев, и последний раз посмотрел на город, который кроме несчастий не принес ему ничего.

И, не сказав «прощай», решительно шагнул навстречу волне.

notes

Примечания

грязь, нечистоты (финск.)

Что?

3

Что?

Гуцульская народная песня.